

# ТВОЕЙ РАЗУМНОЙ СИЛЕ СЛАВА!

*Европейские писатели  
о книге, чтении,  
библиофильстве*



---

---

**ТВОЕЙ  
РАЗУМНОЙ СИЛЕ  
СЛАВА!**

---

*Европейские писатели  
о книге, чтении,  
библиофильстве*

---

---

**Австрия  
Германия  
Испания  
Италия  
Швейцария**

**МОСКВА  
КНИГА  
1988**

ББК 84.4  
Т 27

Составитель *В.А.Эльвова*

Художник *В.В.Иванюк*

ТВОЕЙ РАЗУМНОЙ СИЛЕ СЛАВА!

Зав. редакцией *Т.В.Громова*  
Редактор *Д.Р.Кондахсазова*  
Художественный редактор *Т.Н.Руденко*  
Технический редактор *А.З.Коган*  
Корректор *О.И.Поливанова*  
Оператор *О.В.Сидоров*

ИБ № 1679

Сдано в набор 01.06.87. Подписано к печати 04.11.87. Формат 84x108 1/32.  
Бум. № 2. Гарнитура Пресс-Роман. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44.  
Усл. кр.-отт. 13,86. Уч.-изд. л. 16,64. Тираж 75 000 экз. Изд. № 4493.  
Заказ № 782. Цена 2 р.

Издательство "Книга", 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Набор выполнен в издательстве на композере.

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома  
при Госкомиздате СССР.  
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Т  $\frac{4703000000-008}{002(01)-88}$  64-88

ISBN 5-212-00028-9

© Составление, переводы, отмеченные\*,  
художественное оформление.  
Издательство "Книга", 1988.

## От составителя

Твоей разумной силе слава! Эти слова великого немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете мы обращаем к книге. Да, разумной силе! Потому что книга может нести и отрицательный заряд, и этот отрицательный заряд разрушает умы людей, губит общество. Такие примеры в истории были, мы их помним, но и они свидетельствуют о магической власти и силе печатного слова.

Тема Книги в художественной литературе многогранна и имеет многовековую историческую традицию. Познакомить советского читателя с такого рода сочинениями стремится издательство "Книга", выпуская сборники произведений писателей разных стран о книге и книжниках, о книге и ее создателе, о книге и ее читателях\*. Если читатель знаком с ними, то он увидит, что предлагаемый сборник можно воспринять как следующую часть "многожанровой антологии". Хронологически — это продолжение "Библиотеки в саду", географически — это второй, но не последний европейский сборник. Первый — "Корабли мысли" — включил произведения писателей Англии и Франции XVI — XX вв. В наш сборник вошли произведения писателей Австрии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии XVII — первой половины XX веков.

...Писатели о книге, чтении, библиофильстве... Каждый человек — потенциальный читатель. Он накапливает в жизни множество впечатлений и наблюдений, часто верных и глубоких, его мысли о прочитанном и увиденном индивидуальны, каждый жизненный опыт уникален. "Писателя делает интересным для других

---

\* *Корабли мысли*: Английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах / Сост. В.В.Кунин. 1980, 2-е изд. 1986; *Очарованные книгой*: Русские писатели о книге, чтении, библиофилах / Сост. А.В.Блом. 1982; *Вечные спутники*: Советские писатели о книге... / Сост. А.В.Блом. 1983; *Зеркало мира*: Писатели стран зарубежного Востока о книге... / Сост. В.А.Эльвова. 1984; *Библиотека в саду*: Писатели античности, средневековья и Возрождения о книге... / Сост. В.А.Эльвова. 1986; *Лучезарный Феникс*: Зарубежные писатели XX века о книге... / Сост. В.Рыбкин. 1978; *Листая вечные страницы*: Писатели мира о книге... 1983 (включены избранные произведения из ранее вышедших сборников).



то, — писал Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий писатель и ученый, живший в XVIII в., — что он постоянно говорит, *как мыслят или чувствуют*, сами не зная этого, замечательные люди или вообще большинство”. Поэтому так важен и так нужен этому большинству — читателю — духовный и художественный опыт писателя.

И писатель щедро этим опытом делится. Мы коснулись только одной грани: что думает писатель о книге прочитанной и о книге, созданной им самим и его предшественниками, что он думает о судьбе книги и судьбах книг, что он думает о читателе, своем друге и недруге, что он думает о чтении как историческом, духовном и художественном познании мира. Такие наблюдения и мысли писателя мы находим не только в статьях и дневниках, письмах и воспоминаниях, он воплощает их нередко в новеллах и эссе, романах и памфлетах.

Составитель стремится отобрать из почти неисчерпаемого источника материал разнообразный и малоизвестный читателям. Так, произведения испанских писателей Диего Сааведра Фахардо (XVII в.), Хосе Мариа Салаверриа, Альберта Инсуа, Педро Салинаса (XX в.), немецкого писателя Иоганна Адама Бергка (конец XVIII — начало XIX в.) прежде на русский язык не переводились, сочинение немецкого писателя Адольфа Книгге (XVIII в.) выходило в России в прошлом веке, и для нашего издания сделан новый перевод. Впервые переводятся письмо итальянского писателя и ученого Лодовико Антонио Муратори, эссе Жан-Поля, новеллы Людвига Тика и Германа Гессе, эссе Мигеля де Унамуно и Роберта Музиля, юмореска Иоахима Рингельнаца. Более двадцати лет не переиздавался роман Фридриха Максимилиана Клингера, “Сатирические очерки” Марьяно Хосе де Ларры, новеллы Конрада Фердинанда Мейера (Швейцария) и Сальваторе ди Джакомо (Италия).

По этой же самой причине — познакомить читателя в первую очередь с произведениями малоизвестными или совсем неизвестными — в сборнике нет знаменитой новеллы Стефана Цвейга “Мендель-букинист”, много раз издававшейся и переиздававшейся, в том числе и в издательстве “Книга”.

Но отдавая дань писателю, посвятившему так много страниц своих произведений “встречам с книгами” и “благодарности книгам”, составитель считает своим долгом открыть сборник словами Стефана Цвейга, которые могли бы стать поэтичным предисловием ко всей “тематической антологии”: “...Тот, кто однажды познал цену написанного и напечатанного, цену духовного общения посредством слова во всей его неизмеримой глубине — способствовала ли этому познанию одна книга или вся совокупность их, — тот улыбнется сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих, даже умных людей. Время книг миновало, теперь слово принадлежит технике, сокрушаются они; граммофон, кинематограф, радио, как более искусные и удобные передатчики слова и мысли, уже вытесняют книгу, и скоро ее

культурно-историческая миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, какая куца мысль! Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, которое превзошло бы или хоть сравнялось с чудом, явленным нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого вещества, которое могло бы так потрясти весь мир; нет такой стали, такого железобетона, который превзошел бы долговечностью эту маленькую стопку покрытой печатными знаками бумаги. Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого света, который исходит порой от маленького томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном слове. Нестареющая и несокрушимая, неподвластная времени, самая концентрированная сила, в самой насыщенной и многообразной форме — вот что такое книга; так ей ли бояться техники; разве не с помощью тех же книг техника совершенствуется и распространяется? Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. И чем тесней ты связан с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее чудесной помощи твой собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь и проникаешь мир во сто крат полней и глубже”\*.

---

\* Цвейг С. Книги как врата в мир /Пер. С.Фридлянд // Цвейг С. Собр. соч.: В 7 т. М., 1963. Т. 7. С. 337—338.



Есть ли пиршество усладительней для просвещенного вкуса, чем изысканная библиотека, где ум развлекается, память обогащается, воля питается, сердце расширяется и дух наслаждается. Для изощренного ума приятней всякой лести, всяких даров иметь каждый день новую книгу. Канули в забвенье египетские пирамиды, пали вавилонские башни, разрушился римский Колизей, обветшали золотые дворцы Нерона, исчезли с лица земли все чудеса света — остались жить лишь бессмертные творения мудрецов, в те века блиставших, да великие мужи, ими прославленные. О, наслажденье читать, занятие личности, которая, коль не имеет книг, сама творит их!..

*Бальтасар Грасиан*



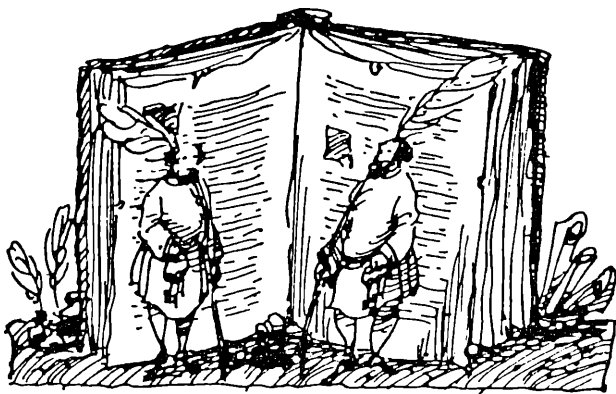
Книгой следовало бы, собственно, называть лишь ту, которая содержит нечто новое, все прочие — лишь средством быстро узнать, что уже сделано в той или иной области. Открывать новые страны и составлять точные карты уже открытых — вот в чем разница

*Георг Кристоф Лихтенберг*



Как мало из свершившегося было записано, как мало из записанного спасено! Литература с самого начала своего существования — фрагментарна, она хранит памятники человеческого духа только в той мере, в какой они были запечатлены письменами и в какой эти письмены сохранились.

*Иоганн Вольфганг Гете*



*Диего Сааведра Фахардо*

## ЛИТЕРАТУРНОЕ ГОСУДАРСТВО

### Фрагменты

Размышляя о том, как много стало книг и что их становится все больше из-за дерзости сочинителей, из-за легкости напечатания и что благодаря распространению грамотности письменность сделалась орудием общения и торговли, что с помощью письменности создаются сочинения и люди наживаются на оных, — я погрузился в сон, и выплывшая изнутри пелена подернула образы предметов, о которых рассуждал я бодрствуя. И очутился я в виду города, посеребренные и позолоченные капители которого слепили мой взор, возвышаясь до небес, словно стремясь с ними объединиться.

Красота этого города воспламенила во мне желание увидеть его, и, заметив в ту минуту впереди себя пожилого человека, направляющегося к городу, я нагнал его и в разговоре узнал, что зовут его Марк Варрон<sup>1</sup>, о чьих трудах и учености во всех материях, мирских и сакральных, я был уже немало осведомлен благодаря свидетельствам Цицерона и других. Я спросил его, что это за город, и он приветливо и церемонно ответил мне: Литературное государство, — предложив показать самое любопытное в нем. Я согласился на его предложение, и, приятно беседуя, мы тронулись в путь. По дороге я отметил, что на близлежащих полях больше чемерицы, нежели другой травы, и, спросив своего спутника о причине, в ответ услышал, что божественное Провидение всегда заботится о том, чтобы по соседству от вреда всегда было средство против оногo и что таким образом трава эта дана гражданам города, которые по причине непрерывных литератур-



ных трудов страдают тяжелыми недомоганиями головы. Многие ищут среди чемерицы белену, чтобы улучшить память. Делая это с явной угрозой для своего рассудка! Мне ж показалось, что его мало у тех, кто подвергает себя опасности укрепляя память, ибо, будучи вместителем знаний, она вместе с тем и вместитище зол, и счастлив был бы человек, кто по собственному усмотрению мог бы не только вспоминать, но и забывать. Память о минувших благах делает нас безутешными в той же мере, в коей терзает воспоминанье о нынешних несчастьях.

Подойдя к городу, я увидел, что рвы его наполнены черной жидкостью; на высоких стенах стояли для обороны пушки в виде гусей и лебедей, стрелявшие бумажными ядрами. Несколько белых башен служили бастионами, внутри которых силою воды приводился в движение ряд прессов, толкущих в мраморных бассейнах большое количество полотняных тряпок, кои, до предела измельченные, отброшенные затем на квадратные решетки из металлической проволоки и выжатые между суконными пластинами, становились бумажными листами — материалом, легким в изготовлении и довольно дорого обходящимся людям. Как же мы хитроумны в поисках собственных бед! Природа предусмотрительно скрыла в недрах земли серебро и золото, равно как и другие металлы, нарушающие наш покой, позаботившись об их залегании в самых отдаленных областях и преградив к ним путь рвами из бескрайнего моря Океана и высокими хребтами скалистых гор; а старательный человек изыскал способы и средства для плавания по морям, проникновения в горы ради того, чтобы добыть эти металлы, приносящие миру столько бед, войн и смертей. Презренное тряпье, уже неспособное прикрыть наготу, вместе с другим мусором сбрасывается на свалку, чтобы оттуда быть извлеченным нашим усердием, а потом трудами и мучениями переработанным в листы, на которых коварство поучает невинность, творя тем самым бесконечные тяжбы, разновесье и секты.

Фронтиспис ворот города являл собою прекрасные колонны из различных сортов мрамора и яшмы. Над ними загадочным образом, казалось, устраняла сама себя всякая архитектура, потому что из пяти ордеров присутствовал только дорический, символ мучений и трудов. В нишах среди колонн располагались с различными музыкальными инструментами в руках девять статуй девяти муз, которым искусство ваия, победив мрамор, придавало такую воздушность и живость, что воображение видело в них запечатленными те чувства, которые обычно внушаются небесными сферами и почитаются античностью в качестве умов или душ. Повествуя о деяниях знаменитых мужей, Клио, казалось, воспламеняла в груди жажду почестей, а Терпсихора сладостной музыкой придавала возвышенность мыслям. Эрато задавала ритм движениям ног. Полигимния оживляла память. Урания прибегала к ней, чтобы побудить дух созерцать звезды. Кал-

лиоподвигала героические души на славные деяния. Этот фронтиспис был увенчан статуей Аполлона, чьи золотые волосы струились по плечам потоками света. В правой руке он держал плектр, а в левой — лиру.

<...> Мы вступили в город через ворота, украшенные полусферой, на которой рука об руку были изображены семь свободных искусств: Грамматика, Диалектика, Риторика, Арифметика, Музыка, Геометрия и Астрономия. Ворота из бронзы или коринфского металла, столь прославленного античностью, были покрыты рельефными фигурами, да такими прекрасными, что я не мог не спросить у Полидора<sup>2</sup>, кто их автор и о чем они повествуют. На эти воротах, сказал он, великим флорентийским мастером<sup>3</sup>, чей гениальный и тонкий резец прославляет его имя во всех уголках света, запечатлено изобретение чернил. Видишь, сказал он, подняв и вытянув руку, толпу людей с суровыми и мрачными лицами, на которых начертано презрение ко всем чувствам и обстоятельствам человека; они с осуждением взирают на деву с золотым венцом на голове и фанфарой в руке, что, спасаясь от унижений и оскорблений, вот-вот обратится в бегство, вот-вот взлетит вон на ту неприступную гору? Это Слава, а те люди — философы-стойки<sup>4</sup>, которые, издеваясь над ней, исключают ее из числа подлинных благ человека, равно как и счастье, якобы чуждое духу и помимо духа происходящее из чужих мнений; обесчещенная этим, Слава начинает полет и в сопровождении нескольких ободряющих ее душ прибывает на вершину горы, где, простершись у ног Добродетели, своей матери, живущей там среди пустынь вместе с Неусыпностью, Утомительностью и Искусством, дамами, которые всегда при ней, и повествует ей об оскорблениях и поношениях философов. Добродетель ее утешает, указывая своей дочери на ее пособничество в великих делах мужей времен минувших и грядущих, когда будут проложены по Океану новые пути-дороги и будут открыты новые миры, ибо станут тесны миры, известные ныне. Тем, чем ты желаешь меня утешить, о, мать моя, отвечает ей Слава, ты отягощаешь причину моей скорби, ибо насколько обширна молва обо мне, настолько же тщетна она и недолговечна, зависящая от чужих уст и облеченная в невесомые слова, детища воздуха, в котором они рождаются и в котором умирают, даря торжество Забвению, моему величайшему недругу. Эта речь Славы, сопровождаемая, как это видно по ее лику, слезами, побуждает Добродетель распорядиться, чтобы Искусство, дева, на плечо которой она возложила руку, нашла средство увековечивания Молвы. Искусство повинуется; и далее ты увидишь, что возможность добыть это средство она обсуждает с Ночью, которая изображена девой, чья усеянная звездами мантилья наполовину скрывает ее лик. И вот Ночь говорит Искусству, что, подобно тому, как великий Зодчий Вселенной по черному пространству ее мантильи явил свои знамена в звездных письменах, так и по белому полю бумаги можно

обозначить черными чернилами состояния души, дав им тем самым плоть и вопреки Забвению утвердив слова с помощью той самой темноты, в которой оно хотело похоронить Молву. Суждение Ночи понравилось Искусству; и боги, которые из тех вон туч внимают происходящему, расположенные к сотворению чернил в предвидении того, что с их помощью Слава превратится в богиню, хотя опередить друг друга в стремлении выполнить ее желание; и ради совершенства задуманного дела Вакх преподносит ей вино, Юпитер — чернильные орешки дуба, Помона — гуммиарабик, Веста — купорос, Феб — солнечный жар, из которых и получились чернила, разливаемые в стеклянные сосуды; чернилами заполнены и рвы, которые ты видел; чернила даруют Славе бессмертие, и на чернилах зиждется это государство.

На других воротах испанский мастер, обязанный своим именем берегам реки Сегура<sup>5</sup>, а зависти и соперничеству — более, чем Фортуне, выгравировал изобретение печати. На них ты увидишь, как Вера<sup>6</sup> после скитаний по многим странам света, нераспознанная и поруганная, приходит в Испанию, и Тахо<sup>7</sup> воздает ей почести и окружает ее подлинным поклонением, строя ей храмы и превознося в ней одного лишь Юпитера, первопричину всех вещей. Вера, благодарная Тахо за оказанные ей почести, заявляет на совете богов о деле, возлагаемом ею на Юпитера, верховное божество, на которое трудятся прочие, не столь меж собою различные, сколь произведенные его вечной сущностью части. На совете взвешивается важность этого дела, обсуждается награда за его осуществление, и почти все сходятся на том, что следует распространить владычество Тахо на все пределы Европы и берега Африки. Великому отцу богов, Океану, это вознаграждение для такой славной нации кажется недостаточным, и он предлагает богам выделить ей часть другого, непознанного или уже забытого мира людей, отторгнутого волнами и ставшего недоступным за водяными горами и долами. Открытие и завоевание этого мира, сказал он, было бы должным возданием за набожность и мужество Испанцев. Предложение Океана обсуждают другие боги, говорят о трудностях его осуществления обычными средствами: как подчинить столь обширные и удаленные друг от друга провинции, населенные многочисленными народами, и политически ими управлять немногим количеством людей? Но неисповедимая мудрость божественного конклава приходит на помощь; Нерей облегчает мореплавание сотворением магнитного камня; Марс создает порох; Вулкан изготавливает аркебузы, — и Испанцы, вооруженные молниями, подчиняют себе тьму варваров; и ради лучшего распространения Веры среди них с помощью книг, и оправдывая огромный труд писателей вкупе с их заблуждениями и невежеством, Меркурий изобретает печатные литеры, которые Вулкан отливает из свинца и других мягких металлов. Плутон смешивает сажу с льняным семенем и скипидаром и тем самым создает краску, чтобы смазанные ею и

прижатые прессом литеры оставляли на бумаге оттиски своих изображений и чтобы даже самый большой невежда, не умея писать, за день смог бы печатать бесчисленное количество листов.

Изображения на воротах показались мне замечательными, и, войдя под их своды, я увидел на фресках просторных и разнообразных аркад изобретателей букв или письменности: первыми были халдеи<sup>8</sup>, затем ассирийцы и финикийцы<sup>9</sup>, там были Паламед<sup>10</sup>, создавший четыре буквы во время осады Трои, Симонид<sup>11</sup>, изобретатель еще нескольких букв алфавита, и Кадм<sup>12</sup>, выдумавший прочие шестнадцать. Там мы увидели также портрет императора Клавдия Цезаря<sup>13</sup>, ибо он добавил к греческому алфавиту еще четыре буквы.

Привратниками и стражами ворот были двое насупленных и бородастых грамматиков, одетых по-старинному, с сумками и ключами, подвешенными к поясу. Облеченные особым доверием, они вели себя столь высокомерно и дерзко, что лишь ради того, чтоб не иметь с ними дела, я чуть было не повернул вспять. Но любопытство призвало к терпению, и, пройдя мимо них, я обнаружил перед собою прекрасное здание, которому давала место просторная квадратная площадь и которое, как сообщил мне Полидор, было Таможней, где разгружались книги, посылаемые в Литературное государство со всех концов света. Всю площадь заполняли нагруженные книгами вьючные животные; некоторые из них, хотя привезли всего лишь одну книгу, были в мыле и тяжело дышали. Таким может оказаться бремя глупостей, что его не выносит даже спина мула.

Грузы принимали несколько пожилых цензоров, каждый из которых просматривал книги по своей профессии; придирчиво изучали они каждую и для пользы того Государства пропускали лишь те книги, которые по своей оригинальности и искусству были совершенны и законченны и могли просвещать разум и служить человеческому роду; другие же, дабы не пропадала бумага, испорченная трудами писателей, не без удовольствия отправляли для будничных дел и нужд Государства на вящее осмеяние их авторов, тщетно вожделеющих славы.

Приблизившись к одному из цензоров, я увидел, что он принимает книги по юриспруденции. Рассерженный таким количеством сочинений, трактатов, решений и указов, он воскликнул: "О, Юпитер! Если не безразличны тебе земные дела, почему не даришь ты миру каждую сотню лет по Юстиниану<sup>14</sup> и не насылаешь полчища готов, которые как-то умерили б этот вселенский книжный потоп?" — и некоторые ящики, не открывая, отправил в харчевни для разжигания очагов, поджаривания рыбы и заворачивания сала в тюрьмах.

Другой цензор принимал поэтические книги, среди которых было много поэм, комедий, трагедий, пасторалей, пискаторий, эклог и сатирических произведений других жанров, и книги, посвященные любовным материям, премного веселясь, отправ-

лял на изготовление дамских картонок, оберток для прялок, катушек для мотков, коробок для конфет и аниса или кульков для генуэзских слив. Сатирические книги он отдавал под пакетики для иголок и булавок, а также перца, под курительные трубочки и для использования в отхожих местах. Я видел, что мало какие из этих произведений были удостоены чести идти без досмотра прямо в торговлю и обращение. То же самое происходило с книгами по астрономии, астрологии, черной магии, колдовству, гаданию и алхимии; почти все они препровождались для изготовления шутих, фейерверков и прочих пиротехнических забав.

Цензор, получавший книги по гуманитарным наукам, изнывал, окруженный со всех сторон всевозможными комментариями, исследованиями, заметками, схолиями, рассматриваниями, поправками, центуриями, головоломными трудами, и то и дело хохотал при виде книг, написанных на латыни, а то и на вульгарной латыни, да еще с греческими заглавиями, которыми авторы стремились придать своим произведениям больше веса, подобно тому, как отцы, называющие своих детей Карлами, Помпеями, мнят, что таким образом они наделяют их мужеством и благородством великих. Некоторые из этих книг цензор придержал, прочие же пустил по аптекам для закрывания баночек с греческими этикетками, чтоб соблюсти тем самым национальность лечебных трав, которые эти склянки содержат. Я посмеялся над таким применением и похвалил остроумие, с коим подвергалось наказанию пустое хвастовство тех, кто пятнает греческими словами страницы своих книг.

Значительное количество книг по истории было исключено из святилища и направлено для изготовления триумфальных арок, картонных статуй и фестонов, а книги по медицине — для аркебузных пыжей, ничуть не менее грозных, чем пули, а книги по философии — для цветочных розеточек, картонных кошечек и собачек.

Из северных стран, а также из Франции и Италии шли караваны, навьюченные книгами по политике и государственному устройству, собраниями афоризмов, речей, комментариями к Корнелию Тациту<sup>15</sup>, а также к "Государствам" Платона и Аристотеля. Этот вредный товар принимал почетный цензор, чело которого светилось кротостью и благоразумием и который по прибытии груза воскликнул: "О книги, опасные даже с виду, книги, в которых истина и вера служат выгоде! Сколько тираний установили вы в мире и сколько царств и государств рухнули по вашей указке! На лжи и коварстве основываете вы процветание и сохранение государств, не заботясь о том, как мало могут они просуществовать на таком зыбком фундаменте. Прочным и надежным краеугольным камнем могут быть лишь вера и истина, и счастлив лишь тот властитель, которого искусству управления научил живой свет природы, таящий в себе простодушное разумение". Я



похвалил вескость его суждений и по ним предположил, что эти книги он отправит на изготовление летающих бумажных игрушек, приводимых в движение ветром или движущихся без оного по воле тех, кто ими управляет, а также для масок; ведь все ухищрения политиков устремлены на то, чтобы сокрыть ложь под обликом истины, чтобы расцветивать обманы и утаивать подлинные намерения; но цензор предал все эти книги огню и на вопрос мой, почему он так поступил, ответил: "Эта бумага настолько пропитана ядом, что, даже разорванная для употребления в лавках, она опасна для мирной публики, и лучше, если ее обезвредит огонь"; я слегка вздрогнул, опасаясь такой же беспощадности и по отношению к моим "Политическим девизам"<sup>16</sup>, хотя писал их в совете с человеколюбием, разумом и справедливостью.

Мне было больно видеть тщетность труда стольких сочинителей. Отвернув лицо от досмотра и войдя вовнутрь той таможни, я очутился в квадратной зале — палате мер и весов, где взвешивалась значимость сочинителей и давалась им оценка по заслугам. На потолке этой залы сверкала восьмая небесная сфера со всеми созвездиями; по линии Зодиака располагались его двенадцать знаков. Эта окружность была описана вокруг четырех углов, из которых исходили четыре главных ветра: Эвр — из белых туч; из розовых и вихрастых облаков — Австр; сыплющий цветами Фавоний и Аквилон, несущий в складках своего черного плаща снег и град; а по пространству четырех стен были изображены четыре времени года: Весна, увенчанная розами, в колосьях злаков Лето, украшенная виноградом Осень и Зима в короне колючих и сухих жостеров. Посередине залы висел большой безмен, а рядом небольшие разновесы; с их помощью взвешивались авторы в фунтах и арболах, затем оценивались скупно и с пристрастием.

<...> Когда мы вышли из таможни, наше внимание привлек беспорядочный шум голосов, доносившийся из близлежащих школ. Я захотел осмотреть эти школы и увидел там Антонио де Небриху<sup>17</sup>, Мануэля Альвареса<sup>18</sup> и других, обучавших молодежь грамматике, ибо без совершенного владения ею никто не имел права стать жителем того Государства. Количество правил и предписаний было велико, и, хотя Санчес Бросенсе<sup>19</sup> уменьшил их в своей ученой "Минерве", которую Гаспар Сциопий<sup>20</sup> более распространял, чем дополнял, они настолько превосходили способность юношей, что многие, потеряв терпение, бросали учебу; будучи очень восприимчивы к наукам, они тем не менее противились изучению грамматики и отдавали предпочтение оружию или механическим искусствам, не становясь таким образом жителями того Государства с большим ущербом для последнего. Другие же после четырех или пяти лет учения латынью едва владели, ибо, упустив возраст, пригодный для восприятия наук, оказывались неспособными изучить их. Премного удручен-

ный этим, я уразумел, что то было главной причиной невежества, и спросил у Марка Варрона, отчего тратят понапрасну столько времени на изучение языка, который безо всяких предписаний одним лишь употреблением его и упражнением может быть усвоен в четыре месяца, как, впрочем, и другие языки; и по какому разумению не преподносятся науки на родных языках, как то делали греки, а за ними и римляне, ведь тогда проявили бы способности почти все? На что он мне ответил: "Многие не одобряют такого способа преподнесения грамматики, но есть обычаи, всеми порицаемые и всеми соблюдаемые; и в Испании велик вред не от предписаний, а от небрежения родителей, не использующих детский возраст своих чад, когда те восприимчивы и предрасположены к языкам самой природой, что делают у других народов, в которых дети, едва научившись говорить, уже получают в руки азбуку и начинают заниматься латынью, и так как науки нельзя было опешлять родными языками и ввиду того, что после падения римлян мир разделился на многие державы и латинский язык, некогда единый для всех, был утрачен, возникла нужда в сохранении его не только из-за ученых книг, написанных на нем, но и ради того, чтобы народы могли пользоваться умом и жизненным опытом, находя их в общем и универсальном языке, что было бы невозможно без многотрудных переводов, в которых, однако, теряется свежесть и сила мыслей."

<...> Мы вошли в жилую и ученую часть города, внутреннее устройство которой, как мы убедились, отнюдь не отвечало ее внешней красоте; во многих домах она была лишь внешней и мнимой; некоторые сооружения имели ложный фундамент, а жители занимались тем, что, более суетясь, чем рассуждая, возводили новые здания из материала старых, уже развалившихся; вся та часть города напоминала разбуженный муравейник, творивший больше беспорядка, чем плодов в своем напрасном труде, обращенном не на рост Государства, а лишь на обновление его; он скорее лишал Государство блеска и изобилия, кои бы оно имело, если бы его выкормыши, соперничающие между собой, состязались в поисках новых материалов и способов для строительства дворцов и публичных заведений.

Жители были унылы, истощены и неопрятны. Одержимых большим соперничеством и завистью друг к другу, их мало что объединяло. Благородство там стяжали себе удачливые в искусствах и науках, великолепие которых давало им славу и почет, другие же составляли простонародье и занимались делами, наиболее близкими к их профессиям; так, грамматики были зеленщики, торговцы фруктами, и, сидя в своих лавках, они спесиво и жестоко поносили друг друга, безо всякого уважения оскорбляя тех, кто проходил мимо. Платона они обзывали заумным; Аристотеля — темным и путаным, топящим истину в потоке слов; Вергилия — вором, крадущим стихи у Гомера; Цицерона — трусливым и избыточным в своих повторах, холодным в чувствах,

медлительным в решениях, ленивым в лирических отступлениях, редко вдохновенным и неуместно пылким; Плиния — сточной канавой и мусорщиком, сносящим в кучу все, что ни находит; Авла Геллия<sup>21</sup> — страдающим от недержания; Саллюстия — напыщенным притворщиком; и Сенеку — известкой без песка.

Критики штопали там одежду, работали старьевщиками и сапожниками по старой обуви.

Риторика были шарлатанами, торгующими квинтэссенциями и обильно разглагольствующими о лекарственных тайнствах.

Историки подвизались в сватовстве, подбирая пары по генеалогическим древам и по слухам о том, кому что надо.

Поэты продавали на улицах сверчков в коробочках, полевые цветочки, медовые леденцы на палочках, сливочное масло, драже с корицей и кукол.

Медики служили мясниками, могильщиками и исполнителями судебных приговоров; и так как то Государство было столь благоразумным, что не содержало аптек, аптекари занимались изготовлением оружия и отливкой ядер для артиллерии; вместо всех них Диоскурид<sup>22</sup> продавал на улицах травы и другие средства или снадобья.

Астрологи занимались навигацией и сельским хозяйством.

Геометры были лавочниками, умевшими устроить освещение так, что ткани, которыми они торговали, выглядели наиболее красивыми.

Логики занимались торгашеством, перекупкой и мелкой спекуляцией; философы работали садовниками; юристы вили веревки и занимались другими прядильными ремеслами; те же, кто склонен к компиляциям, собиранию чужих суждений и составлению из них книг, занимались изготовлением инкрустированных бюро и мраморных столов, украшенных различными камнями; те, кто составлял книжные каталоги, были грузчиками, обслуживающими других. В этом Государстве, как у египтян и лакедемонян, почиталось за добродетель воровство под предлогом подражания<sup>23</sup>; так что ремесленники совершали друг у друга крупные кражи и ежедневно ставили новые лавки с чужим товаром. Этой дозволенностью более всего пользовались писатели и поэты; первые — для того, чтобы умножить количество книг и сочинений, которые приносят им славу, вторые же, входя в дома, чтобы продать свои игрушки, незаметно прихватывали лучшие драгоценности. Управляли городом различные сенаторы, которых облекли властью ввиду их преклонного возраста и жизненного опыта, и они делили меж собою общественные задачи. Плутарх, Тит Ливий<sup>24</sup>, Дион<sup>25</sup> и Сепсиан<sup>26</sup> управляли гражданскими делами; Юлий Цезарь, Веллей<sup>27</sup>, Аммиан<sup>28</sup> и Полибий<sup>29</sup> — военными; Тацит — политическими; цензорами были Диодор<sup>30</sup>, Мела<sup>31</sup> и Страбон<sup>32</sup>. И так, как тело никакого королевства или республики при умной голове и наилучшей отлаженности членов не может содержаться во здравии, ежели желу-

док, являющийся секретарем всему, не настолько могуч, чтобы перерабатывать поступающие в него вещества без несварений и, орудуя политическим опытом и политическими знаниями, представлять каждой из частей тела вещества, которые ей надобны, то вышеуказанную задачу этого Государства выполнял Светоний Транквилл<sup>33</sup>, муж великий, вскормленный на общественных делах, искушенный в переговорах с другими народами, старательный, разумный и скрытный.

По улице навстречу нам двигался Меценат<sup>34</sup>, лежа на разноцветном паланкине, который несли восемь рабов, одетых как солдаты. Рядом шел Вергилий, жалуясь на Горация: он, мол, забыв о почестях и милостях, якобы злословил от имени Мальквина<sup>35</sup> о том, что Меценат носил такую длинную тогу, что подметал ею улицу. Меня рассмешил этот случай, но еще больше Меценат, который тратил свое состояние на защиту наглого отпущенника, не замечая всей опасности, исходящей от умов острых и язвительных, и того, насколько важно ценить их, держа на отдалении, ибо, возбужденные собственной остротой, они задевают тех, кого видят перед собою, не скрывая их недостатков и не испытывая к самолюбию достаточного великодушия, которое побудило бы их удержать в груди язвительное словцо, дабы не сорвалось оно с их языка.

По городу на рьжем осле прогуливался Апулей к немалой потехе зевак; некоторые из них, преследуя его, свистели, другие же обзывали его скотокрадом<sup>36</sup>, ибо шла молва о том, что осла он этого украл. О, как легко принимает чернь за чистую монету клевету на великих мужей! На кого раньше не обращали и лица, хотя того и требовал достойный восхищения талант, сейчас все пялятся во все глаза из-за чьего-то завистливого вопля. То же самое — и да послужит это утешением добродетели! — происходит и с луной, которая в трудах своих становясь ущербной, привлекает всеобщее внимание, а когда она, сияя полным светом, плывет над горизонтом, никто ее не замечает.

<...> Сон был настолько живым, что я рассердился, и, <...> ударив кулаком по грядущке кровати, проснулся после многих блужданий, совершенных во сне, познав тщету людских трудов, пот и прилежание, коих требует учеба, и то, что не тот ученый, кто более всех выгод имеет в искусствах и науках, а тот, кто имеет истинные суждения о вещах и, презирая суждения черни, легковесные и пустые, считает подлинными лишь те блага, которые зависят от нас самих, а не от чужой воли, — тот, чей дух, неизменно стойкий и противостоящий волнениям любви или страха, хотя и может быть поколеблен какой-либо силой, но ни одной силой не может быть смущен или раздавлен.



*Лодовико Антонио Муратори*

**О МЕТОДЕ, КОЕМУ Я СЛЕДОВАЛ  
В СВОЕМ ОБРАЗОВАНИИ**

Письмо к Джованни Артико<sup>1</sup>, графу ди Порчия

Вашему сиятельству было угодно, чтобы я взялся изложить для общего сведения метод, коему следовал в своем образовании. Полагая за счастье исполнять волю Вашего сиятельства, сознаю, что на сей раз должен бы, скрепя сердце, ей воспротивиться. Не чуждый, увы, тщеславия, боюсь, что в таком деле обнаружу это, сколь бы ни силился скрыть, да и может ли быть иначе, ежели знатоки человеческого сердца прозревают тонкую игру самолюбия даже в выставлении собственных недостатков, что уж говорить о достоинствах. Но будь что будет: отдаюсь на волю Вашего сиятельства, побуждаемого, как я уверен, благими намерениями; публика же, надеюсь, не будет ко мне строга, ибо единодушна во мнении, что послушание Вашему сиятельству неизменно обращается на благо отечества.

Начну, стало быть, с того, что мое школьное образование состояло, как положено, в усвоении латинского языка и всех надлежащих искусств и наук. Но уже с самых ранних лет я пристрастился к чтению: прочитав несколько романов, случайно ко мне попавших, я стал поглощать один роман за другим, сколько удавалось достать, и даже прихватывал их с собой к общей трапезе, насыщая, без сомнения, более свою любознательность, нежели желудок. Смее думать, что романы сии пошли мне на пользу, ибо в немалой степени благодаря им пробудился мой ум, улучшился слог и укрепилась охота к чтению.

Однако же не пестрые образы и не искусные речи сих поэтов в прозе дали направление моему образованию, но природная склонность, под коей разумею врожденную тягу человека к какому-



либо роду занятий — у иного к живописи, у иного к музыке или ремеслам, у иного — к словесности, в словесности же — к одному предмету более, чем к другому. В себе я ощущал природную склонность, а вернее рвение, познавать новое. Мне казалось, что ум мой скоро ухватывает, а память с готовностью удерживает всякое новое знание. Награды, похвалы и поощрения, равно как соревнование между питомцами, поддерживаемое разумными учителями, всех побуждают к усердию, меня же, смею сказать, побудили преуспеть и отличиться еще более, чем других, отчего я чувствовал радость, облегчающую всякий труд: учение и должно вызывать радость, а вовсе не озлобление и страх, насаждаемые розгами, каковые превращают учение в каторгу, не облегчая его премудрости. Нежному детскому уму мало когда дано рассуждать, еще меньше — постигать метафизику, до поры до времени он только память, которую надлежит развивать и обогащать, не перетруждая излишними тонкостями или чрезмерно отвлеченными понятиями. Помнится, когда мы еще одолевали грамматику, нам приходилось затверживать такие названия птиц и цветов, какие едва ли вздумает употребить пишущий по латыни, и хоть я был тогда молокосос, но смекнул, что это занятие — пустая трата времени и что куда полезнее заучивать простые и нужные выражения.

Разделавшись со школой и оказавшись в Университете, я приступил к изучению логики, этого оселка всех умов. Затем перешел к изучению физики и метафизики; по счастью, наставник мой, ведя меня путем перипатетиков<sup>2</sup>, по дороге захватывал и кой-какие другие учения, а в разъяснении некоторых современных систем позволял себе большую свободу, чем то было принято среди духовных лиц в Италии. Сей превосходный человек излагал предмет с удивительной ясностью и остротой и, пользуясь одной своей шляпой или табакеркой, умел преподавать любую высокоумную материю таким образом, что она делалась вполне наглядной и осязаемой. Не меньше мне посчастливилось в юриспруденции; что же до схоластической теологии, то, желая, быть может, лучшего учителя, я примирился с тем, какого имел.

По окончании Университета я намеревался посвятить себя моральной теологии, гражданскому и каноническому праву, что отвечало желаниям моего отца, а также советам умудренных и любящих близких, рисовавших мне выгоды и перспективы, будто бы открывающиеся перед тем, кто вступает в ряды церковного воинства. Прельщенный таким будущим, я поступил под руководство синьора Никколо Санти, советника и государственного секретаря его величества, дабы приобрести практический опыт в законах. Славные надежды, а лучше сказать, воздушные замки! Им не суждено было воплотиться по вине все той же моей природной склонности, о которой я говорил. Свободному уму, то есть уму, не принуждаемому никем из тех, кто имеет над ним власть, широко объемлющему мир и желающему себя в нем

проявить, не много радости в том, чтобы корпеть над юриспруденцией или моралью. Что же меня занимало? Весь досуг, оставшийся у меня от учения или от собеседования с наставниками, я посвящал тому, что меня истинно влекло, — изящной словесности и поэзии, без разбору читая стихи и прозу, сочинения по поэтике, критические статьи и похвалы знаменитым поэтам. К несчастью, как в красноречии, так и в поэзии вкус мой не возвышался над модой: как и всех, меня прельщали общие места и прихотливая игра ума, нередко ложного. Перед Тезауро<sup>3</sup> я преклонялся, как перед неким идолом, вместе со всеми воскуря ему фимиам, бедный же Петрарка казался мне сух, а петраркисты<sup>4</sup> и того суше, замечу, впрочем, что на счет сих последних я был, полагаю, не слишком далек от истины. Несколько моих стихотворений открыли мне доступ в кружок, составившийся из лучших умов Модены того времени, моих ровесников — маркиза Джованни Рангони<sup>5</sup>, Джованни Кариссими<sup>6</sup>, Пьетро Антонио Бернадони<sup>7</sup> и других, людей просвещенных, остроумных и весьма склонных к благопристойному веселью. О, что это были за отрадные, исполненные ума и блеска беседы! Равных им мне не доводилось слышать впоследствии. На наших сборищах читались свежееотпечатанные стихи Карло Марии Маджи<sup>8</sup>, позже — Франческо де Лемене<sup>9</sup>. Нас восхищала и покоряла полнота и сила первого, изящество и грандиозность второго; под оздоровляющим воздействием их слога мы отвратились от прежде чтимой нами пустой и аффектированной манеры, что оказало благотворное влияние на наш литературный вкус. Мне захотелось усовершенствоваться еще более, и я взялся за произведения сначала древних латинских поэтов, а потом и наиболее знаменитых греческих, стараясь подметить все то, что в них заключалось особенно умного, изящного, яркого. Не приобретя такого опыта, не отточив вкус чтением образцовых произведений, созданных на греческом, латинском и итальянском языках, разве что чудом можно добиться славы великого поэта — разумею при этом не то, что сам к ней стремился, но только, что таков истинный путь. Впрочем, поэту потребнее всего изобретательность ума и природный талант, без этого сколько ни читай, всей начитанности едва достанет на то, чтобы зарифмовать благие мысли, но никак не на то, чтобы создать стройные и совершенные произведения.

Одновременно с поэтами я читал Квинтилиана<sup>10</sup>, Либания<sup>11</sup>, Сенеку старшего<sup>12</sup>, восхищавших меня силой ума и глубиной мысли. Молодым людям подобное чтение полезно — хотя бы потому, что развивает красноречие, но и небезопасно, ибо способно обольстить софизмами и ложными идеями. Переходя от автора к автору, я дошел до Сенеки философа<sup>13</sup>, покоровшего меня не только сжатостью и внушительностью слога, но и своей философией. Благодаря чтению Эпиктета<sup>14</sup> и Арриана<sup>15</sup> познания мои в стоической философии еще углубились, и наконец я пропитался ею до такой степени, что возомнил себя скалою, о

которую суждено разбиться всем жизненным бурям и невзгодам. Об увлечении этом я не жалею, как, верно, не жалует ни один из тех, кто усвоил суровые внушения стоиков, ибо в них, бесспорно, содержатся максимумы полезные для жизни и не чуждые христианскому философу. Но чтение и опыт показали мне, что это учение не столько придает твердости, сколько возбуждает тщеславие: обстоятельства жизни убедили меня в том, что я обыкновенный человек, лишь не в меру возгордившийся. Переверни хоть горы книг, не найдется ничего, что бы так укрепляло дух против соблазна пороков и ударов судьбы, как святое учение и вера Христова, ибо она не только учит, но и спасает, не только указывает свет, но и дает силы. Упорное изучение философии Зенона<sup>16</sup> привело меня к сочинениям Юста Липса<sup>17</sup>, ее великого приверженца и толкователя, которые толкнули меня на следующий шаг: читая сочинения этого выдающегося ученого, в особенности те, что посвящены римским древностям, я осознал, что меня все более и более влечет мирская наука. И я стал изучать не только прозу старых латинских авторов, но и критические и ученые трактаты современников, античные надписи и монеты. Поприще это показалось мне увлекательным, обширным и, что еще важнее, мало исследованным, а значит — предназначенным для того, кто ищет славы и чести. Но всякий вступивший на это поприще вскоре убеждается, что без греческого языка и без множества нужных книг далеко на нем не продвинешься. Положим, не зная греческого, еще можно рассчитывать создать достойное произведение, но не имея достаточного количества хороших ученых книг, как древних, так и новых авторов, об этом нечего и помышлять, а добыть книги не так-то просто. Меня весьма тяготили обе эти трудности, но вскоре я получил доступ к библиотеке одного монастыря, не слишком богатой, но все же располагающей немалым числом хороших книг, туда я и зачастил, усердно приобщаясь к античной учености. Что же до греческого языка, то, запасшись хорошим Клейнартом<sup>18</sup> и двумя греческими словарями, я приложил все мое упорство к постижению этого благороднейшего языка и считаю, что не потратил без пользы ни свеч, ни трудов. Неленивый ум может в одиночку одолеть новый язык, но, сколь более удачливы те, кому достался хороший руководитель и кто взялся за дело вовремя, то есть в ранние годы, а не тогда, когда, возмужав умом, человек устремляется в широкий мир знаний и когда ох как трудно бывает остановиться и, подобно школьнику, взяться за прилежное заучивание слов; вот отчего, когда в более позднем возрасте я взялся изучать древнееврейский язык, терпение мое истощилось задолго до того, как я увидел конец томительного пути. Всему свое время.

Я мечтал о том, чтобы кто-нибудь протянул мне нить в лабиринте учености. По счастью, далеко искать не пришлось: в Модене я обрел руководителя, какого не нашел бы, изъездив множество

городов, даже самых почтенных: то был дон Бенедетто Баккини<sup>19</sup>, монах из монастыря Кассино<sup>20</sup>, чтимый и покровительствуемый светлейшим домом Эсте<sup>21</sup>, впоследствии библиотекарь светлейшего герцога, моего господина, а под конец жизни — аббат монастыря св. Петра в Модене. Во всей Италии немногие могли бы сравниться с падре Баккини широтой эрудиции и глубиной постижения всех родов словесности. Особенно редкостным был в этом выдающемся литераторе удивительный дар пестовать умы: те, кто пользовались его вниманием, не только набирались от него учености, но и приучались к верности суждений, без труда избавляясь от дурного вкуса. Кто усомнится в том, что зная, какие книги полезно читать, имея доступ к хорошей библиотеке, внимательно подмечая все, что наиболее ценимо мудрыми людьми в древних и новых авторах (опять скажу: в древних и в новых, ибо не дюжинная, а истинная и к тому же разумная ученость приобретается чтением не одних только древних авторов, но и современных), — можно образовать свой ум и направить его по пути почестей и славы. Однако путь сей долог. И сколь же должен быть благодарен судьбе тот, кто своевременно встретил доброго наставника, искоренившего в нем предрассудки, привившего ему хороший вкус, умевшего обратить его внимание как на недостатки, так и на достоинства читаемых произведений. Путь его намного сокращается оттого, что в краткий срок он перенимает то, что другой добывает ценой усиленных трудов и долгих поисков. Я ловил каждое слово сего образованнейшего человека, желая извлечь как можно больше пользы из его рассуждений, всегда блиставших эрудицией и мыслью; и хотя счастье мое, увы, было непродолжительное, ибо мне пришлось расстаться с Моденой, однако в том немногом, что я сделал, без сомнения, запечатлелась личность падре Баккини. Надо сказать, что в то самое время, когда только мирская наука казалась мне обширной и богатой, именно он открыл моему зрению еще большую широту и богатство духовной учености. С какой радостью я обратился по его указанию к анналам Бароньо<sup>22</sup> в наилучшем издании, подготовленном Спондом, к истории церкви, соборов, к отцам церкви и другим сочинениям того же рода. Поистине великое и благородное поприще. Одно худо: новая мысль, более всего ценящаяся в мирской науке, здесь нередко навлекает на себя подозрение, а это служит немалым препятствием для того, кто желал бы на этом поприще отличиться.

У кого-то такое мое непостоянство — я еще перечислил не все, чем занимался, — может вызвать удивление и насмешку: дескать, не разбросанность ли это, нет ли тут опасности, за все хватаясь, ничего не ухватить. Но тот, кто стал бы так рассуждать, имеет куций ум. Трудно описать, сколь полезно и живительно одно искусство для другого, сколь тесно связаны между собой разные познания и науки. Чем шире образованность, тем вернее вкус, тем точнее суждение, — важно лишь не позволять мысли

блуждать постоянно, без всякого пристанища. Литератора я уподобил бы купцу: есть много купцов, торгующих одним товаром, но обыкновенно быстрее богатеет тот, кто торгует разными товарами, зная толк в каждом.

Так текла моя жизнь; с радостью предаваясь своим излюбленным занятиям, я жил в ладу с собой и мало помышлял об устройении своего будущего. Я не искал фортуны, но она сама нашла меня и как раз тогда, когда я меньше всего ее ждал. В Модену переехал на жительство маркиз Джованни Джузеппе Орси<sup>23</sup>, прославленный среди литераторов покровитель любителей словесности; он представил меня монсиньору Марсильи, архидьякону Болоньи, знатоку литературы и человеку редких достоинств, а тот доставил мне приглашение занять должность в знаменитой Амброзианской библиотеке<sup>24</sup> — что было для меня то же, что вода для жаждущего.

Так я очутился в Милане. Получив в свое распоряжение бесчисленные рукописные кодексы — одно из главных украшений Амброзианской библиотеки, — я погрузился в них с головой: мне не терпелось сделать какое-нибудь открытие, дабы предстать с ним в республике словесности. Надежды меня не обманули: мне удалось обнаружить несколько драгоценных и неизданных сочинений древних авторов, и я тут же с восторгом и усердием принялся за их комментирование и публикацию. Не многие города могут похвалиться старинными рукописями, еще меньше — их изобилием, но уж где эти рукописи есть или где их можно найти, там гляди в оба — возможно, в их числе окажутся рукописи, обнаружение которых принесет пользу обществу тем, что откроет ранее неизвестное или внесет усовершенствование в уже известное. С появлением печати деятельность такого рода неизменно приносила богатые плоды, ей же обязаны славой многие из самых выдающихся нынешних эрудитов.

Первый том "Историй", то есть свой первый труд, я выпустил в свет, еще не достигнув совершеннолетия. Надо сказать, что когда восемнадцати лет отроду я прочитал сочинения Карло Сигонио<sup>25</sup>, прославившего наш город, — это были, кажется, комментарии к Титу Ливию — и по некоторым замечаниям вывел, что автор написал их в возрасте 22 лет, то совершенно пал духом, заключив, что ни на что не гожусь, ибо, тогда как Сигонио в столь молодые годы уже овладел великой ученостью, я все еще одолеваю ее азы; в тот день я бы не поверил, что когда-нибудь к нему приближусь. Но опыт внушил мне, что, если природа сколько-нибудь щедра к человеку и если сам он трудолюбив, он вернее всего достигнет цели. По выходе "Историй", к коим вскоре присоединился второй том, обо мне заговорили в ученом мире; я приобрел не только благоволение и уважение выдающихся литераторов в Италии и вне ее, но и дружбу ученейших мужей, из коих некоторые удостоили меня похвалы в своих сочинениях. Вот какой капитал славы и знакомств доставили мне две



первые книжицы. Хочу, однако, — в поучение другим — сознаться в одном юношеском грехе. Первый том "Историй" я опубликовал еще горячим, не дав ему вылежаться, не подвергнув его суду друзей, то есть не испросив их замечаний и попросту не дав им прочитать оттуда ни слова. По сей день корю себя за эту неосмотрительность или дерзость. Даже зрелый автор не замечает некоторых своих упущений, я же был юн и легко мог что-либо проглядеть, к примеру, какую-нибудь погрешность в грамматике. Но нет, на всех парусах я понесся в типографию. Пусть теперь я не раскаиваюсь в том, что предпринял это издание, многими встреченное с одобрением, но надо признать, что риск был немалый и что тех изъянов, которые я в нем впоследствии обнаружил, могло бы не быть, если бы текст подвергся надлежащей шлифовке. Молодым людям важно понять, что к публике должно иметь уважение и что собственную репутацию следует ревниво оберегать, памятуя, что, будь ты хоть семи пядей во лбу, один всего не охватишь. Молодой неопытности и задору можно, конечно, простить кой-какие оплошности, но лучше не иметь нужды в подобном снисхождении.

Оставаясь в Милане, я продолжал составлять "Истории", частью переводя с греческого; эти переводы были опубликованы позже. Но мне было не довольно сих занятий, и я постоянно охотился за новой добычей, искал неторенных путей. Рассудив, что можно стяжать славу изучением античных мраморов, я стал разыскивать и собирать неопубликованные римские и греческие надписи. Получилось изрядное собрание, и, хотя Фабретти<sup>26</sup>, обнаружив свой труд, лишил меня, так сказать, многих открытий, у меня осталось достаточно материала для задуманного трактата под названием "О старинных надписях". Подобным же образом, полагая, что литургия св. Амвросия, знаменитая древностью и своеобразием по сравнению с римской, заслуживает ученого трактата и может привлечь внимание общества, я принялся собирать нужные материалы, побуждаемый также желанием выразить мою признательность городу, где многие меня полюбили и поощряли в моих разысканиях. Ученому литератору непросто напасть на новую тему, но взгляд его должен охватывать многие предметы, тогда он может выделить тот, занятию которым наиболее благоприятствуют обстоятельства и который полезен и привлекателен для общества. Оба упомянутых трактата не были, однако, завершены, причиной чему было то, что мой государь, светлейший герцог Ринальдо I, внезапно затребовал меня в Модену. Не буду скрывать, мне жаль было покидать Амброзианскую библиотеку и еще более — прерывать некоторые труды. Но в Модене уже находился некий литератор, нарочно присланный одним важным германским правителем для обследования герцогского архива, и его высочество принял решение открыть этот архив только в моем присутствии, для чего и призывал меня. Государь мой был, однако, столь добр, что предоставил мне полугодовую

отсрочку, зачислив меня к себе на службу, и одновременно взял на иждивение ожидавшего меня литератора. За время этой отсрочки я еще раз просмотрел рукописи Амброзианской библиотеки, отбирая исторические материалы и разыскивая сведения об авторах для трактата под названием "Библиотекарь", который намеревался составить на досуге. Боюсь, впрочем, что этому замыслу суждено умереть вместе со мной, ибо годы прибавляются, а здоровье и силы убывают, один замысел вытесняет другой, да и не хватает уже времени, не удерживает всего голова.

Вернувшись в родной город в 1700 году, я взялся за приведение в порядок архивов его высочества, на что положил немало трудов, а через два года мое отечество постигло бедствие: война, охватившая всю Ломбардию<sup>27</sup>. Когда говорят пушки, литература молчит, да и ремесло литератора служит для него источником многих несчастий. Меня, однако, хранил Господь: несмотря на все бури, за мной сохранялась должность, жалованье и возможность пользоваться герцогской библиотекой. Мне недоставало многих книг, но время для трат было неподходящее, поэтому, не умея сидеть сложа руки, я взялся за трактат "О совершенной итальянской поэзии", потребовавший основательных штудий и усиленных размышлений, — впоследствии он имел немалый успех. Ученому полезно держать в голове разные узоры, а в руках — разные нити, тогда, если случится, что почему-либо нельзя выткать один узор, он может приняться за другой. Или так: если нельзя построить величественный дворец, можно разбить красивый сад, принаровляясь ко времени, месту и обстоятельствам и более всего заботясь о том, чтобы драгоценное время не утекло между пальцев. Одни произведения подготавливаются усердным и пытливым чтением, другие — исходят прямо из шишковидной железы<sup>28</sup>, для одних нужно сидеть погребенным под множеством книг, в богатых библиотеках, для других — довольно нескольких книг на летнем отдыхе. Большую часть замечаний к Петрарке я написал, пребывая на вилле, также и трактат "О правлении во время чумы", для которого оказалось достаточно нескольких книг и кратких записей того, что я ранее прочитал в городе. Люди праздные порой недоумевают, видя, как на лоне природы ученый утыкается носом в книги. Бедняга, говорят они, разве мало ему учености, зачем он до времени хоронит себя. Но ведь и мы можем позволить себе недоумение — разве лучше быть праздным, ведь праздность не полезна обществу и скорее всего приносит вред душе.

В те же годы я вел для забавы долгую переписку с учнейшим синьором Бернардо Тревизани<sup>29</sup>, венецианским дворянином, приняв имя Антонио Ламприди, так что тот не знал, ни кто я на самом деле, ни где проживаю. Его стараниями был опубликован мой проект Литературной республики в Италии: сознавая, что осуществление оной еще менее вероятно, чем осуществление республики Платона или мудрого Фенелона, архиепископа

Камбрейского<sup>30</sup>, я захотел, однако, потешить себя и подразнить обленившихся духом итальянцев, дабы затем перейти к составлению трактата "О хорошем вкусе". В сем трактате, опубликованном уже под именем Ламиндо Пританио — анаграмма прежнего псевдонима, — я вознамерился облегчить молодым людям путь, который в одиночку одолевается ценой долгих усилий или же не одолевается вовсе. Горько видеть стольких людей, посевших над книгами, измаравших дести бумаги, но нисколько не развивших свой вкус. Если тому причиной скудоумие, то тут горю не поможешь, ибо нет лавки, где продается ум. Но причиной может быть и то, что лучшее, превосходнейшее в книгах не оценивается в должной мере. Отчего бы не читать только хорошие, избранные книги? А читая их, не перенимать их достоинства? Вас восхищает благородный, изящный, чистый слог латинских или новых авторов? Подражайте ему, насколько возможно. Вы порицаете в книгах темноту, беспорядочность, заурядность, лесть, озлобленность, болтливость и прочие недостатки; вы восхваляете ясность, упорядоченность, правдивость, скромность, умеренность, цените книги, где меньше слов, больше дела, где много полезного, нового, ранее неоткрытого, где за окончательно ясное не выдается то, что еще сокрыто во тьме, а за правду то, что только правдоподобно; вам нравятся внешние или внутренние красоты, благодаря которым чтение книги от начала до конца доставляет вам удовольствие, ибо вы находите в ней пищу для ума и для души, так старайтесь же избегать того, что порицаете, и перенимайте то, что восхваляете, насколько это в ваших силах. Иной, увы, поглотив сотни книг, так и не может избавиться от предрассудков, застрявших в нем с ранних лет; ему не приходит на ум, что мнения или способ занятий, преподанный ему первыми учителями, уязвим или того хуже. Пусть же он призадумается и сообразит, что если во всем сомневаться плохо, то ни в чем не сомневаться тоже нехорошо, и что время учит, и что только детям пристало идти путем, которым их ведут старшие, взрослым же людям следует искать лучших путей, если таковые есть. На лучший путь могут наставить многие книги, может наставить пример тех особо чтимых авторов, вровень с которыми нельзя стать, но которых можно принять за образец, наконец отысканию пути могут способствовать суждения великих людей о разных книгах, критические и похвальные мнения о выдающихся писателях, раскрывающие погрешности и достоинства разбираемых сочинений.

Война еще не отдалилась от границ Моденского герцогства, как повелением моего государя я был вовлечен в войну другого рода, вызванную спором о Комаккьо<sup>31</sup>. Против меня гремела артиллерия всех калибров, летели камни и стрелы, но я оставался в убеждении, что если человек, исполняя свой долг, стоит за правду, и если справедливость на его стороне, доспехи его окажутся крепче доспехов Ахиллеса и зачарованного Орlando<sup>32</sup>. Я

сохранил присутствие духа, несмотря на то, что обязанности, возложенные на меня, потребовали усилий и трудов почти невероятных: простой человек этого не поймет, но тот, кто знаком с ремеслом, поверит мне, ибо знает, что за труд потребен для разработки обширной темы, коей многочисленные малые части разбросаны и попрятаны по бесчисленным увесистым томам, изданным и неизданным документам. Не знаю, удалось ли удержать равновесие, не мне судить, но я старался как мог. О, сколь раздражительно, чувствительно, гневливо и, что хуже всего, мстительно племя ученых! Если бы люди неученые пригляделись к нам получше, они бы заметили, что литераторы, воюя друг с другом, бросают тень на свою репутацию именно тогда, когда надеются поднять себя в общем мнении. Можно понять сочинителя, который, если его задевает и пинает собрат, разгорячается и, закипев, хватается за перо, кое в его руке то же, что шпага в руке дворянина. Но прибегать к оскорблениям, доходить до полного ослепления, до забвения морали, о, нет, этого простить нельзя, тем более нельзя простить литератору, ибо кому, как не ему, знать, что репутация человека порядочного выше, чем репутация человека ученого. Возможно, кто-то сочтет, что и мне следует почаще вспоминать не только обращаться к другим с этими наставлениями, но и самому вспоминать их почаще. Сознаюсь, что, когда мне попадаются сочинения, направленные против меня, в особенности беспочвенные и задевающие личность, то и я чувствую, как все внутри меня — а может быть, только моя гордость — приходит в движение, угрожая разлитием желчи; не поручусь, что в таком состоянии и я не ударил бы вслепую. Но поэтому-то я и принял за правило — не братья за перо для ответа, пока чувства мои не остынут совершенно, ибо отвечать должна не страсть, а разум.

Покуда шла распря, я употреблял свой небольшой досуг на составление трактата "О сдержанности ума". Этот трактат стоил мне многих бдений: трудность была не только в содержании, но и в порядке изложения, каковой обычно мало замечается людьми, хотя он составляет, может быть, одно из главных достоинств всякой хорошей книги. Но вот что странно: печатание трактата было запрещено в одной из итальянских столиц на том основании, что какое-то выражение было сочтено не вполне лестным для главы Церкви, а во Франции — на том основании, что то же выражение было сочтено слишком для него лестным. В конце концов трактат был напечатан в Париже, но с добавленными кем-то от себя двумя или тремя вставками, по поводу каковых я счел долгом послать публичное опровержение.

За ним последовал трактат "О древностях рода Эсте", то есть о происхождении благороднейшего дома Эсте. И тут мне надлежит сделать еще одно признание: в молодости у меня на уме были только греческие и римские древности; величие античности, грандиозные предприятия, образцы доблести, а в особенности гармония и искусство, обнаруживаемые литературными произ-

ведениями, строениями, статуями, надписями, монетами, восхищали меня беспредельно. Что же до создания новых веков, то глаза бы мои на них не смотрели. Сама история этих веков, их писатели, обряды, обычаи, взаимные обманы — все казалось мне измельчением и варварством — коего и вправду было немало, — и оттого я чувствовал себя так, точно ступал по диким горам, застроенным убогими лачугами и населенным зверьми; когда, бывало, мне попадалось в руки произведение тех грубых веков, я не удостаивал его взгляда. Сейчас мне смешно это ослепление. Ведь и в варварстве, и в дикости есть, как я понял позже, своя красота и привлекательность, так же как в трагедиях и в живописи того времени, ибо то ужасное, что они содержат, в наше время может только учить и наставлять, но не может вредить, а кроме того, правда — сама по себе великая красота, доблести же или ярких предприятий и в те века было немало. Скажу больше: для ученых изучение ранних веков — это поприще, на котором можно подвизаться с большей выгодой, нежели изучая седую древность, ибо если античность уже вся обследована и занята другими, то средние века частью еще в тени, а частью и вовсе не тронуты. Повторение же сказанного не большая честь для ученого, коему надлежит заботиться о приращении общего запаса знаний в каждой науке и в каждом искусстве, которому он себя посвятил. Итак, с большим увлечением повел я разыскания касательно рода Эсте, знатного в античные времена не менее, чем в новые, и ответвившегося несколько веков назад от рода, правящего ныне в Англии и в некоторых других странах. Когда-то генеалогии мало чем отличались от романов: всякий, кому не лень, беззастенчиво вплетал в нее разные нити, дабы получился желаемый узор, и, о, как добрые люди радовались этим сказкам, в особенности же те, кто находил в них прямую корысть. Я же опасался сослужить плохую службу моему государю и моей собственной репутации, поэтому не жалел трудов, не упускал ни малейшей возможности для того, чтобы выбраться на свет из густой тьмы веков невежества. По приказу светлейшего герцога и могущественного британского короля Георга I<sup>33</sup> я исколесил всю Италию, осматривая архивы и снимая копии с бесчисленного множества старинных пергаментов. Крестным знаменем осеняли себя те, кто, не имея опыта в подобных делах, наблюдали, как я разбираю и быстро списываю неразборчивые каракули древних документов. Но знатоку древности достаточно приложить терпение, чтобы освоиться с формулами и варварским стилем контрактов и дипломов прежних времен, многие из которых давно напечатаны; я же, овладевая этим умением, прошел хорошую школу среди манускриптов Амброзианской библиотеки, в архивах герцога Эсте и Моденского собора; за время моих поездок по Италии большую опытность в этом деле приобрел также доктор Пьетро Эрколе Герарди<sup>34</sup>, читающий курс древнееврейского и греческого языков в Моденском университете, коему я призна-

телен за то, что он любовно помогал мне в моих поисках, необычайно увлекательных, но и многотрудных.

Необходимость вести разыскания в архивах доставила мне обильную жатву: я познакомился с множеством неизданных документов: повелениями императоров, королей и князей, архивами монастырей, дарственными записями, завещаниями, папскими и епископскими буллами и другими подобными памятниками темных веков, нуждавшимся в комментариях. Это навело меня на мысль описать после древностей рода Эсте итальянские древности, которые должны были составить вторую часть. Так я приступил к сочинению "Итальянских древностей", имея замысел рассказать о нравах и обычаях Италии после падения римской империи и до XVI века, замысел, быть может, превосходящий мои силы, ибо в сочинении речь должна идти о разных формах правления, о законах, мнениях, договорах, способах ведения войны, епископствах, аббатствах, приютах и больницах, республиках, партиях, монетах, феодальных имениях и прочих вещах, которые, будучи описаны, представляли бы цельный образ Италии тех времен, во многом столь отличный от теперешнего. Замысел этот превосходен, и решимости мне не занимать, но слишком часто я бываю не в ладах со здоровьем или с головой: подует сирокко, и я уже неспособен написать простого письма, зимой мои мысли замерзают у меня в голове, не говоря уже о прочих беспокойствах, которые слишком часто напоминают мне, кто я есмь... Одним словом, надо приспустить паруса, и, кто знает, достанет ли у меня времени, воли и сил вернуться к этому замыслу впоследствии.

Но вот что желаю сказать: если немногие города располагают старинными рукописями, то во многих городах найдутся залежи старых пергаментов. Зачем же оставлять их на съедение мышам и моли вместо того, чтобы использовать их с честью для себя? Пусть их содержание не прольет свет на важные общие вопросы, оно, без сомнения, обогатит нас сведениями о родных краях. Один достойный человек любил говорить, что будь это в его воле, он бы законом повелел каждому ученому составить сочинение на благо или во славу вскормившего его города, дабы хотя бы этим заплатить ему дань благодарности. Какие справедливые, какие верные слова!

Вы спрашиваете, Ваше сиятельство, какая новая работа у меня сейчас на руках. Почти не смею этого сказать, столь величественна моя затея: я хотел бы прославить не один свой город, но все, насколько это возможно, города Италии. Другими словами, я собираю в единый многотомный корпус все материалы по истории Италии от V до XIV веков нашей эры, как печатные, так и еще неизданные. Этих последних у меня собралось уже немало, и если добрый гений других людей поможет мне в сем благородном начинании, то собрание это еще разрастется: и тогда Италия обретет то достоинство и преимущество, коего она была лишена до сих пор и коим обладают другие народы...



Георг Кристоф Лихтенберг

#### АФОРИЗМЫ

*Боже, не дай мне только написать книгу о книгах!*

Не каждому дано писать так, чтобы это могло понравиться человеку вообще во все времена и во все эпохи. При том положении в мире, которое имеется в настоящее время, требуется много сил, чтобы развить только самое существенное, и очень много устойчивости, чтобы не пошатнуться, когда все шатается.

Для того, чтобы писать так и притом писать естественно, нужно, несомненно, много искусства, потому что мы теперь большей частью заражены искусственностью. Прежде всего мы должны изучить, так сказать, облик естественного человека, если хотим писать естественно. Желаящий писать для всех эпох должен изучить философию, вести самонаблюдение — и весьма тщательно, — заниматься естествоведением сердца и души самих по себе и во всех связях. Вот та твердая почва, на которой люди, безусловно, снова объединятся, когда бы это ни произошло.

... Быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом самостоятельном участии, не очень плодотворно. Ученость также может родить лишь листья, не давая плодов.

Часто встречаются весьма неглубокие люди, удивительно много знающие. Напротив, то, до чего человек должен дойти своим умом, оставляет в его рассудке след, по которому он может идти и при других обстоятельствах.

Какой нам толк от чтения древних, если человек утратил состояние невинности и, куда ни взглянет, видит всюду свою собственную догму? Поэтому посредственный ум считает, что писать, как Гораций, — легко, ибо он считает, что легко писать лучше, чем он, но это "лучше", к несчастью, оказывается "хуже". С годами (если только с возрастом умнееешь) утрачиваешь надежду писать лучше, чем древние. В конце концов видишь, что мерилом всего прекрасного и верного является природа и что все мы имеем это мерило внутри себя. Однако оно настолько заржавело от предвзвешенных суждений, от слов, которым не соответствуют понятия, от ложных понятий, что им уже ничего нельзя измерить.

Если ты хочешь стать великим в определенном роде сочинений, читай больше, чем только эти сочинения. Даже если ты не стремишься раскинуть свои ветви над широким полем, то для твоей плодотворности всегда полезно широко простираешь корни...

Во-первых, я не верю, что буду известен потомкам, а затем — ведь мы же их отцы, и они, разумеется, не откажут нам в сыновнем почтении. Я не понимаю, почему следует стыдиться будущих поколений больше, чем современников.

Ни в одном произведении и, в особенности, ни в одной статье не должно быть видно и следа тех усилий, которых они стоили писателю. Кто желает, чтобы его читали потомки, должен научиться бросать намеки, пригодные для создания целых книг, включать мысли, способные вызвать целые дискуссии, в какую-нибудь незначительную часть главы. Это следует делать так, чтобы казалось, будто их тысячи.

Можно без особенно большого остроумия писать так, что другому потребуются много остроумия, чтобы понять.

Когда книга сталкивается с головою — и при этом раздается глухой пустой звук, разве всегда виновата книга?

Если бы мы больше думали самостоятельно, то мы имели бы гораздо больше плохих и гораздо больше хороших книг.

Книги пишутся по книгам, и наши поэты в большинстве случаев стали поэтами только благодаря чтению поэтов. Ученые должны бы стараться вносить в книги свои ощущения и наблюдения.

Многих из наших оригинальных гениев нам придется считать за полоумных до тех пор, пока мы не станем такими же умными, как они.

У кого две пары штанов — продай одну и купи эту книгу!



Книга оказала влияние, обычное для хороших книг: глупые стали глупей, умные — умней, а тысячи прочих ни в чем не изменились.

Из материала, годного разве что для статейки в газете, не создавайте книги, а из двух слов — периода. То, что говорит дурак в целой книге, было бы еще терпимо, если бы он сумел это выразить в трех словах.

...Когда книга нравится тебе с годами все больше — это верный признак, что она хорошая...

Из белой бумаги предпочитают не делать фунтиков. Но когда на ней что-нибудь напечатано, это делают весьма охотно.

Плохие писатели по преимуществу те, которые стремятся высказать свои примитивные мысли словами хороших писателей. Если бы они могли найти для того, что думают, подходящие слова, то они все же внесли бы кое-что в общее целое и представили бы для наблюдателя некоторый интерес.

...Хороший писатель, безусловно, не должен беспокоиться, если его не поймут и через десять лет. Чего не поймет это столетие, поймет следующее.

Люди, очень много читавшие, редко делают большие открытия. Я говорю это не для оправдания лени, потому что открытие предполагает глубокое и самостоятельное созерцание вещей; следует больше видеть самому, чем повторять чужие слова.

Читать означает "брать в долг", а сделать на основе этого открытие — значит "уплатить долг".

Нет более верного пути составить себе имя, чем писать о вещах, кажущихся важными, но на исследование которых разумный человек не станет тратить времени.

Книга — это зеркало. И если в него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола.

Чтобы писать трогательно, нужно нечто большее, чем слезы и луна.

"Лесов становится все меньше, дрова иссякают, что же нам предпринять?" Когда вырубят все леса, мы сможем, наверное, так долго жечь книги, пока не вырастут новые леса.

Метафора гораздо умней, чем ее создатель, и таковыми являются многие вещи. Все имеет свои глубины. Имеющий глаза видит все во всем.

Греческие и латинские книги ввозились к нам так же, как арабские жеребцы в Англию. Для многих из них можно было бы представить родословную, как это делают англичане для лошадей.

...Метафоре тело дает писатель, а душу — читатель...

Внимательный мыслитель часто найдет в шуточных произведениях великих людей больше поучительного и тонкого, чем в их серьезных трудах. Формальное, условное, связанное с этикетом, — все это здесь обычно отпадает; удивительно, сколько еще печатается жалкой, условной ерунды. У большинства писателей на лице такая мина, как у некоторых людей, позирующих для портрета.

Человечество, как и человек, имеет свои ступени развития. Мы пишем для своих современников, а не для древних греков. У меня возникает не только жалость, но и своего рода стыд за молодых людей, которые говорят о *своем* Гомере, изучают *своего* Гомера, держат постоянно *своего* Гомера в кармане, а когда они должны обратиться к разуму и сердцу человека, то говорят так, что можно подумать, будто они изучали человека по "Беседам" Ланге<sup>1</sup>. Наша утонченность — не позор, мы принадлежим к более зрелому поколению. Истина, образование и улучшение человечества должны быть главными целями писателя. Если он их достигает, то средства, используемые при этом, для нас довольно безразличны.

Слово "*простота*" употребляют до отвратительности неопределенно. Вертел — прост, часы Гаррисона<sup>2</sup> — просты и человеческий мозг также, и последний, по-видимому, — самое простое. Смешно судить о простоте какой-нибудь вещи, не принимая во внимание ее конечной цели. Это еще вопрос, так ли уж удачно писали столь прославленные древние поэты, как мы в этом сейчас уверены. Ибо вместо того, чтобы судить о них с точки зрения их публики, мы, заранее предполагая, что они постигали все точно, создаем их публику в своем воображении. В горячих рекомендациях древних, которые столь часто даются из желания рекомендовать самих себя, содержится, безусловно, добрая половина школьной традиционной болтовни, когда люди ни о чем не думают.

Во многих сочинениях какого-нибудь знаменитого писателя я бы охотней прочитал то, что он вычеркнул, чем то, что он оставил.

Чрезмерное чтение привело нас к ученому варварству.

Поверхностная или словарная ученость, которая выглядит так дурно в серьезных сочинениях и вызывает отвращение у знатока, является подлинной солью остроумных произведений, для которых

действует золотое правило: говорить так, чтобы казалось, будто автор знает во сто раз больше, или бросать мимоходом некоторые положения с таким небрежным видом, словно их еще в запасе сотни. Да, безусловно, не следует писать целую книгу, если можно обойтись и страницей, или главой, если достаточно и одного слова.

Поистине, многие люди читают только для того, чтобы иметь право не думать.

...Никто не должен бояться вставлять в роман замечания, основывающиеся на длительном опыте и глубоких размышлениях, если они имеются в запасе. Их, безусловно, обнаружат. Благодаря им остроумные произведения приближаются к творениям природы. Дерево не только дает тень любому путнику, но листья его можно исследовать и под микроскопом. Книга, которая нравится величайшему мудрецу, может по той же причине понравиться и толпе. Она может увидеть не все, но эти замечания должны быть налицо на случай, если придет кто-либо с более острым зрением.

Было бы, разумеется, весьма полезно указать миру на тех писателей, которые, используя знания своих предшественников, черпали духовное богатство из самих себя. У них только и учишься, и, конечно, очень мало таких, которые легко доступны каждому. Другие занимаются подделками и, собственно, являются фальшивомонетчиками.

Популярным изложением сегодня слишком часто называется такое, благодаря которому масса получает возможность говорить о чем-либо, ничего в этом деле не понимая.

Книга, которую прежде всего следовало бы запретить, — это каталог запрещенных книг.

К числу величайших открытий, к которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно, принадлежит, по моему мнению, искусство судить о книгах, не прочитав их.

Из общеизвестных книг следует читать лишь самые лучшие, а затем только такие, которых почти никто не знает, но авторы которых — люди с умом.

Было бы неплохо, если бы какой-нибудь ребенок написал книгу для стариков, потому что сегодня все пишут для детей...

Если история какого-нибудь короля не подверглась сожжению, я не желаю ее читать!

Хотя я знаю, что очень многие рецензенты не читают книг, которые они так мастерски рецензируют, я все-таки не могу понять, какой ущерб они бы потерпели, если бы они все-таки прочли ту книгу, которую должны рецензировать.

Писателя делает интересным для других то, что он постоянно говорит, как *мыслят или чувствуют*, сами не зная этого, замечательные люди или вообще большинство. Посредственный же писатель говорит только то, что каждый мог бы *сказать*. В этом и состоит достоинство драматических писателей и романистов.

Я рассматриваю рецензии как своего рода детскую болезнь, которая постигает в более сильной или более слабой форме новорожденные книги. Бывает, что наиболее крепкие от нее умирают, а слабенькие часто выживают. Иные же и вообще не заболевают ею. Часто пытались предотвратить болезнь путем амулетов — предисловий и введений — или же сделать прививки путем собственных суждений, но это не всегда помогает.

Жалуются на ужасающее количество плохих произведений, выходящих к каждой пасхальной ярмарке; а я решительно этого не вижу. Почему критики говорят — "надо подражать природе"? Наши писатели и подражают природе, и следуют при этом своему инстинкту, так же как и великие; а скажите на милость, что делать живому существу, как не следовать своему инстинкту? Посмотрите, например, на вишневые деревья, сколько вишен созревает на них? Меньше одной пятидесятой, а остальные опадают незрелыми. И если вишневые деревья печатают макулатуру, то кто же может запретить это людям, которые все же лучше, чем деревья? Да что, говорю я, деревья, разве вы не знаете, что из всех людей, которых ежегодно выпускает в свет "производящая" публика, более 1/3 умирает, не достигнув и двухлетнего возраста? Как с людьми, так и с книгами, ими написанными. Вместо того, чтобы жаловаться на чрезмерное писательство, я преклоняюсь перед данным свыше миропорядком, который всюду стремится к тому, чтобы из всего, что рождается, большая часть превращалась в удобрение и в макулатуру, являющуюся тоже своего рода удобрением. Одним словом, Германия — подлинный книжный рассадник для всего мира и его оранжерея, и пускай садовники, — я разумею книгопродавцев, — говорят, что хотят.

То роковое обстоятельство, что писатели вынуждены печатать свои произведения на том же самом материале, из которого делаются и фунтики для пряностей, служит для некоторых из них еще большим препятствием на пути к славе и бессмертию, чем зависть и злоба всех критических журналов и газет.

Более странный товар, чем книги, едва ли сыщется на свете. Их печатают и продают люди, которые их не понимают, их переплетают, критикуют и читают люди, которые их тоже не понимают, да, пожалуй, они и написаны людьми, которые их не понимают.

Единственный недостаток истинно хороших произведений состоит в том, что они обыкновенно являются причиной выхода в свет множества плохих или посредственных книг.

Надгробные речи для книг весьма отличаются от надгробных речей для людей. Последних обычно слишком хвалят, а первых ругают больше, чем они этого заслуживают.

Каждый человек накапливает множество верных наблюдений. Но искусство состоит в том, чтобы научиться выражать их подобающим образом — это очень трудно, во всяком случае, много трудней, чем думают некоторые. И, безусловно, все плохие писатели сходятся в том, что из всего, имеющегося у них, они высказывают только то, что уже сказано всеми. Поэтому вовсе не стоило накапливать это в себе, чтобы потом высказывать.

Писатель, который для своего бессмертия нуждается в памятнике, недостоин и памятника.

Какое счастье, что пустота в мыслях не влечет за собой таких последствий, как пустота физическая, так как в противном случае некоторые головы, отваживающиеся читать книги, которых они не понимают, сплющивались бы.

Люди, которые много читают на улице, обычно не много читают дома.

Жаль, что у писателей нельзя видеть их ученые потроха, чтобы посмотреть, чем они питались.



Иоганн Вольфганг Гете

### ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

Фрагменты книги "Из моей жизни.  
Поэзия и правда" и статей о литературе

*Глубочайшее уважение, которое автор может оказать своим читателям, это — создавать не то, что от него ждут, а то, что он сам считает правильным и полезным на данной ступени своего и чужого развития.*

*Мы, в сущности, учимся только из тех книг, о которых не в состоянии судить. Автору книги, судить о которой мы можем, следовало бы учиться у нас.*

У меня выработалось одно основное убеждение, хоть я и не могу сказать, было ли оно мне кем-то внушено, возникло ли оно по какому-то поводу или же явилось плодом моих собственных домыслов. Убеждение это было следующим: во всем до нас дошедшем, тем более в письменном виде, главное — основа, смысл, внутреннее содержание, общая направленность. В этом-то и состоит истинное, божественное, действенное, неприкосновенное, неистребимое; и никакое время, никакие внешние влияния или причины не могут изменить внутреннюю прасущность или, по крайней мере, способны воздействовать на нее не больше, чем телесная болезнь способна нанести ущерб истинным достоинствам благородной души. Итак, будем считать язык, диалект, своеобра-

зие, стиль и, наконец, письменна за тело духовного произведения; тесно связанное с тем, что живет внутри его, оно тем не менее подвержено порче и гибели. И так как ни одно предание в силу самой своей природы не доходит до нас в первоизданном виде (а если и доходит, с течением времени неминуемо становится малопонятным — в иных случаях из-за несостоятельности посредствующих органов, осуществляющих эту передачу, в других — из-за своеобразности разных эпох и стран, но прежде всего из-за несходства человеческих способностей и человеческого мышления), то уже по этой причине толкователи никогда не могут прийти к согласному решению.

Мне думается поэтому, что каждому следует на свой лад вникать во внутреннюю суть и подлинный смысл произведения, однажды его поразившего, учитывая в первую очередь, в каком соотношении суть произведения состоит с его собственной внутренней сутью и в какой мере жизненная сила этого произведения пробуждает и оплодотворяет его жизненные силы. И напротив, все внешнее, не воздействующее на нас или представляющееся нам сомнительным, должно предоставлять критике, которая, даже если ей удастся расчлнить и расколоть целое, все же никогда не лишит нас существеннейшего, ни на миг не даст нам усомниться в том, что мы однажды восприняли и усвоили.

Это живительное убеждение, зиждущееся на вере и неустанном созерцании, применимое ко всем наиважнейшим обстоятельствам, легло в основу моего формирования, нравственного и литературного <... >

*(Из моей жизни. Поэзия и правда. Ч. 3, кн. 12)*

\* \* \*

Мне думается, что благороднейшее из наших чувств: надежда существовать и тогда, когда судьба, казалось бы, уводит нас назад, ко всеобщему небытию. Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души; доказательство тому, что каждый человек, самый малый, равно как и величайший, самый бесталанный и наиболее достойный, скорее устает от чего угодно, чем от жизни, и что никто не достигает цели, к которой он так пламенно стремится; ибо если кому-нибудь и посчастливилось на жизненном пути, то в конце концов он все же — часто перед лицом так долго чаянной цели — попадает в яму, бог весть кем вырытую, и считается за ничто.

За ничто? Я? Когда я для себя *все*, когда я все познаю только *через себя!* Так восклицает каждый смертный, и вот он большими шагами шествует по жизни, подготавливаясь к бесконечному странствию в потустороннем мире. Разумеется — каждый по своей мерке. Если один отправляется в дорогу бодрым шагом, то на другом — семимильные сапоги; он обгоняет его, и два шага последнего равняются дневному пути первого. Будь с ним что будет, но и тот ревностный странник останется нашим другом и

нашим товарищем даже тогда, когда мы дивимся гиганстским шагам другого, идем по его следам, измеряем его шаги своими.

В пути, милостивые государи! Вид даже одного такого следа делает нашу душу пламенной и возвышенной, чем глазение на тысяченогий королевский поезд<sup>1</sup>.

Мы чтим сегодня память величайшего странника и тем самым воздаем честь и себе <... >

Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что мое существование умножилось на бесконечность; все было мне ново, неведомо, и непривычный свет причинял боль моим глазам. Час за часом я научался видеть, и — хвала моему познавательному дару! — я еще и теперь чувствую, что мне удалось приобрести <... >

*(Ко дню Шекспира)*

\* \* \*

Шекспир оценен немцами больше, чем всеми другими нациями, может быть, больше, чем его собственной. Мы отнеслись к нему так справедливо, доброжелательно и бережно, как никогда не относились друг к другу, выдающиеся люди всегда старались показать его духовные дары в благоприятнейшем свете; я был готов подписаться подо всем, что говорилось к его чести, в его пользу и даже в его оправдание. Мне уже раньше довелось писать о том, какое влияние оказал на меня этот великий человек, а также опубликовать кое-какие заметки о его вещах, встреченные с одобрением. Посему я сейчас ограничусь этой общей декларацией, а впоследствии, когда представится случай, сообщу друзьям, желающим меня выслушать, кое-какие мысли о его величайших заслугах, которые я поначалу собирался изложить здесь.

Теперь же расскажу только о том, как я узнал его. Произошло это в сравнительно раннюю пору, в Лейпциге, благодаря книге Додда "Beauties of Shakespeare"<sup>\*2</sup>. Что бы ни говорилось о сборниках, которые преподносят нам произведения в раздробленном виде, они все-таки очень полезны. Ведь мы не всегда бываем достаточно сосредоточены и проницательны, чтобы должным образом воспринять большое произведение в целом. И разве мы не подчеркиваем в книге строки, непосредственно нас затрагивающие? В особенности молодые люди, еще недостаточно образованные, приходят в восторг, весьма похвальный, от отдельных блистательных мест. Так и я до сих пор почитаю одной из прекраснейших эпох моей жизни ту, которая была отмечена чтением этой книги. Великолепная своеобычность Шекспира, незабывае-

\* "Красоты Шекспира" (англ.).



мые изречения, меткие характеристики, юмористические черточки — все это поражало и потрясало меня.

И вот появился перевод Виланда<sup>3</sup>. Мы жадно проглотили его и стали рекомендовать друзьям и знакомым. Нам, немцам, везло в том смысле, что многие произведения других народов были с первого же раза легко и хорошо переведены на немецкий язык. Шекспир в прозаическом переводе, сначала Виланда, а потом Эшенбурга<sup>4</sup>, был понятен любому читателю, почему он и получил столь широкое распространение и оказал столь большое влияние. Я высоко ценю ритм, рифму — только благодаря им поэзия и становится поэзией, но собственно глубокое, подлинно действенное, воспитующее и возвышающее — это то, что остается от поэтического произведения, когда оно переведено прозой. Только тогда мы видим чистое, неприкрашенное содержание, ибо внешний блеск нередко подменяет его, если оно отсутствует, и заслоняет, если оно имеется. Поэтому я считаю, что для первоначального воспитания молодежи прозаический перевод предпочтительнее поэтического: ведь известно, что мальчики, все готовые обратить в шутку, забавляются звучностью слов, каденцией слогов и, задорно пародируя поэтическое произведение, разрушают благороднейшее его содержание. Поэтому я предлагаю подумать над тем, не следует ли прежде всего создать прозаический перевод Гомера, но, разумеется, чтобы он был не ниже того уровня, которого теперь достигла немецкая проза. Пусть над этим, так же как и над вышесказанным, поразмыслят наши уважаемые педагоги, располагающие обширным опытом в этой области. Чтобы подкрепить мое предложение, напомним только о Лютеровом переводе Библии<sup>5</sup>; ибо то, что этот превосходный муж перевел сие произведение, чрезвычайно пестрое по стилю, и сумел весь его тон, то поэтический, то исторический, то повелительный, то поучающий, отлить как бы из одной формы на нашем родном языке, больше способствовало упрочению религии, чем если бы он пожелал подражать тем или другим особенностям оригинала. После него все старания усладить нас в поэтической форме книгой Иова<sup>6</sup>, псалмами и другими песнями остались тщетными. Для толпы, на которую надо воздействовать, такой простой перевод — наилучший. Критические переводы, соперничающие с оригиналом, служат, собственно, лишь для развлечения ученых мужей.

Итак, в нашем страсбургском кругу<sup>7</sup> Шекспир в переводе и в оригинале, частями и в целом, в отрывках и в извлечениях так влиял на нас, что мы, наподобие людей, посвящающих свою жизнь изучению Библии, все более и более глубоко проникались его произведениями, в разговорах подражали добродетелям и недостаткам его времени, с которыми он нас ознакомил, хохотали над его каламбурами и соперничали с ним, переводя их или выдумывая собственные. Этому немало способствовало то, что я более других был охвачен энтузиазмом. Радостное сознание, что

надо мной парит какой-то высший дух, заразительно подействовало на моих друзей, которые стали держаться того же образа мыслей. Мы не отрицали возможности лучше узнать его достоинства, глубже понять и вникнуть в них, но это предоставлялось позднейшим эпохам. Покуда же мы хотели только радоваться ему, живо все перенимать и в благодарность за великое наслаждение, которое нам доставлял Шекспир, не заниматься разборами и исследованиями, но безусловно его почитать <... >

*(Из моей жизни. Поэзия и правда. Ч. 3, кн. II)*

\* \* \*

Обыкновенно при быстром ходе литературного и общечеловеческого развития мы забываем о том, кому мы обязаны первыми впечатлениями, кто впервые влиял на нас. Все происходящее, пристокающее в настоящем нам кажется вполне естественным и неизбежным; однако мы попадаем на перепутье, и именно потому, что теряем из виду тех, кто направил нас на верный путь. Вот почему я хочу обратить ваше внимание на человека, который во второй половине прошлого века положил начало и способствовал дальнейшему развитию великой эпохи более чистого понимания человеческой души, эпохи благородной терпимости и нежной любви<sup>8</sup>.

Я часто вспоминаю об этом человеке, которому обязан столь многим; он встает передо мною и в минуты, когда заходит речь о заблуждениях и истинах, вспыхивающих порой в человеческих душах. К ним можно присоединить, употребив его в более утонченном смысле, и третье слово — *своеобычности*, ибо существуют известные феномены в человечестве, которые лучше всего обозначаются этим именем, — они ложны извне, истинны изнутри и, при более глубоком рассмотрении оказываются весьма важными для психологических наблюдений. Они являются тем, что в конечном счете образует индивидуальность. Благодаря им общее специфицируется и даже в самом причудливом проглядывают разум, здравый смысл и благожелательство, которые нас привлекают к себе и пленяют <... >

*(Лоренс Стерн)*

\* \* \*

Когда и где создается классический национальный автор? Тогда, когда он застаёт в истории своего народа великие события и их последствия в счастливом и значительном единстве; когда в образе мыслей своих соотечественников он не видит недостатка в величии, равно как в их чувствах недостатка в глубине, а в их поступках — в силе воли и последовательности; когда сам он, проникнутый национальным духом, обладает, благодаря врожденному гению, способностью сочувствовать прошедшему и настоящему; когда он застаёт свой народ на высоком уровне культуры и его собственное произведение ему дается легко; когда он

имеет перед собой много собранного материала, совершенных и несовершенных попыток своих предшественников, и когда внешние и внутренние обстоятельства сочетаются так, что ему не приходится дорого платить за свое учение, и уже в лучшие годы своей жизни он может обзреть и построить большое произведение, подчинить его единому замыслу.

Если сравнить эти условия, при наличии которых только и может сложиться классический писатель, особенно прозаик, с теми обстоятельствами, при которых работали лучшие немецкие писатели нашего века, то всякий, кто видит ясно и мыслит справедливо, будет лишь с благоговением изумляться тому, что им все же удалось сделать, а о том, что им не удалось, будет только благопристойно сожалеть.

Значительное произведение, как и значительная речь, — лишь результат житейских обстоятельств; писатель, точно так же как и человек действия, не создает тех условий, среди которых он родился и в которых протекает его деятельность. Каждый, даже величайший гений в некоторых своих произведениях терпит ущерб от своего века и, напротив, при известных обстоятельствах от него выигрывает. Превосходного национального писателя можно ожидать только от стоящей на определенном уровне нации.

Но и немецкой нации не должно быть поставлено в упрек, что географическое положение держит ее в узких рамках, в то время как политический строй раздробляет ее<sup>9</sup>. Не будем призывать тех переворотов, которые дали бы созреть классическому произведению в Германии <..>

Нигде в Германии не существует такой школы жизненного воспитания, где писатели могли бы встречаться и развиваться в *едином* направлении, в *едином* духе, каждый в своей области. Родившиеся в разных местах, по-разному воспитанные, по большей части предоставленные лишь самим себе и влиянию совершенно различных условий, увлекаемые пристрастием к тому или иному образцу отечественной или иностранной литературы, *принужденные* делать всякие опыты и плохонькие работы, для того чтобы без руководства испытать свои силы, лишь постепенно, путем размышления убеждающиеся в том, что *надо* делать, чтобы позднее узнать на опыте, что *делать возможно*, вновь и вновь сбиваемые с толку широкой публикой, лишенной всякого вкуса, способной поглощать с одинаковым удовольствием плохое вслед за хорошим, потом, вновь ободренные знакомством с просвещенным, но рассеянным по всем концам великой страны обществом, находящие поддержку у работающих и стремящихся к единой цели соотечественников, — такой дорогой подходит немецкий писатель к порогу зрелого возраста. А здесь новые заботы о пропитании и о семье заставляют вспомнить о внешнем мире. Часто с печальнейшим чувством должен немецкий писатель себе добывать необходимые средства к существованию

работами, которые он и сам не уважает, чтобы такой ценой купить себе право создавать то, чему он единственно хотел бы отдавать свой просвещенный ум. Кто из немецких наиболее уважаемых писателей не узнает себя в этом портрете и кто не признается со скромной печалью, как часто он вздыхал о возможности подчинить особенности своего дарования общей национальной культуре, которой он, к несчастью, не мог обнаружить в окружающем. Ибо воспитание высших классов на образцах иностранной литературы, в чужих нравах хотя и принесло нам много пользы, но все же надолго помешало *немцу развиваться в качестве немца*.

Взглянем теперь на работы немецких поэтов и прозаиков с известными именами! С какой старательностью, с каким благоговением шли они по путям своих просвещенных убеждений. Так, например, не будет преувеличением, если мы станем утверждать, что путем сравнения отдельных изданий *Виланда* (человека, которым мы можем гордиться, несмотря на ворчание всевозможных Смельфонгов<sup>10</sup>) дельный и прилежный литератор мог бы развить целое учение о вкусе. Для этой цели ему надо только подвергнуть разбору последовательные поправки, которые вносит в свои вещи этот неутомимо работающий над своим совершенствованием писатель.

Каждый внимательный библиотекарь должен был бы позаботиться о составлении собрания его изданий, что пока еще возможно; и люди следующего века сумеют с благодарностью этим воспользоваться.

Быть может, мы решимся впоследствии предложить публике историю развития наших выдающихся писателей, насколько об этом можно судить по их произведениям. Если бы они захотели — хотя мы, впрочем, нимало не претендуем на исповеди — отметить по своему усмотрению моменты, особенно благоприятно содействовавшие их развитию и, напротив, особенно сильно ему воспрепятствовавшие, то польза, и без того ими принесенная, от этого бы только значительно возросла.

Ибо неудачные критики замечают меньше всего, что то счастье, которое теперь благоприятствует талантливым молодым людям и заключается в возможности раньше развиваться и скорее достигнуть чистого, соответствующего стиля, стало мыслимым только благодаря их предшественникам, развивавшимся с такими неутомимыми усилиями, среди разнообразных препятствий и каждый на свой лад — в течение последней половины столетия. Таким образом возникла своего рода невидимая школа, и молодой человек, поступающий в нее теперь, сразу входит в круг гораздо более обширный и более светлый, тогда как прежде писателю приходилось самому пробираться в него при сумрачном свете и лишь постепенно и как бы случайно участвовать в его расширении <... >

(Литературное санкюлотство)<sup>11</sup>

Частью от сочинителей и издателей, а частью благодаря вниманию дружественных мне литераторов попадает ко мне иной раз книга, которая побуждает меня к раздумью, а также заставляет составить о ней какое-то понятие вообще. Но число текстов слишком велико, чтобы у меня была возможность входить в подробности. Видишь иногда отменные природные свойства человека, который освободился от прадедовских правил и старается заниматься и выражаться на свой лад и образец, но еще не достиг того, чтобы самому себе предписывать законы и ограничить себя кругом, очерченным природою. Трудно также бывает в молодые годы проявлять ясность в материале и содержании, трактовке и форме. Сколь часто я ни раздумываю над какой-либо брошюрой или томиком, я все-таки не в силах высказаться обстоятельно по этому поводу. Пусть нижеследующая таблица послужит для пояснения, как я мыслю сделать наглядной оценку произведений такого рода.

Если бы теперь потребовали, чтобы нижеследующая лаконически и импровизаторски начерченная таблица была по всей совести продумана до мелочей, а сказанное в ней определено точнее, чтобы убедить писателя и ознакомить с ней публику, если бы потребовали трактовать с этой точки зрения литературу текущего дня и часа, — станет понятно, что на это понадобился бы весь досуг осведомленного, мыслящего и кровно заинтересованного человека, которого в конечном счете признали бы за один голос из многих тысяч, а какое влияние мог бы он оказать?

Стал ли бы смотреть на это дружественно молодой поэт, если бы от него потребовали ограничений? Была ли бы довольна публика, если бы ее стали призывать к умеренности в ее мимолетных восторгах и осуждениях?

Врожденный характер	Материал	Содержание	Обработка	Форма	Эффект
1. Легкий	Буднич- ный	Обычное	Непринуж- денная	В частнос- тях хороша	Эфемерный
2. Серьезный и элэги- ческий	Чуждый местному и нравам	Дано через эпоху	С легко- стью	Согласно замыслу	Преходящий
3. Одарен- ный	Прошлые времена и нравы	Обосно- ванно гуманно	Набитой рукой	Не сводит концов с концами	Неудовлвори- тельный
4. Весьма одарен- ный	Отрицаю- щий	Трудно раскрыть	Слишком вольная	Еле разга- даешь	Отталкиваю- щий
5. Вдумчи- вый	Новые нравы	Фантасти- ческая жизнь в столкно- вении с материалом	Обдуман- ная и тща- тельная	Завершен- ная	Сомнительный из-за упомяну- того столкнове- ния

Врожденный характер	Материал	Содержание	Обработка	Форма	Эффект
6. Чистый	Естественный	Приятное	Нежная	Остроумная	Прелестный
7. Сильный	Национальный	Толковое	Мужественная	Риторико-поэтическая	Обнадеживающий
8. Заурядный	Повседневный	Разумное	Ловкая	Не завершенная	Все по-старому
9. Ясный и восприимчивый	Изученный	Историческое	Разумная	Обдуманная	Недействительный
10. Педантичный	Полуправдивый	Вынужденное	Эмпирическая	Нечистая	Тревожащий
11. Значительный	Многосторонний	Глубоко понимаемое	Совершенно свободная	Разнообразная	Побудительный
12. Женственный	Мечтательный	Беспочвенное	Мягкая	Зыбкая	Обманчивый
13. Легковесный	Разнородный	Смотря по данным	Свежая	Искусная	Своеобразный
14.	Значительный, но не однозначный	Поэтическое, удачно доведенное до высот	Непринужденная, но недотаточно глубокая	Безупречная	Нужно подождать

Поскольку ни один журнал не обходится без загадок и шарад, то да разрешат мне такие логогрифы, за которыми по крайней мере скрывается какой-то логос.

Лучше предоставить свободу действий времени. Общая мировая культура стоит так высоко, что от нее вполне можно ждать умения отделить истинное от ложного.

*(Новейшая немецкая поэзия)*

\* \* \*

Известно, что лучшие поэты и искусствоведы всех народов — вот уже на протяжении долгого времени — стремятся к общечеловеческому. В каждом явлении, будь оно историческим, мифологическим, сказочным или даже просто вымышленным, сквозь национальное и личное проступает и просвечивает это всеобщее.

То же самое имеет место и в ходе практической жизни. Оно пробивается сквозь все грубо-земное, дикое, жестокое, несправедливое, корыстное и лживое, стремясь все это залить смягчающим светом. Пусть на земле никогда не наступит вечного мира, мы не перестанем надеяться, что со временем неизбежные распри станут мягче, война менее жестокой, победа менее надменной.

Все, что в литературе отдельной нации может повлиять и напомнить об этом, должно быть усвоено всеми.

Нужно узнать особенность каждой нации, чтобы примириться с ними, вернее, чтобы именно на этой почве с нею общаться; ибо отличительные свойства нации подобны ее языку и монетам, они облегчают общение, более того, — они только и делают его возможным.

Поистине, всеобщая терпимость будет достигнута лишь тогда, когда мы дадим возможность каждому отдельному человеку или целому народу сохранить свои особенности, с тем, однако, чтобы он помнил, что отличительной чертой истинных достоинств является их причастность всечеловеческому.

Такому посредничеству и взаимному признанию немцы способствуют уже с давних пор. Тот, кто понимает и изучает немецкий язык, находится на ярмарке, где все народы предлагают свои товары; он играет роль толмача и в то же время стяжателя.

Поэтому каждого переводчика следует считать посредником этого всеобщего душевного торга, способствующим такому взаимному обмену. Ибо, что бы ни говорилось о неудовлетворительности переводческого труда, он всегда был и будет одним из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную <... >

*(German romance. Vol. IV. Edinburgh)\**

\* \* \*

Если действительно создастся в ближайшее время всемирная литература — а это неизбежно при постоянно увеличивающейся быстроте средств передвижения, — то мы не вправе от нее ожидать ничего большего и ничего иного, чем то, что она на самом деле сможет нам дать и уже дает.

Весь мир, как бы пространен он ни был, все же только расширенное отечество и, если ближе взглядеться, не дает нам больше того, что уже предоставила нам наша родина. То, что по вкусу толпе, распространится беспредельно и зарекомендует себя во всех поясах и краях, как мы это уже видим теперь; но всему серьезному и подлинно дельному это удастся не так-то легко, и все же те, кто посвятили себя наивысшему и плодотворнейшему, станут узнавать друг друга быстрее и ближе. Нет сомнения, что всюду на свете найдутся люди, озабоченные основательным, а стало быть, истинным прогрессом человечества. Однако путь, которым они хотят идти, и шаг, который выдерживают, — не для каждого; суетные люди хотят продвигаться значительно быстрее и препятствуют продвижению того, что могло бы их увлечь за собою. Поэтому-то серьезные люди и должны образовать безмолвную, почти тайную церковь; было бы глупо противопоставлять себя широкому потоку дня, и все же следует стойко удерживать свои позиции, пока течение не пронесется мимо. Главным утешением и даже превосходнейшим одобрением для людей такой стати должно быть убеждение в том, что истинное является одновременно и полезным. Когда они сами поймут это тождество и смогут на живом примере показать справедливость такого убеждения, им ничего не помешает и вправду оказывать влияние на жизнь, и притом на протяжении многих лет <... >

*(Дальнейшее о всемирной литературе)*

---

\* "Немецкие романтические истории". Т. IV. Эдинбург. (англ.).



*Адольф Книгге*

## О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ И ЧИТАТЕЛЯ

Глава IX книги

“Об обхождении с людьми”

### I

Я счел необходимым прежде, чем завершить сей труд об обхождении с людьми, сказать моим читателям несколько слов о наших с ними взаимоотношениях. Но сначала некоторые замечания о самом сочинении книг!

Я полагаю, что в наше время писательство есть не что иное, как род обхождения, одна из его разновидностей, иными словами, оно является печатным обхождением с читательским миром. И коль скоро это дружеская беседа, то нет нужды тревожиться, если среди прочих слов вырвется у сочинителя и какое-то бесполезное. Не следует также винить писателя, ежели жар души и страстное желание поделиться своим суждением о каком-либо предмете подвигнут его напечатать нечто такое, что вовсе не содержит квинтэссенцию мудрости, острословия, прозорливости и учености. Ведь все мы располагаем правом внимать или не внимать речам болтуна, а посему, собираясь купить книгу, мы можем у других справиться о человеке, беседовать с коим нам предстоит, но, думается мне, нам никак не дано право грубо отзываться о нем лишь по той причине, что напечатанное им пришлось не по нраву, если только, разумеется, оно не было предварено бесстыдной похвальбой автора и всяческими посулами, обманувшими наши надежды. Не всем и не всегда ясно, сколь трудно



судить о плодах своего собственного труда, — и не только потому, что тут в игру вступает наше честолюбие, но еще и потому, что предметы, наблюдение за которыми отняло у нас столько времени, приобретают для нас благодаря нашему размышлению над ними великую ценность. И от этого наши суждения кажутся нам необычайно значительными, тогда как другие, что бы мы им ни говорили, считают эти предметы неважными, заурядными. Случись, что в ту минуту, когда мы беремся за перо, дабы изложить свои мысли, красноречие вдруг изменяет нам и слова не повинуются, или дурное настроение овладевает нами, или же мы просто-напросто забываем, что интересующий нас предмет вошел в нашу душу благодаря каким-то незначительным обстоятельствам, связанным с нашим нынешним, не поддающимся передаче положением, или же, наконец, наше сердце оказывается слишком переполненным чувствами, чтобы мы были в состоянии облечь их в нужные слова, и тогда то, что мы пишем в этот миг вкупе с добавочными понятиями, которые мы вплетаем для яркости в наши писания, кажется нам весьма занимательным, тогда как у всех прочих лиц оно вызывает зевоту или неудовольствие. Может, конечно, статься, что иной разумный человек, обуреваемый сильными чувствами или ослепленный тщеславием, напишет себе на беду книгу, которую другие сочтут скучной и бесполезной, ибо она будет не более, как отпечатком его душевного порыва, но никогда этому человеку, если он в самом деле разумен, не придет в голову публично обращаться к читателям с речами, престапаящими законы нравственности и не отвечающими здравому смыслу или преднамеренно наносящими ущерб кому-либо из ближних. Ибо хотя писательство и является лишь особым видом обхождения и собеседования, но это все же такое собеседование, при котором располагаешь достаточным временем, чтобы поразмыслить над тем, что говоришь, а значит и подавить, выполняя с удвоенным рвением свой долг, любую безнравственную, вредную, злонравную мысль. А посему я полагаю, что читающая публика вправе требовать даже от такого писателя, который не ставит перед собою больших задач, чтобы его сочинения не способствовали распаду нравов и распространению предрассудков и нетерпимости и чтобы дорогие всем святыхи он оставил нетронутыми и неоскверненными. А все остальное — умение писать, выбор предмета, форма письма, поиски похвалы, успеха и славы, полезность написанного, получаемый доход, надежды на бессмертие — все это *его* дело, и, если ему придется крадучись спуститься с Парнаса вновь на землю или же если свора рецензентов загрызет его до смерти, пусть он не сетует на плачевную судьбу, которую сам себе уготовил.

## II

Итак, когда автор не говорит чего-то вредного или нелепого, следует разрешать ему высказывать свои мысли в печатной форме.

Если он скажет нечто полезное, то в этом будет его заслуга перед читателями; если он выставит на свет божий истины, которые преданы забвению, то его нужно будет спокойно выслушать, и все добрые, хорошие люди будут обязаны воздавать ему хвалу и распространять его произведения.

Но пожнут ли в этом случае успех его книги? Это уже другой вопрос. Пожнут ли они всеобщий успех — как у добрых, так и у злых, как у мудрецов, так и у дурней, как у знати, так и у простолюдинов? Да кто же столь суетен, чтобы притязать на этаким успех! И все же какие только низменные средства не пускает в ход иной писатель, чтобы потрафить большей части читающей публики! Тот, кто не приспособливает форму и заглавие своей книги к вкусам, господствующим в данное время, то есть к вкусам текущего года, а не десятилетия; кто атакует или высмеивает царящие предрассудки, модные системы, блистательные политические, общественные либо ученые благоглупости; кто не прячется смиренно под крылышко какого-нибудь журналиста; кто не пытается привлечь на свою сторону крикунов из публики и тех, кто задает тон в высшем свете; кто выступает слишком скромно; кто посвящает свою книгу достойному мужу или воздаст на ее страницах должное человеку, чьи заслуги вызывают кое у кого зависть и нарекания; кто имеет несчастье возбудить продуктами своего ума больше интереса, чем некие писатели, всеми силами старающиеся снискать любовь у читателей, тот вряд ли будет счастлив как писатель, по крайней мере в годы своего поколения, и возможно даже ему придется узреть, что с самым полезным его трудом обращаются как с макулатурой. И потому я советую авторам не отказываться от самых невинных из ухищрений. Но многие из них не достойны человека благородного и разумного.

Хвастливые предисловия автора с выражением признательности за весьма благосклонный прием, оказанный прежним его творениям; отсылка продажным рецензентам отзывов о его произведении, сочиненных им самим или его услужливым приятелем, в коих читателя поздравляют с тем, что *любимый писатель, гордость нации* вновь одарил мир восхитительной книгой, и иные жалкие уловки такого рода оказываются действительными лишь на короткий срок. Гораздо надежнее, чем рецензии, голос читающей публики, хотя нельзя сказать, что она всегда способна разглядеть и безошибочно оценить истинные, но не явные достоинства книги. И не нужно пенять писателю за то, что он не считает никуда не годной отвечающую потребностям эпохи книгу, если на протяжении нескольких лет многие покупают и читают ее и если ее переиздают и переводят на другие языки; ему не нужно пенять и за то, что он не обращает внимания на отдельные упреки самозванных критиков из читательской среды, и, покуда читающий мир относится к нему благожелательно, продолжает занимать его. Но как только это отношение начнет меняться, он должен будет понять, что пора замолчать.

### III

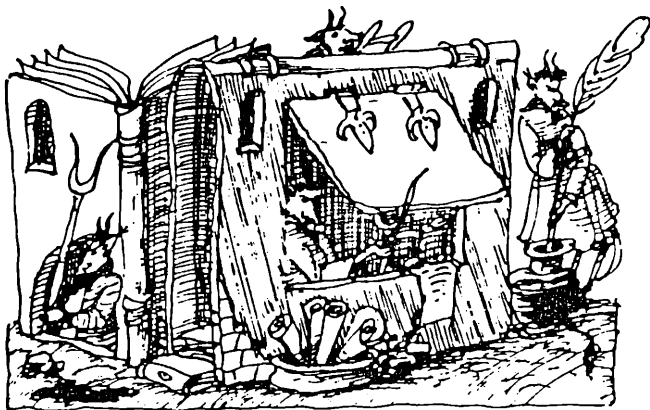
А теперь поговорим о поведении читателя и о его обязанностях по отношению к писателю! Прежде всего, как я полагаю, он не должен забывать, что писатель не может потакать вкусам всех и каждого в отдельности. То, что весьма интересно тебе в твоём нынешнем положении с твоими нынешними интересами, может наскучить другому и показаться ему незначительным, и, право же, еще не родился человек, написавший книгу, в которой каждый найдет то, что ищет. Некоторые книги нужно непременно читать лишь тогда, когда ты настроен так же, как был настроен автор, но есть и такие, смысл и красоту которых можно понять и усвоить в любом настроении. Поэтому не всегда содержание книг первого типа отличается мудростью, глубиной и возвышенностью или же, напротив, жаром и мечтательностью, как не всегда книги второго типа преподносят нам одни лишь четкие, незыблемые, вечные истины, покоящиеся на хладнокровной, непоколебимой философии, предназначенной для человека, достигшего совершенства, или же обыденную без труда перевариваемую духовную пищу. Итак, не суди, глубокоуважаемый просвещенный читатель, слишком строго книгу, написанную, в общем, не так уж худо, а коли не судить ты не можешь, то оставь по крайней мере свой приговор в голове, в которой зачастую остается довольно много пространства, и не предавай эту книгу анафеме! Но прежде всего не позволяй себе, опираясь лишь на свое суждение об этой книге, нападать на нравственность ее автора, приписывать ему опасные намерения, превратно и злобно истолковывать смысл его слов и намеков! Не высказывай своего суждения о книге, если ты прочел в ней только некоторые места, и не высказывай ни хвалу, ни поношения, бездумно вторя невежественным, зловерным либо продажным рецензентам!

### IV

Немало бумаги исписано без всякой пользы, а потому общаться с книгами следует так же осторожно, как с людьми. Дабы не тратить попусту времени на чтение этих побывавших в типографии листов, иными словами, дабы не позволять болтунам отнимать у меня драгоценное время, я не спешу приобретать новых печатных знакомцев, пока не дойдет до меня слух о появлении какой-то хорошей, а может быть, даже образцовой книги. И меня вполне устраивает небольшой круг старых и надежных печатных друзей, чьи речи на языке букв часто и каждый раз все нежнее ласкают мой слух.

Здесь следовало бы особый немаловажный раздел моей книги посвятить рассуждениям об *обхождении с великими и благородными мужами прошлого*, но это завело бы меня слишком далеко. Важно, однако, обратить внимание на то влияние, какое

оказывает на развитие сознания одаренного человека изучение истории, знакомство с характерами и сочинениями знаменитых героев и мудрецов былых столетий. Мы как бы переселяемся в те далекие времена, испытываем воздействие духа, исходящего из деяний и речей великих людей, и в этом смысле обхождение с усопшими зачастую сильнее влияет на умы и сердца, а значит, и на мировые события, чем обхождение со своими современниками.



*Фридрих Максимилиан Клинггер*

**ФАУСТ<sup>1</sup>, ЕГО ЖИЗНЬ, ДЕЯНИЯ  
И НИЗВЕРЖЕНИЕ В АД**  
Фрагменты I книги романа

I

Долго сражался Фауст с мьльными пузырями метафизики, блуждающими огнями морали и призраками богословия, но найти твердые, незьблемые основы для мышления своего ему не удалось. Тогда, негодуя, бросился он в темную бездну магии, надеясь силой вырвать у природы тайны, которые она с таким упорством скрывает от нас. Первое, чего он достиг, было замечательное изобретение книгопечатания; но второе было ужасно. Его искания и случай открыли ему страшную формулу, с помощью которой можно вызывать дьявола из ада и подчинять его воле человека. Однако, опасаясь за свою бессмертную душу, которую всякий христианин бережет, хотя и мало знает о ней, Фауст не сразу решил на этот опасный шаг. Он находился в ту пору в полном расцвете сил. Природа отнеслась к нему как к одному из своих любимцев: она наделила его прекрасным, сильным телом и выразительными, благородными чертами лица. Казалось бы, этого достаточно, чтобы быть счастливым на земле. Но к этим чарам природа присоединила еще и другие, весьма опасные: гордый, стремительный дух, чувствительное, пламенное сердце и огненное воображение, которое никогда не довольствовалось настоящим, в самый миг наслаждения замечало несостоятельность и тщету достигнутого и властвовало над всеми остальными его

способностями. Поэтому он скоро сбился с пути счастья, по которому, кажется, только ограниченность способна вести смертного и на котором удержать его может лишь скромность. Очень рано границы человечества показались Фаусту слишком тесными, и с дикой силой он бился об них, пытаясь их раздвинуть и вырваться за пределы действительности. Все, что, как ему казалось, он понял и почувствовал в юности, внушало ему высокое мнение о способностях и нравственной ценности человека, и, сравнивая себя с другими, он, разумеется, приписывал самому себе наибольшую часть общей суммы этих достоинств — заблуждение, равно присущее как величайшим гениям, так и пошлейшим глупцам. Этого более чем достаточно, чтобы стремиться к славе и величию; однако истинное величие и истинная слава, подобно счастью, чаще всего ускользает от тех, кто хочет овладеть ими, даже не рассмотрев еще их нежных, чистых образов в облаках дыма и тумана, которыми их окружало суетное. Так и Фауст слишком часто обнимал облако вместо супруги громовержца<sup>2</sup>. Кратчайшим и самым легким путем к счастью и славе ему представлялись науки, но едва лишь он поддался их чарам, как безумная жажда познания истины запылала в его душе. Всякий, кто видит в науках не просто ремесло, кто близко сталкивается с этими сиренами и перенял у них их коварные песни, тот и без моих разъяснений поймет, что цель, к которой стремился Фауст — утолить пламенную жажду, — неизбежно должна была от него ускользнуть. Из долгих скитаний по этому лабиринту он вынес в конце концов только сомнение и досаду на людскую близорукость. Он вознегодовал и стал роптать на того, кто даровал ему способность видеть свет, но не дал силы, чтобы прорваться сквозь густой мрак. Он еще мог бы быть счастливым, если бы должен был бороться только с этими чувствами, но чтение мудрецов и поэтов пробудило в его душе тысячи новых потребностей, и его изошренная, окрыленная фантазия непрерывно рисовала ему соблазнительные картины наслаждений, доступных лишь знатым и богатым. Поэтому понятно, что кровь огнем горела в жилах Фауста и все остальные его способности вскоре были вытеснены одним только этим желанием. Ему казалось, что замечательное изобретение книгопечатания распахнет перед ним наконец врата, ведущие к богатству, славе и наслаждениям. Он истратил все состояние, чтобы довести свое изобретение до совершенства, и предстал с этим открытием перед людьми, но их равнодушие и холодность вскоре убедили Фауста в том, что ему, величайшему изобретателю своего века, придется вместе с молодой женой и детьми умереть голодной смертью, если только он не найдет себе иного занятия. Глубоко разочарованный, отказавшийся от своих гордых надежд, отягощенный большими долгами, неизбежными при его легкомысленном образе жизни, чрезмерной щедрости и беспечной привычке ручаться за вероломных друзей, оглянувшись он на человечество;

ненависть окрасила для него весь мир в самые мрачные краски; семья, которую не на что было содержать, стала ему в тягость, и он пришел к твердому убеждению, что отнюдь не справедливость распределяет дары счастья среди людей. Его грызла мысль: как это возможно и почему так происходит, что умные, способные и благородные люди везде стеснены, везде прозябают в пренебрежении, в беде и нищете, тогда как подлецы и дураки богаты, счастливы и окружены почетом? Правда, мудрецы и проповедники легко устраняют это сомнение, но они обращаются только к рассудку, в то время как повседневная жизнь продолжает оскорблять чувства. Поэтому сердце гордого человека постоянно ожесточается, а более слабые души впадают в отчаяние. Фауст принадлежал к числу первых. Отныне его оскорбленный дух мечтал лишь о том, чтобы развязать этот запутанный узел, над которым тысячи людей ломали себе голову, жертвуя покоем и счастьем своей жизни. Он хотел понять причину нравственного зла, постигнуть отношения между человеком и предвечным. Фауст хотел знать, властвует ли всевышний над человеческим родом, и если властвует, то откуда проистекают эти мучительные противоречия. Он хотел осветить тьму, скрывающую от него призвание человека. У него появилось даже дерзновенное желание постичь того, чье бытие нам так непонятно и чья деятельность для нас столь очевидна. Фауст надеялся, что, овладев этими откровениями, сможет удивить мир и станет величайшим мудрецом среди людей, и надежда эта некоторое время воодушевляла его в мучительных и бесплодных усилиях. Но так как положение его становилось все печальнее, люди, стольким ему обязанные, отворачивались от него все больше, а его старания рассеять мрак приводили лишь к тому, что он делался все чернее и мучительнее, то в конце концов в душу его запала мысль, что только силы другого мира могут помочь его несчастью, что только они могут пролить свет на эти загадки. Правда, мысль эта еще только дремала в его груди, но достаточно было нового толчка извне, чтобы страстное желание и недовольство окружающим миром заставили Фауста решиться переступить границы, о которые он так яростно бился.

## II

В этом мрачном настроении Фауст покинул Майнц и отправился в соседний имперский город, надеясь продать премудрому магистрату напечатанную им латинскую Библию<sup>3</sup> и на полученные деньги накормить своих голодных детей. В своем родном городе он ничего не добился, так как архиепископ вел в это время грозную войну со своим капитулом<sup>4</sup> и весь Майнц находился в величайшем смятении. Дело было в следующем: одному доминиканскому монаху<sup>5</sup> приснился сон, будто он лежит в постели со своей духовной дочерью, прекрасной Кларой, инокиней

монастыря белых сестер, которая была к тому же племянницей архиепископа. Утром доминиканец должен был служить литургию. Он отслужил ее и, несмотря на грешную ночь, причастился тела господня. Вечером, разгоряченный рейнским вином, он рассказал о своем сневидении одному молодому послушнику. Рассказ этот раздражил воображение юноши, и, кое-что прибавив от себя, послушник передал услышанное одному из монахов. История распространилась по всему монастырю; ее разукрасили всякими ужасными и сладострастными подробностями: в конце концов она дошла до строгого настоятеля. Святой муж, ненавидевший отца Гебгардта, особенно за уважение, которым тот пользовался в знатных семьях Майнца, испугался такого соблазна, а так как в этом происшествии можно было усмотреть осквернение святых даров, то он не отважился принять решение по столь важному делу и доложил о нем архиепископу. Архиепископ правильно заключил, что грешникам снится по ночам именно то, о чем они думают и мечтают днем, и наложил на монаха епитимью. Капитул, ненависть которого к архиепископу становится всегда тем сильнее, чем дольше сей святой муж живет, и который охотно пользуется всяким случаем, чтобы помучить старца, выступил в защиту отца Гебгардта и возразил против епитимьи на следующем основании: "Всему миру известно, что дьявол искушал святого Антония картинами сладострастия и упоительнейшими соблазнами, и если дьявол мог так поступать со святым, то ему вполне могла прийти мысль сыграть такую же скверную шутку с доминиканцем. Монаху нужно дать наставление, указать на пример святого Антония и разъяснить ему, что молитва и пост — лучшее оружие для борьбы с дьявольским искушением. Впрочем, капитул очень огорчен тем, что сатана уже не питает должного уважения к архиепископу и так обнаглел в своих адских кознях, что покушается даже на членов высокочтимой семьи архиепископа". Капитул вел себя в этом деле точно так же, как поступают наследные принцы, которые полагают, что их отцы царствуют слишком долго. Но что уже совершенно запутало историю, так это известие, пришедшее из обители белых сестер. Все монахини собрались в трапезной, чтобы разукрасить к предстоящему празднику статую мадонны и великолепием ее одеяния превзойти своих соперниц — орден черных сестер, как вдруг вошла старая привратница и рассказала дьявольскую историю, прибавив, что доминиканца, наверно, предадут сожжению, ибо капитул только что собрался для вынесения приговора. В то время как привратница рассказывала эту историю, не опустив при этом ни одной подробности, щеки юных монахинь стали алыми: грех, который не пропускает случая отравить своим ядом невинное сердце, проник в их кровь, и они сразу же мысленно представили себе все рискованные сцены. Тем временем лица старух исказились гневом и яростью. Настоятельница дрожала, опираясь на свой посох, очки



упали у нее с носа, а обнаженная мадонна стояла среди них и, казалось, молила взволнованных и возмущенных инокинь прикрыть ее наготу. Когда же привратница сказала, что женщиной, которую дьявол привел в постель доминиканцу, была сестра Клара, дикий крик огласил всю трапезную. Одна только Клара оставалась спокойной, и когда вопли и крики немного утихли, она с улыбкой сказала:

— Милые сестры, почему вы так ужасно кричите? Мне тоже снилось, что я спала с отцом Гебгардтом, моим духовником, и если это дело рук врага рода человеческого (при этих словах она вместе со всеми остальными монахинями осенила себя крестным знамением), то пусть наложат на него покаяние. Что касается меня, то я не помню более веселой ночи, все равно кто бы ни внушил мне это видение.

— Отец Гебгардт? — вскрикнула привратница. — Да помогут нам все ангелы и святые! Ведь это именно он и видел вас во сне, вернее — именно его дьявол свел с вами, и теперь его хотят за это сжечь <... >

Когда настоятель доминиканцев узнал о происшествии, он поспешил на заседание капитула, и его сообщение придало делу новый оборот. Теперь архиепископ охотно прекратил бы эту историю, но капитул был заинтересован в ее дальнейшем распространении, и все каноники единогласно постановили донести об этом сомнительном случае святому отцу в Риме. Они кричали, шумели, гремели, угрожали, и только колокол, звавший к обеду, смог разъединить споривших. Открытая борьба скоро превратилась в тайную. Двор пытался действовать подкупом, капитул — интригами, и весь Майнц, как монахи, так и миряне, на несколько лет разделился на две враждующие партии, которые не видели и не слышали ничего и не говорили и не думали ни о чем, кроме как только о дьяволе, белой монахини и отце Гебгардте. На кафедрах всех факультетов велись по этому вопросу диспуты. Казуисты<sup>6</sup>, допросив монахиню и доминиканца и сопоставив их показания, исписывали целые фолианты рассуждениями о всех возможных случаях грешных и безгрешных сновидений. Кто же в такое время мог бы заинтересоваться Фаустом и его изобретением?

### III

В имперском городе, тихой резиденции муз и убежище наук, Фауст надеялся на большой успех. Он предложил свою Библию достопочтенному магистрату за двести золотых гульденов. Но так как несколько недель тому назад для погребения ратуши было приобретено пять бочек рейнского вина, то дело пошло не слишком легко. Фауст обращался ко всем членам магистрата, старостам, сенаторам, почетным гражданам, начиная от гордого патриция и кончая еще более гордым мастером цеха сапожников.

Всюду ему обещали благосклонность, поддержку и милость. Наконец он стал искать покровительства преимущественно у самого бургомистра, но это привело лишь к тому, что жена бургомистра зажгла могучий огонь страсти в его легко воспламенявшейся груди. Однажды вечером бургомистр заверил его, что в ближайшие дни совет магистрата примет решение, обязывающее всех евреев города поголовно выложить необходимую сумму. На это Фауст ответил, что его дети могут умереть от голода прежде, чем столь просвещенному собранию удастся прийти к единогласному решению. Потеряв всякую надежду, терзаемый любовью и гневом, он удалился в свою одинокую комнату. Досада заставила его снова обратиться к магическим формулам. Искушение отважиться на дерзновенный поступок и с помощью дьявола обеспечить себе независимость все горячее жгло его мозг. Но мысль о таком союзе приводила его в трепет. Дико жестикулируя и выкрикивая безумные восклицания, расхаживал он большими шагами взад и вперед по комнате и боролся с мятежными порывами своего духа, стремившегося любой ценой рассеять тьму, окружающую человечество, в то время как ум еще содрогался перед решением. Но тут алчущий стал сравнивать возможности и надежду насладиться наконец жизнью с предрассудками молодости, с бедностью и с презрением людей. И стрелка весов заколебалась. Рядом на готической башне пробило одиннадцать. Черная ночь окутала землю. С севера доносилось завывание бури, тучи заволокли полную луну, вся природа пришла в смятение. Великолепная ночь, чтобы сбить с толку взволнованное воображение! Все еще колеблется стрелка весов. На одной чаше легко подпрыгивает *религия* и ее опора — страх перед будущим. Другая чаша перевешивает, на ней — жажда независимости и знаний, гордость, сластолюбие, гнев и горечь. Но мысль о вечности и муках ада еще страшит ум Фауста. Так колеблется дева между наставлениями матери и голосом природы, ощущая на своей груди пламенные поцелуи возлюбленного. Так колеблется философ между двумя суждениями: одно верно, а другое исполнено блеска и ведет к славе, — которое же избрать?

Но вот, следуя предписаниям магии, Фауст начертал ужасный круг, который навеки должен был лишить его попечения всевышнего и разорвать нежные узы, связывавшие его с человечеством. Глаза Фауста пылали, сердце взволнованно билось, волосы встали дыбом. В этот миг ему показалось, что он видит перед собой старика отца, молодую жену и детей, в отчаянии ломающих руки. Затем он увидел, как они опустили на колени и молились за него тому, от кого он собирался отречься.

— Это нужда, это мое несчастье повергло их в отчаяние! — закричал он и топнул ногой.

Гордый дух его негодовал на слабость сердца. Он снова приблизился к кругу. Буря выла под окнами, дом содрогался до самого основания. <...>

В диком восторге бросился он внутрь круга, а вдали раздались вопли его жены, детей и отца:

— Погиб! Погиб навеки!

#### IV

Сатана, владыка ада, повелел оповестить оглушительными ударами рогов по огненному диску солнца всех падших духом на земле и в преисподней о том, что он устраивает сегодня огромный дружеский пир. Адские духи поспешили на этот могучий зов. Даже посланцы сатаны на нашей земле оставили свои посты, ибо приглашение заставило предположить, что ожидается нечто исключительное и великое. Огромные своды ада огласились дикими криками адской черни. Мириады дьяволов расположились на обожженной и бесплодной почве. Но вот появились князь ада и заставили толпу смолкнуть, чтобы сатана мог выслушать доклады своих послов, прибывших с земли. Дьяволы повиновались, и страшная тишина воцарилась в густой, мгlistой тьме, нарушаемой лишь воплями осужденных на вечную муку. Рабы дьяволов, тени, недостойные ни блаженства, ни вечной муки, готовили бесчисленные пиршественные столы. <...>

#### V

Когда несчастные тени накрыли столы и стали за креслами властелинов ада так же подобострастно и смиренно, как обычно стоят немцы перед своими повелителями, из покоев сатаны вышли вельможи подземного царства. <...> Потом вышел сам всемогущий сатана, а вслед за ним — вельможи его двора в порядке, соответствующем их сану и милости, которой они пользовались у повелителя. Дьяволы почтительно склонились, пажи поставили факелы на стол сатаны, а он с гордой и победоносной миной взшел на свой высокий трон и произнес следующую речь:

— Князь, вельможи, бессмертные духи, приветствую вас! <...>

Узнайте же, почему я решил устроить сегодня для вас этот пир. Фауст, отважный смертный, который, подобно вам, спорит с предвечным и сила духа которого может сделать его достойным поселиться когда-нибудь вместе с нами в преисподней, изобрел легкий способ тысячами множить книги, эти опасные игрушки людей, распространяющие среди них безумие, заблуждения, ложь и ужас, а также возбуждающие гордость и мучительные сомнения. До сих пор книги были слишком дороги и доступны поэтому только богатым. Только богачей они исполняли высокомерием, лишали простоты и смирения, которые предвечный во имя счастья вложил в сердца людей и которых он требует от них. Торжествуйте же! Скоро опасный яд знаний и поисков истины отравит все сословия. Безумие, сомнение, беспокойство и

новые потребности распространятся повсюду, и я уже сомневаюсь, сможет ли мое необъятное царство вместить всех, кто испытает на себе действие этой сладкой отравы. Но и эта победа еще не так велика. Взгляд мой проникает гораздо дальше, в те грядущие времена, от которых нас с вами отделяет всего лишь один круговорот часовой стрелки. Близится час, когда мысли и суждения смелых открывателей нового и хулителей старины благодаря изобретению Фауста станут распространяться быстрее чумы. Появятся так называемые реформаторы земли и неба, их учения легко проникнут в самые бедные хижины. Они будут воображать, что творят добро, что очищают идею вечного спасения и свои упования от приставших к ним лжеучений. Но когда же людям удавалось творить добро и удерживать его в своей власти? Они используют во зло самые благородные начинания столь же часто, как и предаются греху. Народ, который всемогущий особенно любит и который он хотел навеки спасти от власти ада при помощи ужасного для нас чуда, начнет кровавую войну из-за учений, никому не понятных, и люди, как дикие звери, будут грызть и терзать друг друга. Европу будут опустошать ужасы, превосходящие все безумие и все неистовства, каким предавались люди с самого начала своего существования. Мои надежды кажутся вам слишком смелыми, и я читаю сомнение на ваших лицах. Услышите же: религиозная война — вот имя тому новому беснованию, какого еще не знала очень древняя история грехов и заблуждений человечества. Безумцы заимствовали ее из опасной для нас религии. Однажды такая война неистовствовала; из пылающей пропасти вы слышите вопли тех, кто начал ее. Теперь фанатизм, дикий сын ненависти и суеверия, окончательно разорвет все узы, связывающие природу и человечество. В угоду ему отец будет убивать сына, сын — отца. Цари, ликуя, будут обгарять руки кровью подданных. Мало того, они будут подавать фанатикам меч, чтобы те тысячами убивали своих братьев, которые мыслят иначе, чем они. Воды в реках превратятся в кровь, и от криков гибнущих содрогнется самый ад. К нам явятся преступники, запятнанные такими пороками, для которых сейчас у нас нет еще ни имени, ни наказания. Я уже вижу, как они бросятся на папский престол, который с помощью коварства и обмана поддерживает готовое рухнуть здание, хотя собственное его основание трещит под грузом пороков и сластолюбия. Ненавистная для нас религия после своего крушения исчезнет с лица земли, и если предвечный не спасет ее каким-нибудь новым чудом, нам опять начнут строить храмы и воздавать божеские почести. Может ли остановиться человеческий дух, если уж он начал исследовать то, чему раньше поклонялся как святыне? Взявшись своими силами найти путь на небеса, он пускается в пляс на могиле тирана, перед которым еще вчера трепетал, и разбивает вдребезги алтарь, на котором приносил жертвы. Кто может сковать на тысячелетия этот неумный дух? Обладает ли тот, кто создал людей, подлин-

ной властью над ними? Может ли он помешать им, хотя бы одному из них, быть в миллион раз ближе к нашему царству, чем к небесному? Всем злоупотребляет человек: силами своей души и своего тела и всем, что он видит, слышит, осязает, чувствует, о чем думает, чем он играет и чем занимается всерьез. Ему мало разрушать и уродовать все, что попадает ему в руки, — он взлетает на крыльях фантазии в неведомые миры и уродует их, если не в действительности, то хотя бы в своем воображении. Даже свободу, высшее благо, за которое люди проливали потоки крови, они продают за золото, наслаждения и за мечту, от которой они едва успели вкусить. Неспособные к добру, они трепещут перед злом, и чтобы спастись от него, они творят мерзость за мерзостью, вновь и вновь разрушая дело рук своих.

Окончив кровавые войны, устав от убийств, они будут недолгое время отдыхать, проявляя свою ядовитую ненависть лишь в тайном коварстве. Они спрячут эту ненависть под маской справедливости, объявят себя мстителями за веру и начнут складывать костры и сжигать живьем всех инакомыслящих. Другие будут ломать себе голову над необъяснимыми загадками мира. Рожденные для мрака, они будут дерзко пробиваться к свету. Их воображение разгорится и породит у них тысячи новых потребностей. Ради того, чтобы написать книгу, которая может принести славу и богатство, любой из них будет попирать ногами истину, чистоту и религию. Безумие этого самонадеянного поколения дойдет до того, что даже женщины — внимайте, все силы, все духи ада! — даже женщины будут писать книги. Вы знаете тщеславных дочерей Евы, и мне незачем говорить вам, в каких отвратительных чудовищ они превратятся. Таким образом, писательство станет всеобщим ремеслом, в котором гении и кропотливые одинаково будут искать себе славы и благоденствия, не думая о том, что смущают умы своих собратьев и отравляют души невинных. Они захотят измерить и понять небо и землю, самого грозного бога, сокрытые силы природы и тайные причины ее явлений, силу, которая движет небесными светилами и бросает в пространство кометы, и даже беспредельное время, иначе говоря — все видимое и невидимое. Для всего, что непостижимо, они придумают слова и счисления, они нагрозодят выдуманные системы, и так будет длиться до тех пор, пока мрак не скроет всю землю, и только сомнения будут вспыхивать то здесь, то там, подобно блуждающим огням, заманивающим путника в трясины. И когда они в конце концов вообразят, что выбрались к свету, вот тогда я жду их сюда! К тому времени они уже отбросят религию, как старый, ненужный хлам, а из ее зловонных остатков отольют новый чудовищный сплав мудрости и суеверия, мистики и поэзии. Тогда я и жду их сюда! Тогда вы должны широко распахнуть ворота преисподней, чтобы человечество могло войти в них. Первый шаг уже сделан, близится второй. На земле произойдет еще одно ужасное событие. Я коснусь его лишь в немно-

гих словах. Скоро жители Старого Света отправятся открывать новые, еще неведомые им страны. В религиозном неистовстве они будут убивать там миллионы людей, стремясь овладеть золотом, которое те в простоте своей еще не ценят.

Новый Свет они наводнят своими пороками, а в Старый привезут зародыши новых, еще более отвратительных. Таким образом, и те народы, которых раньше невинность спасала от нашего мщения, станут нашей добычей. Столетие за столетием будут люди во имя предвечного обгагрять землю кровью, и, таким образом, с помощью самого неба ад одержит победу над тем, кто низверг нас сюда.

Вот и все, что я хотел сообщить вам, могучие духи! А теперь будем вместе радоваться нашему празднику, предвкушая победы, которые я смело могу вам обещать, потому что я знаю людей. Посмеемся же над предвечным, который, создавая сынов праха, столь странно и нелепо запряг в каждом из них в одно ярмо дикого зверя и полубога и обрек их тем самым на непрестанную внутреннюю борьбу. Смейтесь же, и да сольются наши голоса в ликующем, победном реве: *Да здравствует Фауст!*

Поднялся такой ужасный шум, что земная ось дрогнула и кости мертвецов зазвенели в могилах.

— Слава Фаусту! Слава отравителю сынов праха! — вопила вся преисподняя. Затем самым знатным вельможам грешного царства было дозволено приветствовать повелителя. Они преклоняли колена и целовали ему руку, и сатана всем отвечал любезно и с достоинством.



Жан-Поль

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  
ТОГО, ЧТО ТЕЛО СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО КАК  
ДЕТОРОДИТЕЛЯ, НО ТАКЖЕ И КАК КНИГОРОДИТЕЛЯ, И ЧТО  
ВЕЛИЧАЙШИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОРОЖДАЮТСЯ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРАВОЙ РУКОЙ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ РОЛЬ  
GLANDULAE PINEALIS \***  
Физиологический трактат

Хотя парадоксальное заглавие этого сочинения отрекомендовывается читателю посредством некоего обещания, значительностью которого я мог бы хвастаться, не выполняя его, ибо красоты выставленного герба или короны сами по себе доставляют наслаждение столь же немалое, как и пиво, мне все же хотелось бы сдержать слово и сделать даже что-нибудь сверх того, предпослав этому физиологическому трактату небольшое рассуждение о книжных заглавиях, в большом заглавии отнюдь не обещанное.

Нынешние плоды писательства суть, как известно, сочинения, а значит и чинители правил хорошего тона, и всякий новый роман есть таким образом новый "Опыт о романе (сочинение Бланкенбурга, Лейпциг и Лигниц, у вдовы Давида Зигерта, 1774)"<sup>1</sup>. И неудивительно, если в результате оказывается, что и мои правила сочинения заглавий распространяются на предельное количество титульных листов! — Настоящий писатель обязательно изжует первые перья над заглавием, а уж книга к нему обязательно напишется; ведь легче всего исторгается из-под острия голое обещание. Заглавие есть нечто, выполняющее роль головы;

\* Верхнего придатка мозга (*лат.*).

а следовательно, детище твоего пера должно *окунуться* в этот мир сначала головой, как первой проталкивается сквозь землю верхушка будущего древа. Заглавие — это венец книги — венец, который остался теперь только в Нюрнберге, если рейхсфюрсты все еще колеблются в выборе головы, на которой он должен сиять<sup>2</sup>. Заглавие — это прическа книги; ведь настоящая дама сначала подставляет гребню голову и потом уже туловище — рукам, наводящим красоту, и выблещивание идет постепенно сверху вниз: от ночного чепца до ночного белья, — подобно тому, как утреннее солнце мало-помалу освещает гору от лысого темени ее до затененного подножия. Это право заглавия быть созданным в первый день творения книги проистекает из другого его права: посредством украшения быть вознесенну высоко над прочими частями сочинения, — отчего я и сравниваю его с головой ребенка; ибо у детей голова относительно больше прочих членов тела и больше, чем у юноши, а в дальнейшем она больше за счет венца, ибо цена и драгоценные камни последнего блеском своим превосходят все прочие инсигнии высшего достоинства и даже сам скипетр, — и, наконец, голова преувеличена за счет прически, так как под пышной бергеткой и высочайшей фонтанильей обитают наимельчайшие мозги — мозги галантейные.

Титульный лист — это физиогномия книги, и в красивом титульном листе всегда есть много такого, чем можно насладиться даже тогда, когда за ним немного что имеется; а на книги, как и на людей, можно просто смотреть. Шутка на первой странице — это подслеповатый фонарь, с которым Диоген ищет людей или покупателей; как только он их находит, фонарь гаснет. Философы и богословы насыщают обычно свои титульные листы наиболее сильным светом для того, чтобы обнаружить противника подобно суринамским носаткам, которые светят только головой<sup>3</sup>, когда другие насекомые мерцают всем телом. Заглавие служит также лучшим лавровым венком для лысины какого-нибудь кесаря. — Кроме того есть скорочки, которые по преимуществу начинают и заканчивают титульным листом, а критик порою доходит и до предисловия, подобно некоей индийской лисе (искеполту)<sup>4</sup>, отъедающей у насекомых только головы. Неудивительно, что автор вкладывает все свои таланты в украшение титульного листа, в тесных пределах которого воплощение его способности любить людей посредством просвещения и согревания мира окружено редкими покупателями даже тогда, когда он пишет книгу лишь как довесок к заглавию. В этой любви к людям есть доля и издателя, утыкающего двери своей лавки красивыми книжными головами, наподобие английского сельского дворянина, который к *дверям* своей *конюшни* приколачивает для красоты *морды* подстреленных им лисиц.

Заглавия сочиняются также для рецензентов или, чаще, в пику оным как защита от их топоров, которыми, или, точнее, — обухами которых они обычно бьют свою жертву по многострадаль-



ному темени, чтобы затем разделить тушу уже более тонкой и острой частью. Но тут удар приходится на удар, одна молния гасит другую, титульный лист — рецензию, и книга идет.

И вот, наконец, ростки своего хилого и еще не имеющего корней имени автор должен доверить журналам, которые — увы! — в своих рекомендательных рубриках не печатают ничего, кроме заглавий, т. е. (фигурально выражаясь) — отрецензированные ими книги не препарируют, а скальпируют, т. е. сдирают у них с головы кожу, сиречь заглавия (как люди Давида — крайнюю плоть побежденных ими филистимлян<sup>5</sup>). Естественно, что все свои находки писатель нагромождает на титульном листе, делая свое потомство безутешным относительно утраты части брэнной посредством великолепия части вечной и подражая тем самым Александру Македонскому, который во время похода на Индию повелел закопать в землю большие *шлемы*, дабы обрести в поколениях славу вождя великанов. Некоторые же украшают свою книгу папской тиарой, т. е. тройным титульным листом, ибо стесняются шестерного. И всю эту роскошь увенчивает девиз — материал, заимствованный, чтобы нарастить головное украшение новорожденного, подобно тому, как волосы лошадей и преступников наращивают дамские прически; красные буквы девиза — грим и румяна, а виньетка — мушка. Впрочем (следует заметить и тем завершить длинное рассуждение еще одним точно таким же), издатель мог бы печатать на титульном листе свое имя над именем автора, так как автор и без того — всего лишь согласный, непроизносимый без своего издателя, а походить на евреев, в письменности которых большинство гласных словно пыль липнет к подошвам согласных<sup>6</sup>, — нам не пристало! Такова увертюра к моему сочинению.

Автор не нуждается ни в какой особенной авторской душе, ибо ею является его тело — как на одном полотне Паррасия<sup>7</sup> за занавеской нет никакой картины, ибо занавеска и есть сама картина. Определенные, якобы духовные действия тело автора выражает не только словами, но и указанием на их физическое происхождение\*; и нет ничего более неразумного, чем для изготовления такой телесной вещи, как книга, взывать к небесам за таким *deus ex machina\*\**, как душа. Анатомия (как выяснится из последующего) — важнейшая составная часть практической психологии, и молодой рецензент правильно поступит, если рассуждение об эстетике свяжет с рассуждением о внутренних органах. Различные органы суть не что иное, как различные душевные силы. Каждым органом ведает какая-то муза. Орган находится под влиянием определенной звезды и, согласно Галену<sup>9</sup>, обладает

\* Схватывать суть, излагать и т.д. — сплошь слова, которые тело только приписывает духовной деятельности. Такие образные обозначения сродни ивритским буквам, которые являются одновременно и *изображением*, и *именем вещи*.<sup>8</sup> (Примеч. автора).

\*\* Бог из машины (лат.) — здесь: чудесный, волшебный помощник.

собственной душой. Я опасаясь — но вовсе не потому, что доказываю происхождение большинства духовных детищ из физических тел, — заработать ругательное прозвище материалиста: ибо утверждать, что можно рубить дрова, не имея головы, вовсе не значит утверждать, что можно думать руками, и если я соглашаюсь с материалистами в том, что у них нет души, то я вовсе не обязан отказываться в существовании души их противникам.

Один из своих опытов Монтень посвятил большому пальцу руки<sup>10</sup>; и этому знаменитому примеру я дерзну отвести в своем исследовании больше всего места не только для вящего восхваления большого пальца, но также и самой руки. Всякому поборнику истины должно быть больно, глядя на то, что бессмертные руки писателей низведены до простых прислужников и исполнителей воли писательских голов. Сравним же заслуги писательских рук с заслугами писательских голов и воздержимся при этом от неудовольствия! Книга обязана руке своего родителя силою содержания, а голове его не более, чем гравюрным изображением, созданным каким-нибудь г-ном N; книга обязана руке словами и красивыми образами, новизна которых столь приятна читателю, а голове — всего лишь мыслями, преклонные лета которых нередко раздражают; без руки писатель способен сделать так же мало, как и живописец; без руки автор так же мало способен написать книгу, как наборщик набрать ее, а делать это без головы может научиться всякий и у кого угодно\*; и автор, и наборщик нуждаются в голове лишь для того, чтобы насладиться плодами своих рук. Скажу больше — с тех пор, как головы отказались отдавать современным писателям свои сокровища, стали щедрыми руки, и лишь доброте последних сочинители обязаны тем, что враждебность первых стала менее ощутима; теперь можно меньше думать и больше писать; правда, формат в шестнадцатую долю листа для души их духовных детищ слишком просторен, но для тел этих детищ слишком тесен том и в долю восьмую, ибо, пренебрегая нервическим духом, сочинители ныне тратят больше чернил. Слабостью своих голов они подобны медведю, каким его описывает Плиний<sup>11</sup>, как подобны ему и силой передних лап, — в чем схожи с раком, в клешнях которого заключена вся плоть, каковая отсутствует в его голове. И, глядя на то, как хищная птица, разрывая добычу, пользуется не столько клювом, сколько когтями, становится понятно, почему некоторые сатирики лучше пишут рукой, чем говорят языком, и развлекают читательский мир лучше, чем своих друзей. Отсюда следует, что нет ничего более неблагодарного, чем предпочитать рукам голову, и Лию, плоть которой производит на свет восхвалителей ее лика, ставить выше Рахили<sup>12</sup>, утверждающей свою красоту отнюдь не плодовитостью<sup>13</sup>; и нет для меня ничего более

\* Кому не вспоминается рука, изображенная на полях старых книг и указующая читателю на их красоты, как вся рука указывает возницам дорогу. (*Примеч. автора.*)

невыносимого, чем то, что журналы восхваляют не длинные руки, а длинные уши \* и лишают похвалы пальцы, воздавая ее голове. Так руки умного писца вынуждены зачастую играть роль головы невежественного начальника канцелярии и делать то, чему они должны придавать только форму, — и все же за хорошо составленную бумагу хвалят не писца, а начальника. Так, красиво причесанную голову какого-нибудь генерала окружает ореол славы, которую стяжали и заслужили лишь вооруженные руки его воинства, и тысячи мускулов оказываются лишены награды за победу одной-единственной головой, которая в сражении даже не участвовала. Тем самым заслуги руки я не ограничиваю только писательским трудом. Я почитаю все преимущества, вознаграждаемые на руке козлом, объединяющим палец с мыслью посредством буквы Д<sup>14</sup>, коей другие могли бы увенчать свои имена — все те преимущества, которые врачу, как положено, дает определение, "что он является существом, в чьих пальцах заключена способность щупать пульс и держать сосуд с мочой", — все те преимущества, которыми рука какого-нибудь Гаснера<sup>15</sup> была обязана его правоверным христианским мозгам и с помощью которых его пальцы укрепляли веру чудесами, — все те преимущества, которые мы лобызаем на красивых руках, а также все те, которые пальцы короля, чья корона удерживается не головой, сжимают в его скипетре. Но в авторе превыше всего ценю я руку, а в руке — большой палец. Во влиянии большого пальца на почерк Ляфатер<sup>16</sup> совершенно справедливо усматривает ценностную характеристику его владельца, а еще не напечатанный мой трактат возвышает его до микрокосма in puse\*\*. Именно поэтому, согласно одному античному писателю<sup>17</sup>, большой палец руки нарекли именем pollex, потому что оно происходит от глагола polleге\*\*\*; поэтому называли его греки *ἀντίχειρ*, т. е. преддверием руки или заместителем руки. Если мысль прокладывает на лбу борозды, то письмо тот же след духовного напряжения оставляет на большом пальце, и Бейль<sup>18</sup> рассказывает о Себастьяне Макции<sup>19</sup>, поэте семнадцатого века, что перо, которое тот никогда не откладывал, оставило глубокие вмятины на его большом, указательном и среднем пальцах. На большом пальце рецензент несет свое благороднейшее оружие — ноготь, которым он метит для бойни паршивых овец среди окружающих его книг.

converso pollice <vulgi>  
quemlibet occidunt <populariter> \*\*\*\*<sup>20</sup>

\* Иметь длинные руки означает — не знаю, повсюду ли — способность красть. Вороватый автор работает руками, глупый — головой. (Примеч. автора.)

\*\* Микрокосм — натурософское обозначение человека; — в свернутом виде (лат.).

\*\*\* Иметь силу, влияние, значение; быть богатым, владеть (лат.).

\*\*\*\* Ювенал, "Сатиры", III, 36. — Сюда также подходит — правда, тоже в фигуральном смысле — то, что *Статий*<sup>21</sup> где-то пишет о смерти, у которой длинные и черные ногти. (Примеч. автора.)

И если какой-нибудь несчастный случай, например дуэль, разрушит душевные силы этого органа, то бедняга — наподобие римских солдат, большие пальцы которых стали инвалидами, — оказывается отлученным от муз по меньшей мере до тех пор, пока не обзаведется десным пегасом в пару к своему пегасу мусическому, т.е. конспектером, или пока не натренирует левую руку. От таких несчастных случаев нас лучше всего оборонило бы изобретение пишущей машинки, которая автору облегчила бы составление букв в слова в такой же мере, как счетная машинка — операции над цифрами, и которая писала бы книги так же механически, как пресс их печатает. Удивительно и то, что современные воспитатели, превращающие всякую *tabula rasa*\* в *dictionnaire encyclopédique*\*\*<sup>22</sup>, вместо того чтобы сеять науки в податливом мозгу, просто сваливают их в него, умножая знания своих воспитанников отнюдь не умножением средств передачи этих знаний человеку и превращением их в общепользное достояние. Поэтому своего маленького ученика, от наставлений которого я отдыхаю за сочинением небольших воспитательных трактатов, я учу писать обеими руками. За что он еще раз отблагодарит меня, когда каждую книжную ярмарку он сможет радовать мир близнецами и своей левой рукой опровергать свою правую. И наши авторы, эти четырехрукие обезьяны, чью страсть к передразниванию они так успешно передразнивают, будут стремиться использовать свои нижние руки не только для ходьбы, но и, как верхние, для чего-нибудь более достойного, подобно органисту, играющему ногами. Ведь сообщает же *Штурц*<sup>22</sup>, что Мильтон<sup>23</sup>, с тех пор, как потерял в Челси руку, действительно начал писать ногами. Ко всему прибавлю, что ходить шляпочнику будет дозволено только по левую руку от перчаточника, что рецензент, подобно цыгану, сможет подкреплять свой прорицательский дар кроме анекдотов еще и хиромантией, — что за эти изобретения авторы (но не мой издатель) смогут наградить меня как нельзя лучше тем, что на титульные листы своих произведений они будут впредь заказывать гравюры не своих голов, а своих правых рук; у авторов привходит сюда еще и то обстоятельство, что их изображения, как правило, переживают их детей, не говоря уж о копиях, но нет потомков у единорога<sup>24</sup>; а у рецензентов — то, что один только вид этого органа может держать в трепетном почтении всю писательскую гильдию, как (по рассказам овчаров) вывешенная в овчарне волчья лапа приводит в ужас все стадо, — и, наконец, я прибавлю к этому то, что мне уже больше нечего прибавить.

Я обращаюсь к другому органу, похвальное слово которому я могу сократить, но не забыть. Рука, орган исполнительный, едва ли сравнится с желудком, органом изобретательским, и книго-

\* Чистая доска (*лат.*), о невежественном человеке, о детях.

\*\* Энциклопедический словарь (*фр.*).

родитель разделяет с ним свое бессмертие, как с повивальной бабкой. Но чем дольше мое перо пребывает в созерцании этого органа, тем больше прозаический шаг мой переходит в поэтическую рысь. И пыл мой вскоре усилится так же, как и мой голод. Руку я восхвалял, но желудок я воспеваю. Кто питает меня вдохновением? Какую музу вставляю я в первую строку моей безногой песни, дабы одним рывком воспарить в других строках, подымля воспевающую руку к воспеваемому желудку? И какое выдуманное божество молю я в плохих стихах о милосердии?.. никакое! Пусть будет желудок и моим Аполлоном, и моим меценатом! Стало быть, ты, голодный орган, и только ты – святейший орган авторской плоти, энциклопедия переводчика, древний Orbis pictus сочинителя романов\* и Gradus ad Parnassum<sup>26</sup> поэта, равно как и formula concordiae<sup>27</sup> священника! Колыбель книг, которую губит критическая желчь, как бычья желчь губит червей; у немногих животных представлен ты четырехкратно, и однократно у тех, что пережевывают свои мысли, а у рака ты в голове, как Минерва – у Юпитера; ты мясист у наших певчих птиц и кожист у хищных, которые рецензируют первых. О, придай моему перу тонкость, какую ты сообщаешь ему, когда оно восхваляет красавиц, правдивость, с которой оно превозносит благожелателей, человеколюбие, с которой оно в сатире обрушивается на прочих! Позволь мне обмакнуть перо в квинтэссенцию этих даров, и восславь себя сам пресыщен твоих меценатов и твоей неприязнительности. Не раз ты помогал мне петь: главу Парнаса и поэта венчают лавры, но ни в недрах первого, ни в карманах последнего не блестит золото; Аполлон сеет желтое богатство, но пожинает его Плутон; Фебу золотят голову его сыновья, а он не золотит даже доньшка шляпы; Пермесса<sup>28</sup> не орошает влагой посеянное золото, а муза – не богатая бюргерская девушка; так помоги же мне теперь все это опровергнуть. Ты часто помогал хулить тебя в предисловиях; так помоги же мне теперь восславить тебя в трактате, подобно непредубежденному англичанину, писавшему в понедельник против Уолпола<sup>29</sup>, а в среду против Полтни<sup>30</sup>. Не раз твое голодное урчание заглушало у меня в ушах вторую трубу Фамы<sup>31</sup>; так пусть оно теперь усилится!.. Но довольно! Теперь я не нуждаюсь в твоей поддержке; посвятив тебе несколько страниц, я исполнил свой обет. – Ведь твой призыв – это и фанфары в твою честь, в которые ты можешь продолжать трубить в рецензии на собственный призыв.

Сверх этого мне мало что остается сказать о названном выше органе, ибо автором Specimen novi medicinae conspectus<sup>32</sup>, изданного в 1751 году у Герена в Париже, желудок уже отлично представлен в качестве второго мозга. И все же я сделаю еще один шаг и не убоюсь почесть его первым. Эту полупоэтическую часть

\* Я имею в виду новый orbis pictus, который г-н Лихтенберг предложил поборникам искусств в геттингенском журнале<sup>25</sup> и уже начал его публиковать. (Примеч. автора.)

своего физиологического трактата я завершу краткими ответами на некоторые упреки.

Objectio\*. Ну нет! Это не более чем гипотеза, и раздувать ее было бы неуместно. Истинность ее известна давно; нова только ложность. Всякому знаком неиссякаемый источник, из которого раз в полгода извергается лавина переводов; но низвести благородное литературное искусство до столь пошлого происхождения и вместо Гиппокренны<sup>33</sup> желудочную жидкость выдавать за пищу, придающую поэтическим цветам блеск и аромат, значит сильно преувеличивать реальность. Песнь нового барда рождается в его гортани, а не в пищеводе.

Responsio\*\*. Точно так же думал и я десять лет назад при издании моих песен бардов<sup>34</sup>. Такого же мнения я был и в моей рецензии на них, смотри газету и журнал и т.д. И только известие Кампера<sup>35</sup> о чуме среди рогатого скота (в Немецком Музее<sup>36</sup>) научило меня тому, что болезнь редко гнездится у животных в мозгах, но чаще всего в желудках, а также тому, что договориться до бессмыслицы можно лишь от раздражительного зуда, а не от голода. И собственный опыт породил у меня сомнения. Так из области иллюзий я исподволь спустился в область истины, т.е. дошел до утверждения, что не только чешуйки рыб, не исключая и китайских золотых рыбок, обязаны своим блеском питанию из желудка, но и что обычай кухарок изящно прикреплять желудок к крылышкам сервируемой птицы является намеком на скрытое родство с перводвигателем парения наших поэтических пернатых.

Objectio. Но это, по крайней мере, не касается наших любвеобильных романов, поскольку они проистекают не из мозгов, а из слезных желез. И кто откажет в бескорыстности их сочинителям, тем, кто так охотно и произвольно распоряжается мощной своих героев?

Responsio. Вот именно. В своем сентиментальном путешествии автор раздаривает тысячу талеров, чтоб от своего издателя получить сотню; его перу, а не его руке пристала похвала за щедрость; скупой писатель, как и скупой отец, плодит детей-транжир, обкрадывая молодого книгопродавца посредством книги, в которой он проповедует публике благотворительство. Впрочем, книга так называемого человеколюбца является чаще маской, чем образом его сердца; то бишь оригинал схож с копией столь же мало, как и сердце, что штудирует анатом, с тем, что кондитер мастерит из сладостей, или с тем, что парикмахер ладит из волос на голове. Эта догадка обретает новый вес с открытием г-на Блюменбаха<sup>37</sup>, а именно: тепло внутри коловратки<sup>38</sup> — не сердце ее, а желудок\*\*\*. Только известнее, что червь, которого

\* Возражение (лат.).

\*\* Ответ (лат.).

\*\*\* См. его "Справочник по естественной истории", 2-е изд., 1782. С. 32. (Примеч. автора.)

из-под земли выманивает *дождь*, сиречь рыдания чувствительных небес, природа, отказав как в сердце, так и в мозге, не отказала в длинном кишечном канале. Здесь будет уместно вспомнить сон небезызвестного Сведенборга<sup>39</sup>: *духи Луны*, свидетельствует он в своем географическом и топографическом описании астральных тел, ростом не больше семилетнего *мальчика*: но голоса, что они издают *животами*, — страшнее грома. Чтоб все-таки извлечь полезность из визионизма Сведенборга (как это делают богословы с Апокалипсисом), добавлю, что под жителями Луны он несомненно понимает ее романтических обожателей.

Из галантности я не причислю к такому источнику лишь произведения прекрасного пола: для их возникновения вполне достаточно органа, который мы так часто целуем и о котором думаем прежде того, что является сейчас предметом нашего анализа. Моя обходительность так велика, что к красавицам, которые занимаются шитьем и вышиванием книг, я применяю высказывание Тита Фламинина о худом Филопемене<sup>40</sup>: "У тебя красивые руки, но нет живота".

Objectio. Судья тоже должен быть подсуден. С голодухи щекочет поэт барабанные перепонки, а сатирик грудобрюшную преграду читателей; та же нужда вручает одному флейту, а другому бич, и глупость и насмешка, как Тора и антитора<sup>41</sup>, произрастают на общей почве. Своими незанятыми и потому едкими пищеварительными соками именно желудок напитывает ваши сатирические перья, которые подобно ему и посредством него стали неким *perpetuum mobile\**, и вы высмеиваете насыщение за счет тех, кому вы подобны сами.

Responsio. Если оппонент к таким сатирикам меня не причисляет, то из любви к истине я сам во всем сознаюсь; так что пусть он причислит к ним и меня, но это право я предоставляю только сочинителю *раритетов\*\**.

Неестественное сочетание мыслей ведет меня от сатиры к *желчи*, признанная полезность которой делает излишними длинные хвалебные речи. У сатирика она служит заменителем нервного гумора, т.е. гения, у полемика — истины, а у рецензента — здравомыслия. Последний, правда, может судить, как ареопаг — в темноте<sup>43</sup>; однако пользоваться этой дозволенностью мне хотелось бы разрешить ему лишь при одном оправдательном условии: пусть он язвит сердце автора лишь в крайнем случае и безлично, подобно тому, как Амур стреляет в сердце лишь с завязанными глазами; но невозможно поразить голову без участия желчи, которая, как, впрочем, и желчь некоторых рыб, на некоторое время придает зрению особую остроту. И, таким образом, она вдвойне полезна; ибо учит не только *разить* книги, но и *понимать* их — так змея жалит и *врага* и собственную

\* Вечным двигателем (*лат.*).

\*\* "Раритеты руммельсбургского пономаря"<sup>42</sup> — плохая, но дважды изданная книга.

*пищу\**, пользуясь ядом и для *убиения* и для *пищеварения* одновременно; так молодой телячий желудок приспособлен как для *окисления\*\**, так и для *переваривания* молока. Без желчи нельзя ни опровергнуть своего ученого врага, ни возненавидеть его; без нее не получится заглавия дискуссионного сочинения; и в предисловии, и в содержании она играет роль столь же важную, как и персонифицированный *Раздор* в "Генриаде" Вольтера<sup>44</sup>. Мой друг Г. столь успешно не сорвал бы красивую маску греческого имени с человеконенавистнической сути филантропов, если бы перед тем не изгнал их пособницу — желчь с помощью рвотного средства через одну и с помощью слабительного через другую дверь открытого храма Януса. Рецензенты и сатирики, последуйте этому счастливому примеру и никогда не пользуйтесь рвотным и слабительным — разве что в новогодние праздники, чтобы не надо было ничего желать! Для умножения желчи я рекомендую вам есть как можно больше сладкого, которое желудок постепенно перерабатывает в желчь подобно романисту, у которого сладкое дружелюбие, испытываемое его героем к человечеству с первого тома, в дальнейшем окисляется в мизантропию с помощью желчи. Под сладостями я разумею альманахи, которые рекомендую вместо марципана на Рождество и *перед* Новым годом, а также прочие изделия наших кондитерских. Желчь, впрочем, следует применять во всех науках; она сродни мышьяку, который смешивается со всеми металлами и все их портит.

"И все же монарх сидит на троне лишь задницей", — говорит Монтень. А поэт восседает тем же местом на Пегасе, говорю я, и его песнопения — плоды исключительно *нижних* душевных сил, — говорит, наконец, один философ. Незаметно мой материал подсовывает моему перу счастливую возможность испытать двусмысленностью немецкую стыдливость; ведь, стремясь предпочесть нравственность моде, я незаметно (как и все немецкие писатели) начинаю писать лишь для *красивых* глаз и щадить *целомудренные* уши. Да будет дозволено рисовальщику для учебника анатомии гравировать то, что живописец не должен писать для кабинета богача! Если бы павлин мог говорить, считает Вольтер<sup>\*\*\*</sup>, то он бы сказал, что душа у него в хвосте; так думаю и я, ибо поэт, который может извлекать разнообразие и сочные краски тоже лишь *нижними* душевными силами, помещает свою душу в голову. Как *мозг* клюворыла<sup>46</sup> чуть не называли *sperma ceti\*\*\*\**, так и я уверенно заявляю, что музы обитают не на вершине Парнаса, с которым я сравниваю сейчас поэта, а в его

\* Заменяя слюну, яд облегчает пищеварение, начинает его.

\*\* В большинстве мест молоко пропускают через так называемый сычуг, т.е. кусок телячьего желудка.

\*\*\* Les oreilles du Comte de Chesterfield (Уши графа Честерфилда. — фр.)<sup>45</sup>. Тем самым Вольтер высмеивает философов, которые обитель души помещают туда, где, как им кажется, проявляются ее наиболее ценные действия. (Примеч. автора).

\*\*\*\* Сперма кита (лат.).



долине, и что поэта можно бы лишить пения с той же жестокостью, с какой им одарили Фаринелли<sup>47</sup>. После чего он стал бы сродни по меньшей мере кашлунам, которые, высиживая яйца, не в состоянии их зачать; т.е. он издавал бы, но не писал стихов, или от оригинальности скатился бы до подражательства. Причина же так часто до неузнаваемости маскируется в следствие, что неудовольствие от моих парадоксов я прощу кому угодно. К жаворонку, которого мы слышим, мы не всегда находимся настолько близко, чтобы его обнаружить. Только кого не посещает порою смутное предчувствие, что стихи и грехи поэта, как белые и черные люди проистекают из чресел все того же ветхого Адама? Жители горы Парнас вообще редко спрашивают о законах горы Синай<sup>48</sup>: они все разноверцы, и по старой вере не выстреливают ни одной эпиграммы, пока их пальцы заняты арфой Клопштока<sup>49</sup>; у проповедника их общины им не нравится ничего, кроме его дочерей; свои стихи они сочиняют преимущественно по воскресеньям, и не только потому, что в этот день они не идут ни в какие коллегии, но также и потому, что всякий не поэт слушает или читает проповедь; их эпиграммы преступают восьмую, а их стихи шестую заповедь<sup>50</sup>; полицию они ненавидят почти столь же истово, как и критику; как преступники бегут порою под сень законов, так и они пускают в ход имена языческих божеств, чтобы спастись от христианского возмездия за свои провинности; грехи ветхого Адама приписывают они маленькому Амуру и молятся дьяволу в обличье фавна. То, что поэтическое чувство обитает на одном этаже с шестым чувством, а именно — в партере, явствует из силы, какую они сообщают друг другу. Венера тежится с Фебом<sup>51</sup> не только на небе астрономическом, но и на мифологическом. Как только сей жених покидает свои покои, она уже выпалась, а когда он вновь входит туда, она еще бодрствует. Третью и последнюю роль нередко играет Меркурий\*. Посему те, кто не хотел бы развенчать поэтическое искусство, тем больше превозносят любовь; так, например, Гиппократ сыпает семенное зерно человечества под крышу, т.е. помещает семенники в уши. Из-за чего и то, и другое по-братски связано схожими симптомами; и к изречению:

*Homines homines faciunt in Paralyse\*\**

можно причислить и поэтов, и стихи. Поэтому лавр произрастает на такой почве, соками которой ему не нужно делиться с миртом, чьи свежие ветви тянутся навстречу времени. Так, по Баку<sup>54</sup>, задержанная моча у птиц чистит их сверкающее оперенье, а помет питает это украшение; из чего следует, что павлин мог бы умерить гордость своим хвостом, подумав не только о своих ногах, но и о питании, и непосредственной достижимости его. И все же, утверждая это, я не хочу приписать голове полную без-

\* Пусть критик простит мне одновременное разумение и астрономического, и химического Меркурия<sup>52</sup>. (Примеч. автора.)

\*\* Люди делают людей в Параличе (лат.)<sup>53</sup>.

деятельность при сочинении книг; этот орган создает план, выполнение которого ложится на гения. "Мясо зачастую берется в одной стране, а бульон — в другой", — говорит Аддисон<sup>55</sup>, хотя и в ином смысле. Однако недостойной похвалы я сделал голову потому, что куда больше предпочтения отдаю колориту рисунка. Здравому смыслу тощий план стихотворения, возможно, ближе, чем живость слов и метафор, но лишь последние свидетельствуют о поэзии. Так нет ничего более похожего на лошадь, чем скелет осла\*, но покройте умосозерцаемый скелет мясом, не забыв при этом глотку и уши, и возникнет животное, на котором столь импозантно ездят верхом все сочинители метафор, как, впрочем, и короли. Против убежденности моего читателя восстает упрек, искоренение которого выльется, возможно, в небольшое отступление от темы. Читатель, вероятно, не слишком приучен к глухой перегородке между головой и сердцем, чтоб счесть возможным превращение певца любви платонической в певца любви антиплатонической. Упрекая меня, он забывает, вероятно, также и о причастности тела к нравственности и лучших детищ его облакает такими блестящими именами, что они начинают стыдиться своего родителя. Последнее является содержанием следующего абзаца, а первое — ближайшего. Возрождением своей набожности г-н А. обязан не своему исповеднику, а своему врачу; его сердце обрело здоровье вместе с нижней частью живота — табачный клистир прочистил и то, и другое. Г-н Б. освобождается от мизантропии с помощью слабительного, вводя микстуру в авгиевы конюшни, чтобы лучше переваривать и любить. Страдающий полнокровием г-н В., перестав ощущать угрызения совести, приписывает облегчение не тому, что с него просто сняли голодных пиявок, а вмешательству Святого Духа; однако напрасно цирюльник откроет ему ланцетом врата блаженства, если он будет бежать дьявола-искусителя, принявшего образ мартовского пива, и, чтоб вернуть себе здоровье и благодать, пить воду наподобие того, как в христианской церкви (в разные времена) помазанием возвращали больным здоровье и благодать одновременно и, подобно коптским христианам, приурочивали крещение к обрезанию. Из брата г-на Л. побои изгоняют гнев, и его израненная спина читает его мозгам конфиденциальную лекцию по логике. Почему я вчера обращался к фантазии, к нашей прекрасной душевной силе, с меньшим успехом? Моя служанка разбавила мне водой кофе больше, чем обычно; а сегодня она украла у меня только пол-лота\*\* кофе, и это все, с чем я могу рассчитывать хоть на какие-нибудь аплодисменты знатоков искусства... А возьмите любовь, которая делает человека богом, чтобы этого

\* Стоит только взглянуть на изображения лошадей и ослиных скелетов в "Естественной истории" Бюффона. Из этого сходства происходит склонность некоторых натуралистов считать осла выродившейся лошадью. (Примеч. автора.)

\*\* Лот — старая нем. мера веса, 1/30 или 1/32 фунта.

бога, как бога Юпитера, обратить затем в животное<sup>56</sup>. Свою небесную Венеру, любезный юноша, которая, по твоему вчерашнему описанию, украшала себя не только утренней зарей и на прическе которой вместо заколок блистали не только золотые булавки неба, очарование которой куталось не только в неглиже, сотканное из солнечных лучей, горло которой вибрировало не только от серафических трелей, тело которой было не только прекраснее тела богини, но и чья душа была святее ангела, — эту Венеру ты сегодня больше не любишь; в чем дело? Разве ее добродетель, лишавшая ее половины всех адресованных ей восторгов, утратила нынче власть над тобой? ”Да! — говоришь ты, — оказалось, что на правой руке у нее родничок, и вообще она... и т.д.” Я понимаю тебя: все тело ее добродетельно, но вот беда — порочна правая рука. Не случайно утверждают стоики, что один порочный палец на ноге сводит на нет добродетели не только прочих девяти, но и всех остальных членов. Клятвам в вечной верности коса смерти, верно, и не повредит, зато может повредить острый нож — а он обычно *не ценит* того, кого губит.

Мое мнение о моральном поведении ученых мужей не должно прозвучать как хула; скорее — это завуалированная похвала. Ибо их сердце, совершающее порочный поступок, голова извиняет тем, что его запрещает. У языческих любомудров сердце, верно, было в согласии с их головой; христианских же поборников мысли не заподозрить в том, что добродетелям, расквартированным ими в черешной коробке, они внаем сдают еще обе камеры сердца; некогда крестили все тело ребенка, теперь же крестят только голову. Разве сумеет ученый сокрушать порок, если не смеет его любить? И чья верность целомудренным музам может быть вознаграждена лучше, чем верность нецеломудренного? Если левая рука сочинителя заимствует тайком в театре носовой платок соседа, то, значит, правая рука произвела на свет такую мощную трагедию, которая исторгла бы слезы из всех ста глаз и самого Аргуса; и рукопись, в которой бранят воров-издателей, незаконно перепечатающих книгу, со спокойной совестью можно продать одновременно трем издателям. Богослову ж безнаказанно дозволено преступить все десять заповедей, если он в состоянии перевести их с древнееврейского на немецкий; и если свой ученый желудок он посвящает подруге Геркулеса, то на врагиню Геркулеса он не бросит косога взгляда, довольствуясь одним лишь сердцем<sup>57</sup>.

Что справедливо касательно тех, кто восхваляет добродетель в прозе, еще более справедливо касательно тех, кто делает это в стихах. Последние обходятся с этой богиней, как католики (по уверению неглупых католиков) с образами некоторых святых: они увешивают их золотыми украшениями, но не молятся на них. Главу поэта покрывают пудра и помада; стопы его отягощают пыль и грязь; и лишь полет являет в нем, как в птицах, блеск и подвижность оперенья; так поэт похож на грифа<sup>58</sup>

благодаря орлиным крыльям, что выдают в нем жителя эфира, в то время как четвероногость роднит его с наземными животными. Стоит лишь немного подумать, и можно будет оправдать поэта. Ему бы научиться распознавать людей; только вот изучение их он улащает себе зачастую тем, что им подражает. А если он возвышает себя над людьми, то природа за это, как правило, мстит тем, что унижает его до животного, то есть и труд и ленность всегда приводят к крайностям. Потому-то добродетель поэта и ломает себе шею на Пегасе, а когда лошадь встает на дыбы, всадник соскальзывает вниз. Я сам знаком с одним большим поэтом, который от воспевания платонической любви отдыхал на прозе шестого чувства. Я не забуду никогда торжественного парения оды, которую он в хмельном угаре пел ввечеру дня собственного бракосочетания; едва ли жаворонок взлетит так высоко, коли его влечет к земле, к гнезду. Согласно хор небесных сфер нередко нарушается ворчаньем нетерпеливого естества; и дерево, на вершине которого гнездится и поет птица, сотрясает кабан, почесывая о него спину; и потому, дорогие мои единовверцы, простите горемычных отпрысков муз, что, подобно монахам, постятся после ночи кутежа и, разоблачаясь сами, укрывают наготу ветхозаветного Адама. Довольно, если, подобно Лютеру, они швыряют чернильницей в дьявола, особенно коли то дьявол чувственности, т.е. обмакивают в нее свой оперенный инструмент. В приливе и отливе их грехов предельное значение имеет прилив или отлив их благосостояния. Дикари Бразилии рассказывают о змее курурурива<sup>59</sup>, что, наполнившись пищей, подставляет свое тело хищным птицам, которые расклевывают его до скелета, после чего ее *жизненный дух*, обитающий в *голове*, а после гибели тела переходящий в *экскременты*, возрождает змею в прежней ее красоте, облике и размерах\*. При первом чтении этой сказки мне не хотелось верить собственным глазам; и, в суеверной лжи возмнив красивую аллегория, я чуть было не упустил насладиться тем, что бразильские дикари знать не знают ни поэта А., ни поэта Б. и, верно, не знакомы с г-ном В., который скитается по свету к вящему удовольствию собственного *носа*. "Но ведь так порочный автор вновь подвергает разрушению собственный продукт — свое добродетельное детище". Почему же притчам верят больше, нежели учениям? У дерева, о корни которого ты спотыкаешься, есть ведь и ветви, из коих ты можешь изготовить посох, дабы сберечь свои ноги. И, чтоб, наконец, возвратиться, о, славные отпрыски муз, ко входу в свой физиологический лабиринт, я подытожу сказанное тем, что все без исключения птицы, в том числе и такие поэтические, как совы, соловьи и жаворонки, летают с помощью не только крыльев, но и хвостового оперения.

\* Onomatologia historicae naturalis etc<sup>60</sup>. 3. Band, Seite 538. (Примеч. автора.)

Я чуть было не закончил свой трактат, не сказав еще раз о голове, существование которой для авторов, к сожалению, подчас неизбежно, а то и обременительно из-за необходимости пользоваться парикмахерскими ножницами и щипцами для завивки. Могу ли я здесь, словно на бойне, рассматривать ее как плебейский и не особенно вкусный довесок к жирным задним частям? Впрочем, на каждом ученом ценность ее очевидна, хотя бы и потому, что она носительница магистерских и докторских шляп, а для физиогномов и френологов она важна как череп, на котором обозначены таланты. Но, с другой стороны, голову следует учитывать и ценить как носительницу и кормилицу ушей, ибо последние представляют собою каналы, улавливающие фимиамы и похвалы, расточаемые писателям; ибо уши приобретают невероятную протяженность благодаря возбуждаемым трубами Фамы воздушным потокам, которые никоим образом не должны быть пропущены. Так, у моего ученого кума Смердиса<sup>61</sup> уши чуть ли не длиннее носов, которых ему еженедельно засылают его принципалы. Больше и лучше я расскажу об этом в следующий раз в связи с трактатом Гесснера<sup>62</sup> *de antiqua asinorum honestate*\*, который сделаю более полезным для нашего просвещенного времени, дополнив его противоположным прочтением эпитета *antiqua*\*\*.

Это произведение может быть украшено хорошими рисунками длинных и желательных конкретных ушей, образование которых на головах знаменитых ученых, при составлении моей племенной книги я рассмотрел от их носителей отдельно, насколько это позволили лавровые венки и ночные колпаки. Поэтому к каждому гражданину ученого государства, которому безразлично всеобщее улучшение слышимости, я обращаюсь с просьбой прислать мне силуэт собственного уха в обмен на будущее питание его. О писательских *глазах* мне сказать нечего; ведь известно, что ночные совы, обладающие хорошим слухом, плохо видят. О *мозгах* — еще меньше; ибо в их существовании я сомневаюсь так же сильно, как анатом (и супруг) — в существовании девственной плевы. Но их нехватка уживается в ученом с обширнейшими знаниями столь же хорошо, как та же нехватка в насекомых — с избыточной развитостью глаз. Таким образом, из вышесказанного следует, что выражение "у него есть голова" надо было бы заменить в будущем на выражение: "у него есть желудок"...

Так, призвав на помощь философию, я восстановил тело в его прежних правах. Автор обязан ему не только своим здоровьем, но и бессмертием, символом которых некогда была змея.

Трактат свой не снабдил я ни указателем авторов, ни указателем книг, ибо мыслительное содержание его не почерпнуто ни у кого, кроме меня самого. Так как указатели только раздувают

\* О почитании ослов в античности (лат.).

\*\* В античности (лат.).

книги, которые не содержат ничего, кроме краденых сокровищ, а изящным хвостом может завершиться лишь позвоночник, который лишен мозга. Как французские красотки при Франциске II, наращивая свои зады с помощью платьев, прятали под маской свои лица, так и огромный зад книги, т.е. указатель, можно извинить лишь небольшим объемом награбленной передней части. И если знатокам покажется, что моему физиологическому трактату порой недостает поэтического полета, то вину за его прозаичность я с готовностью приписываю собственному заблуждению в том, что я пока поэт. Но да будет известно, что украшения больше идут философии, чем поэтическому искусству, и как немцы перегрузили красотами свои *гербы*, так с фанатизмом Мартина в "Сказке бочки"<sup>63</sup> они отказали в малейших украшениях своему платью. Как идет ораторская напыщенность философскому щиту Минервы, так не годится она ни для ее прически, ни для других покровов ее прелестей. Но я ничуть не забыл выполнить свое обещание и закончить трактат.



*Иоганн Адам Бергк*

---

## ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ КНИГ

### Фрагменты

Много общего у человека с прочими тварями земными. Он появляется на свет так же, как они, и существование его столь же бrenно. Но способность к проявлению воли свойственна лишь ему одному. Он сам правит своей судьбою. Он не изнывает под гнетом железной необходимости. Его не теснят оковы инстинкта, который ведет по жизни неразумные существа, и свобода делает его творцом своего бытия и своей доли. Как важно посему человеку познать все средства, уже в раннюю пору указующие ему путь к его предназначению!

Чтение книг дает ему для этого необходимое и наставляет, как может он постичь смысл и цель человеческой жизни на сей земле. Книги вводят его во святилище и наполняют душу предчувствием того величия, которое суждено человеку, если он смело ринется в бой.

Значит, все, что мы читаем, должно споспешествовать развитию наших духовных сил. И голова, и сердце должны обогатиться чтением и прийти в полное согласие друг с другом. Как часто в полночные часы, когда мы оказываемся в полном одиночестве, когда все вокруг нас погружается в глубокий сон и наступает царство тишины, книга дарит нам радость и делает нас благороднее и значительнее, чем мы были доньше.

Мы стремимся к тому, чтобы книги принесли нам как можно больше знаний, но что они дадут нам, если мы сами не поставим их на службу человечеству. Кто может приносить пользу своими знаниями? Только тот, кто пускает в ход все силы для достиже-

ния цели, которую он по собственной воле поставил пред собою. Миру нужен не тот человек, что начинен до отказа знаниями и превратился в раба собранных сведений, а тот, кто свободен и деятелен, кто полновластно владеет этим добром, кто знает его истинное назначение, кто в состоянии возвыситься над накопленными знаниями и обращается с ними как с расхожей монетой. Если кто-либо собиранием знаний подавил свободную деятельность своего ума, то можно ли сказать, что достигнута цель, поставленная при чтении? Он создал у себя огромный запас, но стал ли он более способным вершить большие дела? Придало ли ему это смелости, чтобы идти навстречу опасности, угрожающей его жизни? Хватит ли у него теперь мужества, чтобы всегда выполнять свой долг, даже если над его главою взметнется меч, грозящий ему гибелью за то, что он не покорился произволу злодея? Будет ли он говорить правду, которую ему продиктует долг, даже на краю разверзшейся бездны? Нет, он убоится всего этого, ибо не отведал чудесного бальзама свободы, дарующего силы подняться над всем земным и преходящим, ибо ни разу не позволил себе воспротивиться слепой судьбе, готовой его уничтожить. Лишь тот свершит великие и благородные дела, кто вырвется из объятий врожденной лености, исполнится силы, совладеет с препятствиями, рассмотрит и исследует все, что ему будет необходимо. Не стоит труда набираться разных знаний из книг и выучивать наизусть толкования всевозможных явлений природы и человеческого общества, если ум твой не пожелает обрести свободу, проявить самостоятельность и смело вознестись над облаками в час, когда загремят раскаты грома и смерть будет алчно тянуть к тебе свои пальцы. Если ты не хочешь понапрасну тратить силы и время, ты должен добиться того, чтобы умонастроение обрело в мире книг благородство, разум — деятельность, чувства — силы, а характер — независимость.

Достоинейшая и благороднейшая цель, которую мы ставим пред собою, садясь за книгу, и которая одна лишь может быть представлена на суд разума, есть пробуждение и развитие задатков человека, совершенствование всех его сил. Чтение должно сделать его восприимчивым ко всему окружающему, должно помочь ему стать властителем внешних впечатлений, а не их рабом. Оно должно не принижать его, а облагораживать, должно придавать силы его душе, дабы она всегда стремилась к небесам, а не к земной пыли. Оно должно очеловечивать все его деяния, должно изгонять грубость из его жизни. Оно должно отучить его от бездеятельности и лености, на которые его обрекает бытие. Оно должно пробудить в его душе идеи, дабы они внушили ему как уважение к своей природе, так и любовь к справедливости. Оно должно сделать так, чтобы мир идеалов стал ему так же близок, как и мир чувственных наблюдений, ибо по природе своей человек подобен амфибии: он может и должен жить в двух стихиях, и лишь тогда он приобретает достоинство, когда и в чувственном, и в сверхчувственном мире ведет себя как дома.





Людвиг Тик

---

СТАРИННАЯ КНИГА И ПОЕЗДКА НАУГАД  
Фрагменты новеллы

Около трех лет тому назад мой давний, приобретенный еще в ранней юности друг Беесков покинул меня, чтобы вновь отправиться в горы, видом которых он тешил свою душу каждый раз, как только появлялась возможность совершить путешествие. И никогда целью его поездок не становились ни равнинная местность, ни северный край. Это было одной из странностей этого человека, а надо сказать, что их у него было немало, в том числе и таких, которые можно было просто счесть за капризы, частенько, правда, заставлявшие страдать его друзей. Но что всем нам особенно досаждало и что было труднее всего переносить, так это его упорный прозаизм, как с некоторых пор стало принято называть неспособность иных душ восторгаться поэзией или хотя бы приходиться в волнение. Ныне еще больше, чем в 1774 году, когда вышел в свет "Вертер" Гете, вошло в моду слово "филистерство", и применяют его по отношению к людям спокойным, разумным и деловым, не обладающим горячим сердцем, не способным на энтузиазм, не подозревающим о каких-то тайнах человеческой природы, не желающим признавать за страстью право на благородство и оспаривающим наивное величие истинной простоты. Слова "филистер" и "филистерство" остались в нашем языке. Более того, он уже не может обходиться без них, но за полсотни лет слова эти стали столь переменчивы, что наши либерально или по-старонемецки настроенные Альберты, по сравнению с которыми Альберт 1774 года<sup>1</sup> может показаться суеверным, если не гениальным энтузиастом, в 1834 году сочтут тогдашнего

Вертера мелким сентиментальным филистером, способным жить и умереть лишь от несчастной любви, а не во имя государства, человечества, свободы или природы.

Но, несмотря на этот поворот в языке, мы назвали нашего Беескова филистером не потому, конечно, что он мог показаться похожим на Вертера, а в том смысле, в каком Гете обозначал природы непоэтические, чуждые энтузиазма, детища закоснелых привычек и традиций.

Однако в любви к природе мы не могли ему отказать, — ведь он так часто пускался в путь и каждый раз возвращался из поездки бодрым и веселым.

А перед последним его путешествием мы вдруг обратили внимание, что он заговорил о своем желании побывать в одной высокогорной деревне, чтобы добраться до какой-то не то поэмы, не то повести, на которую он натолкнулся там в молодости, так и не сумев по-настоящему ее оценить. Он уверял, что эта странная легенда несомненно создана во времена Ганса Сакса и школы мейстерзингеров<sup>2</sup>, и полагал, что это старинная поэма, которая подверглась обработке и в которой некоторые отсутствующие страницы были позднее заменены некоей своеобразной прозой. Итак, смысл его невразумительного описания сводился к тому, что произведение это восходит к истинно поэтическим временам средневековья, но было повреждено, затем дополнено и окончательно испорчено вставками, сделанными учителями, проповедниками или бродячими писателями.

Нас не очень занимали малоаргументированные суждения, тем более что наш исследователь не мог ничего сообщить нам о содержании этого сочинения.

Он уехал, писал редко и лишь по прошествии нескольких месяцев сообщил мне, что переписал легенду, но при этом по собственному усмотрению восполнил недостающие места, исправив явные ошибки и противоречия.

И вот через полгода всех нас повергло в ужас известие о его кончине.

Но через несколько недель я, к своему немалому удивлению, получил пять тетрадей, завещанных мне стариной Беесковым, этим далеким от поэзии человеком. Но в том-то и дело, что, как это часто случается, все мы ошибались в нем: душа его была вовсе не чужда поэзии, как опрометчиво полагали мы. Я с удовольствием прочел старинную историю, которую он, по его словам, переписал в горах. Но мне показалось, что он решительным образом ее переделал, если не вообще сочинил сам. У меня не было уверенности, что весь этот рассказ о таинственной рукописи, пробелах в ней, старинных фрагментах и позднейших изменениях и добавлениях не являлся вымыслом. По мере того как я читал ее и раздумывал над прочитанным, в моей голове возникали все новые и новые представления. Волей-неволей, как бы сами собою напрашивались иные добавления и варианты, и не

успел я решить для себя вопрос, позволительно ли расцвечивать пестрое полотно, сотканное чужим умом, иными красками, украшая его яркими лентами, даже с риском испортить всю картину, как плоды моей работы, созданной в часы вдохновения, были уже готовы. Я поделился окончательной своей версией с беспристрастными друзьями, составлявшими вместе со мною так называемый ученый круг. Но я молчу о том, какое впечатление произвела на этот круг моя повесть, чтобы никоим образом не предвосхитить благосклонную либо ворчливую критику, которая будет придирчиво стремиться отделить то, что создано мною, последним редактором, от того, что принадлежит добропорядочному Беескову, средневековой, эпохе Ганса Сакса или же Готшеда<sup>3</sup>.

Итак, привожу выдержки из писем, которые успел послать мне Беесков.

\* \* \*

Ну вот, я вновь окружен любезными моему сердцу горами, зеленеющими долинами, где эхо послушно откликается на звуки, где шумят леса, а реки и ручьи в ночной тиши неумолчно поют свою древнюю многоречивую песнь < ... >

Обитатели здешних мест вновь приняли меня дружелюбно.

Позавчера праздновали свадьбу в доме кузена бургомистра, который, разумеется, главенствовал за столом. Меня же пригласили как доброго знакомого сего почетного гостя.

Я собирался отправиться на следующий день, чтобы добыть эту завлекательную рукопись у местного учителя, ее нынешнего владельца.

Утром я уехал туда, высоко в горы.

Но как же, вы думаете, повел себя старик учитель? Эту старинную поэму он готов был разорвать и пустить бумагу на хозяйственные нужды.

— Я, — запальчиво заявил он, — сам работал над нею, а значит, мне принадлежит право распоряжаться ею, как мне будет угодно. Эта книжонка попортила мне уже немало крови. Полтора года назад приезжал сюда один профессор, специалист по старонемецкой письменности, как он отрекомендовался. Не ошибусь, если скажу, что обо мне и моей книге он услышал от вас. Он назвал меня величайшим грешником из всех, кто когда-либо ступал по этой земле, ибо я не сохранил попавший ко мне в руки текст в первоизданном виде со всеми описками, непонятными местами и даже пустотами, образовавшимися из-за червей, прогрызших кое-где бумагу, и гнилой воды, смывшей прочь целые строчки. "Но, уважаемый господин профессор, — попытался я защититься от его нападков, — эту книжицу подарил мне еще в моей юности один глубокий старик, священник, и это он ее погубил, как вы изволите выражаться, ибо он почти все стихи переделал в прозу, ничтоже сумняшеся, выбросил все, что было ему

непонятно, а с другой стороны добавил то, что казалось ему выпавшим из текста. Священник уверял меня при этом, что тот стихотворец шестнадцатого века именно это и имел в виду. И должен вам сказать, что сей старец, столь ревностно служивший господу, при всей своей доброте был просто-таки невыносимым человеком. И писал-то он еще тем злосчастливым канцелярским стилем, от коего нас, к счастью, избавил Готшед. К тому же священник в почтенные свои годы еще бредил Парацельсом<sup>4</sup>, Якобом Беме<sup>5</sup> и иже с ними. Так вот, этот человек (да простят небеса меня грешника, так запросто именующего достославного пастыря душ человеческих) всеми этими нелепостями пропитал поэму. Когда покойный подарил мне свой опус — тому уже полвека — я, разумеется, от всего сердца поблагодарил его и в какой-то мере обрадовался этой замечательной повести, но, с другой стороны, был и раздосадован всем этим нечестивым суеверием. Читая, я то злился, то получал удовольствие. Сама по себе эта вещь была прелестна, но отвратительный стиль превращал ее порою в скучнейшее чтиво. Многие были мне просто-напросто непонятны; кое-где священник неверно переписал старинные стихи, так что они, конечно, и ему самому не могли быть понятны. Короче говоря, прочитав несколько раз эту *mixtum compositum*\*, составленную из поэзии и бредней, я убрал ее в дальний угол и затем забросал всяким хламом и рухлядью. А место там оказалось сырое, так как окна плохо защищали его от дождя, и когда около десяти лет назад бурной зимней ночью мне вдруг пришлось в голову прочитать эту штуку моей ныне покойной жене, я увидел, в каком жалком состоянии оказалась рукопись. Вам ведь, конечно, знакомо чувство, с которым вы берете том, пропитавшийся сыростью, и при вашем прикосновении к книге из нее вываливаются целые куски страниц, посиневших от гниения. К тому же мыши, которых я вообще никогда не терплю в своем обиталище, умудрились на сей раз нагадить на рукописи и выгрызть некоторые важнейшие места. Итак, чтобы познакомить жену с этим столь поврежденным произведением, мне пришлось вносить исправления и даже заняться собственным сочинительством, что я и совершил в меру моих скромных способностей". Но упрямого профессора не удовлетворили мои объяснения, и он сказал, что эта писанина в ее нынешнем виде гроша ломаного не стоит. Я проглотил эту пилюлю, — ведь если бы не я, то от рукописи вообще не осталось бы ничего.

Затем явился ко мне еще один исследователь старины, грамматист или что-то в этом роде, покопался в злосчастных листах и отбросил их с презрением прочь. "Не морочьте мне голову, милейший, — воскликнул он. — И фабула, и манера письма, и все прочее принадлежит вам. Средние века?! Обработано мейстерзингером?! Стариной здесь не пахнет ни одно словечко! Стиль,

\* Мешанину (*лат.*).

образы, тон! Так пишут только в наше время. А все эти ужасные анахронизмы! Никогда тогдашние авторы не употребляли таких слов, особенно при описании одежды, какие встречаются здесь, — им просто не приходилось ни от кого слышать их.”

Вот и этот грубиян в гневе покинул мой дом, но меня это несколько не вывело из себя. Бог с ними, этими анахронизмами и описаниями одежды!

С той поры я почти что выкинул из головы эту книжицу. И напомнил мне о ней прошлым летом один пожилой офицер. Он с жадностью набросился на это, как он выразился, ”бесценное сокровище” и сразу же, не снимая шинели, с пашкой на боку уселся вот за тот стол, чтобы как следует познакомиться с рукописью. Он целиком погрузился в чтение, и я даже чувствовал себя польщенным тем, что наконец-то увидел в стенах своего дома истинного ценителя этого произведения. Читал он долго, а когда закончил, надел тут же в комнате фуражку и произнес с холодной торжественностью: ”Милостивый государь! Чем объяснить, что во всей поэме нет ни слова о христианской вере, — невежеством или злым намерением? Ни единого раза — я внимательно проследил за этим — здесь не упомянуто имя господина нашего Иисуса Христа!” Я был поражен его замечанием и ответил, преодолевая смущение: ”Многоуважаемый господин военачальник, ведь это одна из таких вещей, какие наши предки именovali сказанием, а мы теперь в этом случае употребляем еще более простое слово ”сказка”. ”Как это так! — возмутился офицер. — Без Спасителя мы ничто. Не может быть и речи о наслаждении, если нет от него прямой дороги к благодетию, к вере. Сейчас более, чем когда-либо, должно утвердиться все святое, благородное, богоугодное, законное, возвышенное и вечное, потому что мы живем в нечестивые времена, и их глашатаи замыслили разрушить все до основания. Кто не со мною, тот против меня — так гласит старая истина. Все должно подчиниться всеобщей и высшей потребности. В прежние времена такие писания, а порою и их сочинителей предавали огню, и это было возмездием за злодеяния. В наши дни бросать в костер злонамеренного писателя уже не принято, но если хулителя святыни посадить за решетку, то это не будет попранием справедливости. И что же? Такой человек может служить здесь учителем, воспитателем, которому надлежит мальчиков и девочек растить в духе христианства! Нет, лучше уж я помолчу, а не то и мне придется предстать перед лицом вечного суда”.

Представляете себе, как я огорчился. Этого только недоставало, чтобы из-за проклятой рукописи я лишился еще своей должности и куска хлеба! С тех пор книжка была вновь предана забвению. Но вот однажды поздней осенью поселился у меня один молодой жилец, охотник. Он ищет бумагу, чтобы смастерить свои картечи, картузы или патроны (я не очень-то знаю, как все эти штуки называются), и натывается на мою рукопись. Я,

конечно, долго раздумывал над тем, стоит ли жертвовать ею ради его пороховых занятий.

Погода не очень благоприятствовала охоте, и молодой человек, непоседа, который не мог поладить ни с одним начальником, стал эту рукопись читать. "Черт побери! — воскликнул он, оставаясь верным своим дурным манерам. — Как вы отстали от жизни, старина, и ни капельки не поумнели! Вы что же, и в самом деле верите в роль происхождения, во всех этих королей и знатных персон?! Или вам неизвестно, что мы, либералы, давным-давно покончили со всей этой чепухой? Это все феодальные идеи, а вы говорите и пишете как крепостной крестьянин, как раб. Эти дурацкие листы пригодны разве для того, чтобы благородный и здравомыслящий человек раскуривал трубку с их помощью". И с этими словами он вырвал из рукописи один листок, поджег его и задымил из своей охотничьей трубки. По совести говоря, я не очень рассердился и, когда он ушел, положил книжку опять на свое место. Правда, он ее потом, верно, отыскал. По крайней мере, когда он выехал из моего дома, я обнаружил, что в ней не хватает очень многих страниц, и вот теперь она выглядит уже совсем изувеченной.

Такое настроение старика учителя позволило мне без особого труда совершить с ним торговую сделку, которую он считал для себя выгодной. Я перечитал рукопись, и теперь она показала мне совсем иной, чем несколько лет тому назад. Тогдашнее впечатление испарилось, а так как содержание этой вещи почти совсем забылось, я читал ее теперь с большой дотошностью, дабы получить представление о самом главном. Если одним из моих предшественников, критически оценивавших это произведение, оно показалось недостаточно ученым, другим же — нечестивым, а последний из них резко осудил отсутствие в нем духа либерализма, то мне прежде всего бросилась в глаза мешанина в самой манере письма: то она была старомодной, то современной, то строки были зарифмованы, то вдруг они без всякой подготовки переходили в многословную прозу. Описания полностью отсутствовали, зато притягивались за уши тривиальные разглагольствования и наставления. Но больше всего меня коробило, что при последней обработке образ некоего учителя не просто выгодно отличался от прочих, но, можно сказать, преподносился с непоколебимым пристрастием и нежностью. Этот человек превращался в нечто такое, что чувствительный читатель так часто именует высшим идеалом и образцом благородства: подобный субъект на каждом шагу, притом без всякой надобности, совершает самопожертвование, произносит нудные нравоучительные речи, хотя никто не просит его об этом, делится с первым встречным последним куском хлеба и даже становится грубым, если таковой ищет способа хотя бы несколько избавить его от бедности.

И потому я, как только начал перелистывать рукопись, волей-неволей стал ее — в который раз! — переделывать. Возможно,

публика и ученые мужи сочтут все это целиком и полностью моим собственным сочинением, но на самом деле это не так. Но какое дело мне, живущему в тихом одиночестве в окружении чудесных гор, до всех этих критических суждений? < ... >

Недавно меня звали на пикник, к которому готовились уже давно. Горожане даже не имеют представления о том, с какой настойчивостью жители небольших местечек заставляют своих гостей чревоугодничать. Мне кажется, под их натиском даже покойник раскроет рот, чтобы проглотить лакомый кусочек. И вот, на пирушке мне стало худо, и меня увели домой. Не могу больше писать и рассказывать.

Желаю тебе всех благ, дорогой друг, создатель "Штернбальда", "Генофефы" и "Октавиана"<sup>6</sup>. Я пошлю тебе эту старинную книгу в новой обработке.

\* \* \*

Ни одного письма я от него больше не получил. А вскоре пришло сообщение, подписанное бургомистром и городским врачом, извещавшее меня, что мой давний друг Беесков скончался от несварения желудка, явившегося следствием неосторожности, проявленной им во время одного многолюдного семейного праздника.



*Джакомо Леопарди*

---

ПАРИНИ<sup>1</sup>, ИЛИ О СЛАВЕ  
Фрагменты

II

Я... хочу изложить тебе, какие трудности и препоны и без вмешательства человеческой злобы упорно мешают стяжать славу, и притом не отдельным людям в особых обстоятельствах, а всегда и почти всем великим писателям.

Ты знаешь, что никто не удостоился этого великого имени и не завоевал истинной и прочной славы чем-либо, кроме превосходных и совершенных или хотя бы приближающихся к совершенству творений. Теперь тебе следует обратить внимание на неоспоримую истину, высказанную одним нашим писателем-ломбардцем; я имею в виду автора "Придворного"<sup>2</sup>, который говорит: "Весьма редко случается, чтобы тот, кто не владеет пером сам, сколь бы ни был он образован, мог в совершенстве знать труд и искусство писателя и наслаждаться приятностью и великолепием разных стилей и глубокими мыслями, которые так часто встречаются у древних". Подумай прежде всего, сколь малое число людей обучено владеть пером, — значит, сколь мала та часть человечества, у которой ты можешь надеяться и ныне, и в будущем заслужить высокую хвалу, которую полагал плодом всей своей жизни. Кроме того, взгляни, как много значит во всех писаниях слог, от достоинства и совершенства которого более всего зависит долговечность произведений, принадлежащих к роду изящной словесности. Часто ты, лишив красот слога прославленное сочинение, о котором ты думал, будто его ценность



заклучена в высказанных в нем мыслях, можешь тем самым низвести его до такой степени, что оно покажется тебе ничего не стоящим < ... > Поэтому слог — составляющий такую большую и важную часть труда писателя, требующий несказанных стараний и усилий как для того, чтобы обучиться глубоко и в совершенстве его искусству, так и для того, чтобы, обучившись, этим искусством пользоваться, — не имеет иных судей, иных достойных почитателей, способных воздать ему хвалу по заслугам, кроме тех... кто владеет пером. Что до остальной части рода человеческого, то тут безмерные труды и усилия, затраченные ради этого самого слога, оказываются по большей части тщетными и выброшенными на ветер. Я не говорю уже о нескончаемом разнообразии суждений и склонностей тех, кто причастен к словесности; но и по этой причине число людей, способных оценить похвальные качества той или иной книги, становится еще намного меньше.

Я хочу, однако, чтобы ты убедился еще в одном: для того чтобы в совершенстве узнать достоинства произведения совершенного или близкого к совершенству, мало владеть пером < ... > Человек достигнет умения до конца понимать превосходные качества лучших писателей и наслаждаться ими не прежде, чем сам приобретет способность являть их в собственных сочинениях, потому что полностью познать эти качества и насладиться ими можно не иначе, как самому занимаясь тем же самым, и, так сказать, перенести их на самого себя. Прежде никто и не в силах был уразуметь, что есть на самом деле совершенство в писании. А не понимая этого, нельзя должным образом восхищаться величайшими писателями. Те, кто привержен ученым занятиям, по большей части сами пишут легко и думают, будто пишут хорошо, а потому поистине не сомневаются в том, что писать хорошо не так уж трудно. Теперь ты видишь, до чего сократилось число людей, кому полагалось бы уметь тобой восхищаться и хвалить тебя по заслугам < ... >

Я не раз дивился про себя, как, например, Вергилий, великий образец совершенства для всех писателей, приобрел и сохранил такую необычайную славу. Потому что, хотя я и не очень высоко мню о себе и не думаю, что способен всесторонне постичь то, чем он велик и в чем искусен, и насладиться им вполне, однако я уверен, что большая часть его читателей и хвалителей замечает в его поэмах не более одной из десяти или двадцати красот, которые мне удалось открыть после многократного перечитывания и долгих размышлений. Я на деле убеждаюсь, что высокая честь и почтение, которые воздаются великим писателям, происходят обычно даже у тех, кто читает их и занимается ими из слепо усвоенной привычки, а не из собственного суждения или способности распознать в них особые достоинства.

Я вспоминаю, что во времена моей юности, когда я читал поэмы Вергилия, — с одной стороны, сохраняя свободу суждения

и не заботясь о мнении других, что присуще лишь немногим, а с другой, — будучи еще неискушенным, как то свойственно молодости, но ничуть не в большей мере, чем бывает всю жизнь большинство читателей, — я про себя отказывался присоединиться к общему приговору, ибо не мог открыть у Вергилия больших достоинств, чем у любого посредственного поэта. Мне даже сейчас удивительно, как это слава Вергилия могла взять верх над славой Лукана<sup>3</sup>. Знай, что большинство читателей, и не только в век ложных и превратных суждений, но и в пору здоровой и трезвой словесности, получает больше наслаждения от красот грубых и явных, нежели от тонких и скрытых, более от смелости, нежели от целомудренной сдержанности, чаще от внешнего, нежели от существенного, и всегда больше от посредственного, нежели от превосходного < ... > Я не могу постичь, как в конце концов суждение немногих, пусть даже правильное, могло победить суждение несметного множества и сделать всеобщей привычкой почтение, столь же слепое, сколь и заслуженное. Так бывает не всегда, но я повторяю, что своей славой даже лучшие писатели обыкновенно обязаны больше случаю, чем собственным заслугам; быть может, ты убедишься в этом, услышав последующие мои рассуждения.

### III

< ... > Спора нет, о любого рода произведениях красноречия и поэзии судят не столько по их качествам, сколько по тому действию, какое они оказывают на душу читающего. Читатель составляет о них мнение, рассматривая их, так сказать, больше в себе самом, чем в них самих. Оттого и получается, что люди с холодными и медлительными от природы сердцем и воображением, хотя и наделенные хорошим слогом, остротой ума и достаточным образованием, бывают почти что неспособны подобающим образом вынести приговор таким писаниям, ибо не могут отчасти отождествить свою душу с душою писателя и втайне их презируют, ибо, читая их и зная, насколько они до поры знамениты, не постигают, в чем причина этой славы, — и все потому, что чтение нимало не волнует их, не рождает в них никаких образов, а значит, и не доставляет заметного удовольствия. Даже у тех, кто от природы расположен и готов воспринять любой образ и оживить его в своей душе, случаются минуты охлаждения, рассеянности, томности духа, невосприимчивости, и, пока длится такое расположение, люди эти точь-в-точь похожи на только что описанных нами; а случается это по самым разным причинам, внутренним и внешним, духовным и телесным, преходящим и постоянным. В такие минуты ни один, будь он хоть самый лучший, писатель не годится в судьи сочинений, предназначенных волновать сердце и воображение. Я не говорю о пресыщении удовольствиями, испытанными совсем недавно при такого рода

чтении, или о более или менее сильных страстях, от времени до времени посещающих душу и занимающих большую ее часть, так что не остается места для волнения, которое при иных обстоятельствах было бы вызвано прочитанным. Так, по тем же самым или сходным причинам мы замечаем, что одни и те же места, одни и те же природные и иные зрелища, музыка и сотни подобных вещей, которые волновали нас в другое время — или были бы способны взволновать, если бы мы их видели и слышали, — будучи увиденными и услышанными теперь, ничуть нас не волнуют и не доставляют нам наслаждения, хотя они и не стали менее прекрасными или менее потрясающими чувства, чем были прежде.

Все же тогда, когда по одной из названных причин человек не расположен воспринять действие красноречия или поэзии, он не преминет вынести суждение о книгах, относящихся к первому или второму роду, если ему случилось прочесть их в эту пору впервые, и не отсрочит своего приговора. И со мною нередко бывает так, что я беру в руки Гомера, или Цицерона, или Петрарку и не испытываю, читая их, ни малейшего волнения. Однако же, поскольку мне известны все достоинства этих писателей и я в них уверен, как по причине их старинной славы, так и потому, что на опыте убедился, сколько радости доставляют они мне в другое время, я не допускаю, чтобы из-за моего нынешнего отупения у меня появились мысли, отрицающие их величие. Но когда дело идет о сочинениях, прочитанных впервые и в силу своей новизны не успевших еще вызвать толки или утвердиться настолько, чтобы сомнению в их ценности не оставалось места, тогда ничто не мешает читателю судить о них по тому действию, какое они оказывают на его душу в сей миг, и в том случае, если душа его не расположена к восприятию чувств и образов, желаемых автором, составить себе низкое мнение и о книге, и о ее создателе, будь они даже превосходными. И едва ли случится так, что он откажется от этого мнения, заново перечитав ту же самую книгу в более подходящее время: ведь скука, испытанная при первом чтении, отнимет у него желание вернуться к книге, да и вообще, кому не известно, как важно первое впечатление и что значит иметь уже составленное суждение, пусть даже ложное?

Иногда бывает, что душа по той или иной причине, напротив, столь податлива, чувствительна и полна сил и настолько всему открыта и ко всему готова, что повинуется малейшему толчку, данному чтением, живо воспринимает легчайшее прикосновение и по поводу читаемого рождает сама из себя тысячи волнений и тысячи фантазий, впадая порой в некий сладостный бред и забывая о себе. И по этой причине легко может случиться, что читатель, глядя лишь на наслаждение, доставленное ему прочитанным, и спутав следствие собственных свойств и собственного расположения духа со свойствами, действительно присущими книге, сохраняет к ней великую любовь и восхищение, составляет

о ней мнение более высокое, нежели она заслуживает, и даже предпочитает ее более достойным, но прочитанным при менее благоприятных обстоятельствах книгам < ... >

#### IV

< ... > Вспомни еще вот о чем: нет явления более обыкновенного, нежели постепенная утрата с возрастом естественной способности к восприятию наслаждений, доставляемых красноречием и поэзией, а равно и другими подражательными искусствами и всякой мирской красотой. Этот упадок души, предназначенный нашей жизни самой природой, бывает теперь больше, чем бывал в другие времена, начинается раньше и наступает быстрее, особенно у людей ученых, потому что к собственному опыту каждого присовокупляется большая или меньшая доля знаний, почерпнутых из постоянных занятий всем тем, что было в прошедшие века, и размышлений над ним. Все сказанное, а также и нынешние обстоятельства жизни в обществе имеют следствием то, что из людского воображения с легкостью исчезают призраки, свойственные юности, а с ними и надежды души, и с надеждами — большая часть желаний, страстей, рвения, живости, способностей. Так что я больше удивляюсь тому, что люди зрелого возраста, особенно ученые, предающиеся размышлениям обо всем человеческом, бывают еще доступны силе красноречия и поэзии, нежели тому, что этим искусствам порой не удастся оказать на них действие. Не сомневайся, для того, чтобы тебя волновали вымышленные красота и величие, необходимо верить, что в человеческой жизни есть хоть малая толика подлинного величия и красоты и что поэтическое в мире существует не только в баснях. Юноша всегда верит в это, хоть и знает обратное, пока его собственный опыт не придет на помощь знанию, но трудно верить в них, пройдя печальную школу практической жизни, особенно если к опыту присоединяются привычка размышлять и образование. Из этого рассуждения можно было бы заключить, что юноши вообще лучше годятся в судьи произведений, предназначенных пробуждать чувства и образы, нежели люди зрелые или старые. Но, с другой стороны, очевидно, что молодые, не выскнув к чтению, ищут в нем наслаждения, превосходящего человеческую меру, бесконечного и невозможного, а не находя его, презирают писателей; то же случается по тождественным причинам и с людьми иного возраста, но не книжными. Затем юноши, приверженные словесности, отчасти по малой опытности с легкостью могут как в собственных своих писаниях, так и судя о чужих, чрезмерность предпочесть умеренности, напыщенность или жеманство оборотов речи и украшений — простоте и естественности, обманчивые красоты — подлинным. Поэтому молодые, безо всякого сомнения, составляющие часть человечества, по своей правдивости и невинности наиболее расположенную

хвалить то, что кажется им хорошим, редко бывают способны наслаждаться завершенностью и зрелостью произведений словесности. С течением лет растет способность, даруемая нам искусством, и слабеет природная способность. Между тем обе равно необходимы нам. < ... >

## V

Но это только мимоходом. А теперь, возвращаясь на прерванный путь, я скажу, что самые близкие к совершенству писания обладают одним свойством: обыкновенно при втором чтении они нравятся больше, чем при первом. Обратное происходит с книгами, написанными без большого искусства и тщания, однако же не лишенными внешней и мнимой ценности: они, будучи перечитаны, падают во мнении того, у кого оно при первом чтении сложилось благоприятно. Но и те, и другие, прочитанные по разу, обманывают порой даже людей ученых и сведущих, так что посредственным отдается предпочтение перед самыми лучшими. А в наши дни, — прими во внимание, — даже те, для кого ученые занятия — основа жизни, с трудом соглашаются прочитать заново современные книги, особенно того рода, который имеет своей целью доставлять удовольствие. Этого не бывало у древних, если вспомнить, что книг было меньше. Но в наше время, столь богатое писаниями, переданными нам из рук в руки множеством прошедших веков, при том, какое множество просвещенных народов существует сейчас, при чрезмерном обилии книг, ежедневно производимых каждым из них, и непрерывном обмене и торговле между ними; кроме того, при столь большом количестве и разнообразии имеющих письменность языков, древних и новых, и огромном числе всякого рода наук и учений, к тому же настолько тесно переплетенных и связанных между собою, что ученому необходимо постараться в меру своих возможностей объять их все, — при этом, ты сам видишь, времени не хватает даже на первое, а не то что на второе чтение. Поэтому, какое бы мнение ни составилось однажды о новых книгах, оно навряд ли изменится < ... > Так что нынче хуже положение совершенных книг, нежели посредственных, прелести и достоинства которых, истинные или мнимые, как бы ни были они малы, выставлены на обозрение таким образом, что бросаются в глаза с первого взгляда. И со всей искренностью можно сказать, что теперь труд ради совершенства написанного почти что не помогает нам достигнуть славы. Но, с другой стороны, книги, сочиненные, как почти все современные писания, наспех и далекие от какого бы то ни было совершенства, как бы их некоторое время ни прославляли, неизбежно погибают очень скоро, что мы и видим всякий раз в действительности. Правда, теперь пишут так много и столь многие, что даже те из писаний, которые достойны остаться в людской памяти и достигли громкой известности, уносятся дальше

неиссякаемым потоком новых книг, ежедневно появляющихся на свет, и прежде, чем они успевают, так сказать, укоренить свою славу, гибнут без всякой иной причины, уступив место другим, достойным или недостойным, но также ставшим на короткий срок знаменитыми. < ... >

Из этого общего кораблекрушения, которое непрерывно терпят все писатели... выплывают на поверхность лишь книги древних, которые благодаря своей славе, незыблемой и упроченной давностью веков, не только усердно читаются, но и перечитываются и изучаются. К тому же заметь, что современная книга, даже сравнимая по своему совершенству с древними, едва ли может или, вернее, никак не может снискать ту же меру славы, но и доставить столько же удовольствия, сколько получают от чтения древних. < ... > Потому можно сказать, что если бы нынче вышла в свет поэма, равная или даже превосходящая своей ценностью "Илиаду", и была прочитана самым совершенным судьей поэтических творений, она показалась бы ему не столь приятной и услаждающей, как та, и не столь высоко была бы им оценена, ибо достоинствам, присущим самой новой поэме, не пришли бы на помощь ни двадцативосьмивековая слава, ни бесчисленные воспоминания, ни бесконечное почтение, которые помогают достоинствам "Илиады". Точно так же я говорю, что, если бы кто-нибудь внимательно прочитал "Иерусалим"<sup>4</sup> или же "Роланда"<sup>5</sup>, совсем не ведая об их славе или зная ее лишь отчасти, чтение доставило бы ему куда меньше удовольствия, чем доставляет другим. Поэтому в конце концов, если говорить вообще, первые читатели каждого замечательного творения и современники его автора, даже если допустить, что оно стяжает славу в потомстве, наслаждаются, читая его, меньше всех остальных, из чего получается величайший ущерб для писателей.

## VIII

Если благодаря обширным познаниям и глубоким размышлениям (ведь нет ничего столь великого, чего бы я не мог ожидать от твоего таланта) ты поднимаешься на такую высоту, что тебе дано будет, подобно немногим избранным умам, открыть какую-либо существеннейшую истину, не только не известную во все прошлые времена, но и никем из людей не чаемую, совершенно не похожую на всеобщие, но разделяемые и мудрецами мнения, и даже противоположную им, то и тогда не думай, будто за это открытие ты при жизни пожнешь необычайную хвалу. Более того, тебе не воздадут хвалы даже разумные (кроме, может быть, ничтожнейшего меньшинства их), покуда к этим истинам, повторяемым то одним, то другим, постепенно не привыкнут за долгий срок сперва слух, а потом и умы людей. Ведь ни одна новая и чуждая расхожим суждениям истина, хотя бы даже при первом своем появлении она была доказана с очевидностью и

неопровержимостью, словно в геометрии, никогда не могла, если эти доказательства не были осязаемыми, тотчас же войти в мир и утвердиться в нем; это происходило лишь с течением времени, через привычку и пример: люди привыкали верить в нее, как и во все остальное, верили скорее по привычке, а не потому, что восприняли душой неопровержимость доказательств, и в конце концов эта истина, отныне преподаваемая детям, принималась повсеместно, так что с удивлением вспоминали о той поре, когда она была никому не ведома, и высмеивали иные мнения, будь то мнения предков или современников. Все это совершалось тем дольше и тем труднее, чем важнее и существеннее были новые истины, вызывающие недоверие, и чем больше укоренившихся в людских душах мнений они опровергали. Даже острые и искусственные умы нелегко постигают силу доводов, которыми доказываются эти неслыханные истины, ибо они выходят слишком далеко за пределы знаний и обычных суждений названных умов, особенно когда и доводы, и сами истины оспаривают их застарелые верования. В свое время Декарт даже в геометрии, которую он чудесным образом обогатил приспособлением к ней алгебры, а также другими своими открытиями, если и был понят, то лишь весьма немногими. То же произошло и с Ньютоном. < ... >

Нет спора, человеческий род вплоть до нынешних времен с тех самых пор, как возродилось просвещение<sup>6</sup>, непрестанно идет вперед в своем знании. Но его поступь медлительна и размерсна, в то время как люди особые, высокие духом, предающиеся созерцанию этой постижимой человеческими чувствами и разумом вселенной, в погоне за истиной идут или, вернее, бегут очень быстро и не соблюдая меры. Поэтому никак не возможно, чтобы мир, видя резвость их хода, ускорил свой шаг настолько, чтобы вместе с ними или ненамного отставши поспеть туда, где они в конце концов остановятся. Он и не меняет своей походки и иногда достигает того или иного предела лишь спустя столетие или несколько столетий после того, как его достиг какой-нибудь высокий дух.

Люди, можно сказать, всегда и повсюду согласны в том, что человеческое знание обязано своим движением вперед больше всего величайшим талантам, которые рождаются время от времени, то один, то другой, подобные чудесам природы. Я же, напротив того, считаю, что больше всего оно обязано умам заурядным и меньше всего — необычайным. Предположим, что один из них, пройдя все пространство, на какое простираются знания его современников, обогнал их, так сказать, на десять шагов. Однако, прочие люди не только не расположены следовать за ним, но иногда даже смеются над его успехами, не говоря уже о худшем. Между тем посредственные умы, быть может, отчасти опираясь на открытия и мысли ума великого, но главным образом благодаря собственным стараниям делают все вместе один шаг; но этот шаг по причине краткости расстояния, то есть малой новизне

идеи, к тому же созданной не одним, а многими, делают вслед за ними все люди. Так, двигаясь вперед по своей привычке шаг за шагом и благодаря труду и примеру умов таких же, как они, посредственных, люди делают в конце концов и десятый шаг, и идеи того великого признаются за истинные повсеместно и всеми просвещенными народами. Но он, уже давно усопший, не получает и через этот успех даже запоздалой и несвоевременной славы отчасти потому, что уже почти исчезла память о нем или же несправедливое мнение, сложившееся о нем при жизни и укрепленное долгой привычкой, берет верх над всяким иным; отчасти потому, что не его заслугами люди достигли этой ступени познаний; отчасти же потому, что люди не только сравнивались с ним в знаниях, но скоро превзойдут его или, может быть, уже сейчас стоят выше него и могут по прошествии долгого времени лучше доказать и объяснить постигнутые его воображением истины, сделать несомненным то, что он лишь предугадывал, придать более совершенный порядок и форму его открытиям и довести их до полной зрелости. И разве что кто-нибудь из ученых, углубляясь в воспоминания прошедших веков, изучив мнения этого великого человека и сравнив их с мнениями потомков, заметит, как и насколько он обогатил род человеческий, и воздаст ему хвалу, которая вызовет негромкий отклик, а потом снова будет забыта.

Даже если рост человеческого знания, подобно падению тяжелых тел, приобретает с каждым мигом большую скорость, то все равно вряд ли может произойти так, чтобы одно поколение людей изменило взгляды или поняло собственные заблуждения и потому стало сегодня думать иначе, чем думало в прежнее время. Но вместе с тем оно подготавливает для следующего поколения средства познать новое и о многом судить иначе, чем предыдущее. Однако подобно тому, как никто не чувствует движения, несущего нас по кругу вместе с землей, так человечество не замечает, как непрестанно движутся вперед его познания и как то и дело меняются его суждения. Когда мнения меняют, то никто и не думает, что меняет их. Но об этом, несомненно, нельзя было бы не думать, вдруг усвоив идею, чуждую тем, которых придерживались только что. Поэтому современники того, кто первым познал подобную истину, никогда ей не поверят, если только она сразу не сделается очевидной.

## IX

< ... > Хотя труднее всего заслужить славу превосходного поэта, приятного писателя или философа, к которой ты по преимуществу и стремишься, — она же, несмотря на это, приносит меньше всего плодов тому, кто ее добыл. Тебе известны вечные сетования, известны древние и новые примеры нищеты и злосчастья величайших поэтов. Все, что касается Гомера — и поэзии, и личности, —



неясно и, так сказать, сладостно-смутно; и родина его, и жизнь; и все остальное есть как бы тайна, непроницаемая для людей. И среди всей этой неопределенности и неведения есть одно только устойчивое предание: о том, что Гомер был беден и несчастен, — словно молва и память многих столетий не желала оставить места сомнениям в том, что участь всех лучших поэтов разделил и первенствующий в поэзии. Но если даже оставить в стороне все прочие блага и говорить только о почете, — никакая слава не доставит тебе в повседневной жизни меньше почета и не поможет так мало подняться в общем мненье, нежели та слава, о которой мы только что говорили. То ли оттого, что подобная репутация лишается ценности и не внушает веры по той причине, что множество людей пользуется ею незаслуженно, между тем как заслужить ее бесконечно трудно; то ли, скорее, оттого, что почти все люди, хоть мало-мальски образованные, думают, будто сами либо обладают такими же знаниями и способностями к изящной словесности и к философии, либо могут с легкостью их приобрести, и поэтому не признают стоящими выше себя тех, кто действительно всем этим отличается; то ли отчасти по одной, отчасти по другой причине, — но только тот, кто прослыл посредственным математиком, физиком, филологом, знатоком древностей, посредственным живописцем, ваятелем, музыкантом, кто с грехом пополам выучил хотя бы один древний или иностранный язык, наверняка сможет благодаря этому снискать даже в самых лучших городах больше уважения и почета, чем тот, кого самые сведущие судьи знают и прославляют как замечательного философа или поэта или как человека, на редкость искусно владеющего пером. Есть два самых благородных, самых необычайных и блистательных удела, достижимых с наибольшим трудом, две, так сказать, вершины человеческого искусства и науки — поэзия и философия; но мир более всего пренебрегает дарованиями тех, кто ими занимается.

< ... >

## Х

Поскольку нет возможности, чтобы твоя слава помогала тебе жить среди людей, постольку наибольшая польза, из нее извлекаемая, заключается в том, что ты постоянно будешь помнить о ней и радоваться ей в тишине своего уединения, побуждаемый и ободряемый ею к новым трудам, и строить на ней новые надежды. Ведь слава писателя оказывается, подобно всем людским благам, более замагчивой издали, нежели вблизи, и стяжавший славу, можно сказать, никогда не чувствует ее присутствия и не находит ее нигде.

Поэтому в конце концов ты обратишься в воображении к последнему убежищу и оплоту великих душ — к потомству.

< ... >

Но что есть, в сущности, эта наша привычка искать прибежища у потомков? Разумеется, по самой природе нашего воображения мы составляем себе о потомках лучшее мнение, нежели о современниках или даже о живших до нас, — только потому, что о людях, которые еще не существуют, мы не можем ничего знать ни по собственному опыту, ни понаслышке. Но если обратиться к рассудку, а не к воображению, имеем ли мы право верить, что идущие на смену непременно будут лучше тех, кто живет нынче? Я думаю, что все наоборот, и считаю правдивой пословицу, гласящую, что мир, старея, становится хуже. Мне кажется, выдающимся людям было бы лучше, если бы они могли обращаться к жившим до них, ибо их, по словам Цицерона<sup>7</sup>, числом было не меньше, чем будет потомков, а доблестью они были намного выше. Но, уж конечно, даже самого достойного в нынешнем столетии человека предки не наградят хвалой. Допустим, что люди будущего, свободные от соперничества, от зависти, от любви и злобы — не друг к другу, конечно, а к нам, — окажутся более справедливыми ценителями сделанного нами, чем наши современники. Но может ли быть, чтобы они и вообще лучше могли судить о нас? < ... > Есть ли у нас основания верить, что способности сердца, воображения, разума будут у всех людей больше, чем ныне?

Что до изящной словесности, то разве мы не видим, как превратно о ней судили в течение многих веков, как презирали все истинно прекрасное в писаниях, позабыв или осмеяв лучших писателей, и древних и новых, а любили и ценили с упорством лишь ту или иную варварскую манеру, почитая ее за единственно подобающую и естественную, ибо привычное, сколь бы ни было оно дурным и безобразным, весьма трудно отличимо от естественного? И разве не это же бывало в те века и у тех народов, которые во всем прочем отличались благородством и доблестью? Можем ли мы быть уверены, что потомки будут хвалить всегда те же приемы письма, какие хвалим мы, — если, конечно, то, что мы теперь восхваляем, заслуживает похвалы? Ясно, что суждения людей о красотах слога и склонности их непостоянны и меняются в соответствии со временем, с природой мест и племен, с обычаями, с привычками, с характером лиц. И этой изменчивости и непостоянству не может не быть подвержена и слава писателей.

Еще более изменчиво и непрочно положение философии и остальных наук, хотя на первый взгляд оно представляется совсем иным, потому что изящная словесность имеет своей целью прекрасное, а оно во многом зависит от привычек и мнений, тогда как науки имеют целью истину, незыблемую и недоступную переменам. Но поскольку эта истина сокрыта от смертных и только века приоткрывают ее понемногу, постольку, с одной стороны, люди, стараясь узнать ее, строя разные предположения,

принимая за нее ту или другую видимость, делятся в зависимости от своих мнений на множество сект, отчего и в науке рождается немалая разногласица. С другой стороны, по мере приобретения новых познаний, с каждым новым проблеском истины науки непрестанно растут; в силу этого, а также в силу различий преобладающих в разные века мнений и слывущих за неоспоримые истин и самые науки лишь недолго пребывают в одном и том же состоянии и время от времени меняют облик и свойства. Я не буду говорить о первом из этих явлений, а именно о разногласице, хотя она, быть может, вредит славе философа среди потомков не меньше, нежели среди современников. Но подумал ли ты, как должна вредить этой славе среди потомков изменчивость наук и философии? Когда через новые открытия или новые предположения и догадки состояние той или другой науки заметно изменится по сравнению с нашим веком, велико ли будет уважение к писаниям и мыслям тех, кто ныне стяжал наибольшую хвалу в этой науке. < ... >

Поистине та же сила ума, то же усердие в трудах, благодаря которым ученые добывают себе славу, с течением времени становятся причиной ее угасания или затмения. Потому что вклад, который каждый из них вносит в свою науку, тем самым заставляя говорить о себе, влечет за собою новые вклады, из-за которых их имена и книги постепенно приходят в забвение. < ... >

### ХІІІ

Может быть, напоследок ты захочешь узнать мое мнение и мой совет: надлежит ли тебе для твоего блага следовать далее по пути этой славы, если она приносит так мало проку, если ее так трудно приобрести и неизвестно, удастся ли сохранить, если она подобна тени, которую, даже когда она у тебя в руках, ты не можешь ни почувствовать, ни удержать? Я выскажу тебе кратко и ничего не скрывая все, что думаю об этом. Я считаю, что чудесная острота и сила твоего рассудка, благородство и щедрость твоего горячего сердца и воображения среди всех свойств, какими жребий наделяет людские души, принадлежит к числу самых пагубных и приносящих горе тем, кто получает их в дар. Но, раз получив их, трудно избежать их пагубного действия, а с другой стороны, в наше время чуть ли не единственная польза, которую они могут дать, — это та слава, которую можно стяжать, приложив их к словесности или науке. Поэтому мое мнение таково: подобно тому, как бедняки, которых какой-нибудь несчастный случай лишил одного из членов или же изувечил его, ухитряются, насколько возможно, обратить это несчастье к наибольшей своей выгоде, стараясь вызвать в людях сострадание, а через него пробудить их щедрость, так и ты должен во что бы то ни стало извлечь из этих твоих свойств единственное благо, которое они могут дать, как бы оно ни было мало и ненадежно. Обычно

эти свойства считают благодеяниями и дарами природы; люди, лишенные их, часто завидуют тем из живших раньше и из современников, кому они достались в удел. Это противоречит здравому смыслу не меньше, чем если бы здоровый человек завидовал телесным увечьям тех бедняг, о которых я говорил, — как будто эту жалкую долю избирают добровольно ради того злосчастного заработка, который она приносит. Одни посвящают себя деятельности, насколько это позволяет нынешнее время, другие ищут удовольствий, насколько они доступны смертным. Великим же писателям — неспособным по природе или по привычке ко многим из человеческих наслаждений, а многих других лишаящим себя добровольно и нередко презираемых сообществом людей, за исключением немногих, преданных тем же занятиям, — суждено провести жизнь, подобную смерти, и жить, если они этого достигнут, за гробом. Но мы должны идти, сохраняя величие и силу духа, туда, куда нас влечет наш рок; вот что больше всего требуется от твоей доблести и от доблести тех, кто подобен тебе.



*Марьяно Хосе де Ларра*

**ПИСЬМО АНДРЕСУ,  
НАПИСАННОЕ ИЗ БАТУЭКИИ ПРОСТОДУШНЫМ БОЛТУНОМ**

*Пусть же будут разбиты цепи, препятствующие прогрессу; пусть будут устранены все помехи на его пути; пусть падут кандалы, выкованные из заблуждений двух столетий...*

*М. де ля Гандара<sup>1</sup>. Заметки о благе и зле нашей страны.  
Из Батуэкии, сего года.*

Мой дорогой Андрес.

Я простака по натуре, бакалавр, батуэк и, следовательно, уроженец этой нецивилизованной страны, чьи темнота и невежество вошли в поговорку, которая передается из уст в уста, из края в край; я болтун, лишенный общения с кем бы то ни было, в ком тлела бы искорка разума и с кем можно было бы объясниться и разобраться в вопросах, встающих перед моим отупевшим умишком и тревожащих его; а ты житель, столицы и умница!!! Сколько оснований, дорогой Андрес, чтобы писать тебе!

Вот они, мои невежественные размышления, такие, какими они родились, хорошо ли, дурно ли изложенные и изливающиеся бурливым потоком, как вода из плохо закупоренной бутылки.

”У нас в стране не читают, потому что не пишут, или не пишут, потому что не читают?”

Вот какое маленькое сомненья нынче зародилось у меня, только оно и ничего более.

Я полагаю, что писать то, что не будет прочитано, ужасно и печально; но еще более затруднительным мне представляется, при всем моем простодушии, прочесть то, что не написано.

Будь же проклят тот, кто изобрел письмена, аминь! Он рассчитывал на цивилизацию, а все обернулось просвещением! Будь проклята порочная склонность мараить бумагу, аминь!

Впрочем, мы здесь, дорогой Андрес, не грешим этим излишеством. И обрати свои взоры на нас, посмотри — разве мы не живем как у Христа за пазухой? О злосчастная сдержанность! О нетронутые умы, которые не нуждаются в учении! О ясные рассудки, которым нечего познавать! О, как счастливы, тысячу раз счастливы те, кто либо уже все знает, либо еще ничего не желает знать!

Проклятый Гутенберг! Какой злой дух вдохновил тебя на дьявольское изобретение! Было ли известно ассирийцам или египтянам, грекам или римлянам книгопечатание? А разве они не обнаружили дальновидность и не владычествовали над миром?

Ты говоришь, что они были более невежественными, чем мы? А многие ли скончались от этой болезни? Мучился ли угрызениями совести Омар, уничтоживший Александрийскую библиотеку<sup>2</sup>? Ты полагаешь также, что они были более жестокими, чем мы? Но ведь если они допускали преступления и жестокости, то и в наше время преступления и жестокости имеют место на каждом шагу, свершаются ежедневно. Люди, которые ничего не знали, и люди, которые знают, — все же люди и, что хуже всего, дурные люди. Все лгут, обкрадывают, обманывают, клятвопреступничают, грызутся из-за власти, убивают и насилюют. Несомненно, что, убедившись в этой важной истине на собственном примере, мы здесь, в этой чудесной стране, заселенной нами, не утруждаем себя чтением и не тревожим себя писанием.

О блаженное сознание бесполезности образования и знания!

Посмотри-ка на этого богача-книгоиздателя, живущего по соседству с тобой. Подойди к нему и скажи:

— Почему вы не предпримете какое-нибудь значительное издание? Почему вы не платите писателям прилично, чтобы они охотнее продавали вам свои рукописи?

— Ах, сеньор! — ответит он. — Нет ни писателей, ни рукописей, ни читателей. Нам принесят только брошюрки да повестушки, как говорится, по сотне за полушку. К тому же они все тщеславны и заставляют себя долго просить... Нет, сеньор, нет...

— Но разве вы не продаете?..

— Продаю? Ни единой книжонки! Даже даром их никто не берет... Вот если бы это были билеты в оперу или на бой быков...

Видишь там тощего как жердь человека? Это — всем известный литератор и, как говорят, человек способный. Подойди к нему и спроси:

— Когда вы опубликуете какую-нибудь вещицу? Ведь...

— Замолчите, ради бога! — воскликнет он в ярости, как будто ты его обругал. — Я лучше сожгу ее. Среди издателей не найдется

и двух порядочных людей. Ростовщики! Посудите сами, несколько дней назад мне предложили унцию за право собственности на комедию, принятую восторженно; шестьсот реалов за карманный географический словарь, а за справочник по истории Испании в четырех томах — либо тысячу реалов одновременно, либо половину прибыли, конечно после того, как издатель уже получит львиную долю дохода. Нет, сеньор, нет. Что касается театральных произведений; то я получил пятьдесят дуро<sup>3</sup> за комедию, которая мне стоила двух лет труда и которая принесла издателю двести тысяч реалов за гораздо более короткий срок; и при этом еще полагают, что благодетельствовали меня. Вам нетрудно подсчитать, что мне досталось полтора реала на день. И все это после множества интриг, понадобившихся для того, чтобы пьесу пропустили и представили. Знаете, чем я занимаюсь с тех пор? Я сговорился с одним издателем и перевожу с французского на испанский романы Вальтера Скотта, появившиеся первоначально по-английски, а также некоторые романы Купера, в которых речь идет о море, а я в этом ничего не смыслю. Мне платят по двенадцать реалов за печатный лист, и в тот день, когда я не занимаюсь переводами, я сижу голодный. Кроме того, я завел обыкновение братья за перевод первой же попавшейся на глаза пьески, — хорошей ли, плохой ли — все равно: имени своего я не ставлю, а там пусть ее освищут на первом же представлении. Чего вы хотите? У нас в стране к этим вещам не питают склонности.

Тебе знаком вот этот щеголь, который проматывает свое состояние на охоту и выезды, который с одинаковым успехом отплясывает мазурку на вечеринке в панталонах со штрипками и с цилиндром в руках, сегодня — в костюме дипломата, завтра — в гамашах и с мягкой шляпой, а послезавтра — волоча по полу саблю, в короткой безрукавке, штанах до колен и опоясанный факхой<sup>4</sup>? Он тратит тысячу ежедневно, а рента ему досталась — по две тысячи на день. У него нет ни единой книги, он их не покупает и не печалится об этом... Но попробуй, опубликуй какую-нибудь брошюрку, какую-нибудь комедию... Кичась своим происхождением, он наберется наглости послать к тебе верзилу лакея, облаченного в блестящую ливрею, и попросит тебя, автора, живущего этим, одолжить для прочтения один экземпляр, который и стоит-то всего песету. Но и этого ему мало: он даст почитать книгу всем своим друзьям и знакомым, и по этому экземпляру вся столица познакомится с книгой еще задолго до того, как она появится в продаже! И скажи еще спасибо, если он не попросит у тебя еще один экземпляр для подарка. Но спроси его:

— Почему вы не выписываете газет? Почему не покупаете книг, даже в кредит?

— Чего вы от меня хотите? — ответит он. — Что мне прикажете покупать? У нас писать не умеют и ничего не пишут; все здесь — сплошная чепуха.

Как будто бы он и в самом деле знает, сколько хороших книг имеется в продаже.

А вот там переходит улицу издатель газеты... Подзови его и крикни ему:

— Сеньор такой-то!.. Ваша газета... Да знаете ли, что все отзываются о ней одинаково...

— Что вам угодно? — прервет он тебя. — Есть у меня один или два порядочных журналиста, которых незачем мне сейчас называть. Но плачу я им мало, и меня не удивляет поэтому, что они не делают всего, что могли бы. Ведь одному я даю жилище, а другой работает за пропитание...

— Друг мой, замолчите!

— Нет, сеньор, выслушайте, и вы убедитесь, что я прав. Когда-то я призвал четырех ученых и положил им приличное жалованье. Они выпускали газету, полную учености и весьма полезную, но газета не просуществовала и полгода. Ни одна душа ее не выписывала, никто ее не читал. Могу сказать, что это была тайна, которую никто в мире мне не раскрыл. А вот сейчас, выпуская эту вам известную газету, я получаю дохода больше, чем смел мечтать, а расходов у меня куда меньше. Я сказал бы вам и больше... Но... Поймите, вы ошибаетесь: у нас ведь не читают.

— Мне нечего вам сказать в ответ, — ответил бы я ему, — кроме того, что вы поступаете правильно. И ну их к дьяволу, все эти науки и образование!

Так вот мы и живем, Андрес. Бедные батузэки! Половина из них не читает, потому что другая половина не пишет; а эти не пишут, потому что те не читают.

А ведь тебе известно, что все это не мешает нам, батузэкам, обладать завидным здоровьем и хорошим настроением, из чего с очевидностью следует, что для счастья нам не нужны ни писание, ни чтение. Мы здесь рассуждаем подобно той сеньоре, которая, увидев, что одна ее родственница сокрушается, не имея возможности отдать своего сына в коллеж, сказала ей: "Замолчи, глупая. Мой сын не обучался в коллеже и, слава богу, растет сильным и здоровым".

Чтобы подтвердить этот вывод, хочу рассказать о беседе, которую я имел недавно с четырьмя здешними батузэками. В этой беседе все они, по сути дела, сказали мне одно и то же, хотя каждый излагал свою мысль на свой лад.

— Примитесь за изучение родного языка, — сказал я им. — Грамматика даст вам умение говорить...

— С меня достаточно умения устраивать свои делишки, — прервал меня самый откровенный из них с веселым и наглым видом, типичное порождение нашей страны. — Не все ли равно, как говорить — так или иначе.

— Учитесь писать грамотно.

— Глупости! Не все ли равно, как писать вино, через и или е? Разве от этого вино перестанет быть вином?



- Изучайте латынь.
- Священником я не собираюсь стать, и мессу мне не придется служить.
- Ну, тогда греческий...
- К чему, раз меня все равно никто не поймет!
- Обратитесь к математике!
- Складывать и вычитать я уже умею, а этого вполне достаточно, чтобы свести свои счета.
- Изучайте физику. Она научит познавать явления природы.
- Вам нужны еще какие-нибудь явления, кроме тех, которые можно наблюдать ежедневно?
- А естествознание? Ботаника познакомит вас с различными растениями.
- Разве я похож на составителя гербария? Растения, годные в пищу, мне подадут на стол уже сваренными.
- Зоология научит вас различать животных и их...
- Ах, если б вы знали, сколько скотов я вижу кругом!
- Минералогия даст вам представление о металлах и...
- Пока она не научит меня раздобывать звонкий металл, я и пальцем не шевельну.
- Изучайте географию.
- Ах, оставьте! Если завтра мне придется отправиться в путешествие, мне понадобятся деньги, а не география. А о дороге и пункте назначения пусть позаботится кучер почтовой кареты — это его обязанность.
- А языки?
- Я не собираюсь стать переводчиком. А если доведется побывать за границей, то с деньгами меня всякий поймет: ведь деньги — это международный язык.
- Гуманитарные науки, художественная литература...
- Из всякой писанины признаю только векселя. Все остальное — ерунда.
- Хотя бы немного риторики и поэтики!
- Вот-вот, еще и сочинительством заняться! Как будто бы я создан для риторических упражнений! А если речь идет о комедиях, то мне их не писать: в переводе с французского их представят мне на сцене.
- История...
- У меня и так голова пухнет от всяких историй.
- Но вы узнаете о том, что делали люди...
- Замолчите, ради бога! Кто вам сказал, что в историях есть хоть капля истины? Хорошо, если человек не видит того, что творится у него в доме, а вы говорите...
- В конце концов они завершили беседу так:
- Послушайте, — сказал первый, — перестаньте морочить мне голову. У меня имеется майорат<sup>5</sup>, а знания — это для тех, кто не знает, где найти себе пристанище.
- Послушайте, — сказал другой, — мой дядюшка — генерал, и уже в пятнадцать лет я получил эполеты. Со временем я получу и

другие и еще кое-что, не очень-то себя утруждая. Невелика наука — носить кортик на боку и мундир на плечах...

— Послушайте, — сказал третий, — у меня в семье никто не учился, ибо людям голубой крови не пристало быть врачами или адвокатами, или работать подобно простолюдинам... Вы мне скажете, что сеньор такой-то получил высокое назначение за свою ученость и знания, — в добрый час! Каково его происхождение? Почему он обратился к наукам? Нет, я не намерен так опускаться...

— Послушайте, — вмешался четвертый. — Я, правда, не очень богат, но кое-что у меня водится. Мне уже удалось *разжиться* рентой благодаря стараниям моей мамашки. Найдется у меня всегда какой-нибудь друг, а у него — какое ни на есть тепленькое местечко. А для того, чтобы служить чиновником, не требуется быть профессором Алькалы или Саламанки<sup>6</sup>.

Благословен господь, Андрес; благословен господь, столь милосердно просветивший нас на этот счет. Таковы-то основания, на которых покоится наше нежелание учиться; от нежелания учиться проистекает невежество, от невежества — равнодушие и отвращение к книгам, а все это вместе взятое приносит нашей отчизне столько славы, пользы и, главное, покоя.

— Ну, разве не достойна сожаления, — сказал мне один батуэк несколько дней назад, — невероятная мешанина бумаг, вращающихся и обращающихся в странах цивилизованных, как они сами себя величают? Бог ты мой! Такое извержение болтовни, хаос слов, море бумаг, поток книг, что уму непостижимо, откуда набраться перьев, чтобы все это написать, и цифр, чтобы все подчитать, типографий — все напечатать, и терпения — все прочитать! И этим живет бесчисленное множество людей, не знающих иной службы или дохода, кроме профессии литераторов! Подай им науки и искусство, а все это оборачивается прогрессом и всякими открытиями! О, шумливый и болтливый век! Судите сами, есть ли во всем этом хоть какие-нибудь выгоды!

Нет, в этом отношении у нас, Андрес, так много преимуществ перед другими! Так пусть же умирают в нищете дурные авторы в нашей стране; я говорю "дурные" потому что хороших здесь нет\*;

\* В этих общих рассуждениях мы не принимаем в расчет нескольких образованных юношей, немногих самобытных поэтов, одного-двух выдающихся деятелей, которые селятся избавиться от позора, покрывающего нас всех, и выделяются среди всеобщего упадка, светясь, подобно крохотным светлячкам, во мраке темной ночи. Что значат эти немногие исключения? Как бы много чести ни давало им подобное поведение, каких бы похвал они ни заслуживали, их небольшое число недостаточно для опровержения печальной общей истины, полностью нас подавляющей.

Еще менее мы хотели бы забыть в наших выпусках, каких похвал и благодарности заслуживает с нашей стороны просвещенное правительство, нами управляющее и столь содействующее решительному процветанию и просвещению страны. Наоборот, всем должно быть ясно наше стремление способствовать успеху его благостных замыслов нашими слабыми силами. Но разве можно уничтожить в один день порок, бытующий столько лет и даже веков? Разве способно и в силах даже наилучшее правительство

и, что еще интереснее, — точно так же умирали и хорошие писатели, когда они были, и снова будут умирать, когда они вновь появятся. Ибо здесь простодушные умы не наживаются на том, что читают богатые умники. И нет здесь иного, сколько-нибудь основательного тщеславия, кроме того, которое подсказывают авторам их желудки: из опасения, что авторы возгордятся, их никто не хвалит и не кормит. О, христианская идея! Здесь никто не добивается благосостояния литературой, а книгам и газетам не приходится конкурировать друг с другом. Хорошие пьесы здесь ставят лишь изредка, от случая к случаю, потому только, что их мало. А плохие здесь не освистывают, но и не оплачивают из боязни, что каждый день начнут появляться хорошие. Мы здесь столь хорошо воспитаны и нам так нравятся гостеприимство, что опустошаем карманы ради иностранцев. О, бескорыстие! Здесь плохо обращаются с дурными актерами, а еще хуже — с хорошими, чтобы они не возгордились. О, тяга к самоуничтожению! Им не выплачивают даже то, что положено, чтобы они не пресыщались. О, милосердие! Ведь при этом от них не требуют, чтобы они были хорошими. О, снисходительность! Здесь даже не считают профессией — умение писать и достоинством — стремление читать; и то, и другое почитается за развлечение для скучающих и бездельников. Ибо не может быть полезным человеком тот, кто не является по крайней мере идиотом и владельцем майората.

О, счастливая эра, счастливые времена! Продолжайтесь же вечно, и пусть литература никогда не встречает более значительной поддержки\*; пусть никогда не сочиняют у нас пьес, не выпускают газет, не публикуют книг; пусть никто после окончания школы не читает и ничего не пишет.

Ты, Андрес, правда, можешь сказать мне, сославшись на многочисленные афиши, которые развешаны повсюду, что у нас все же пишут и читают. Но я прошу указать мне хотя бы три хорошие книги, вышедшие за последнее время у нас в стране. На остальные же не стоит и внимания обращать, ибо они подобны водопаду, где вода не лучше и не обильнее от того, что он производит много шума; а шумиха вокруг этих книг не что иное, как

сломить, не обессилев при этом, так быстро и столь много препятствий, которые ставят на его пути беззаботность в отношении воспитания, порочность мыслей и, наконец, множество других обстоятельств, перечислять которые не входит в наши намерения, но которые усугубляют зло? Наши недуги, возможно, нуждаются в длительном лечении. Будем же надеяться, что в один прекрасный день мы увидим, как усилия правительства приведут к победе, а пока согласуем свои усилия и его усилия. *(Примеч. автора.)*

\* Повторим мысли, высказанные в первом примечании. Мы могли бы назвать одного-двух превосходных лиц друзьями литературы и искусства и меценатами; мы бы с удовольствием это и сделали, если бы не боялись оскорбить их скромность. Но если этого достаточно для доказательства наличия покровителей, то этого мало, чтобы убедиться в покровительстве. Воздадим же богу — богово, а кесарю — кесарево. *(Примеч. автора.)*

ужасающий грохот знаменитых сукновален ламанчского идадьго<sup>7</sup>. Видимости много, а на деле — капля мутной водички. Нельзя же, в конце концов, считать писателем того, кто ставит палочки на уроках чистописания.

Вот почему, когда я выдвинул свой тезис, я имел в виду не то, что у нас вообще не пишут, а то, что не пишут хорошо. Я вовсе не отрицаю, что бумагомарание — грех нашей эпохи, грех, которого бог никому и никогда не прощает. Я не только не смею отрицать печальную истину, что не проходит и дня без того, чтобы не появилась хоть одна плохая книга, но, наоборот, признавая это, огорчаюсь и испытываю настоящие страдания, как если бы я сам написал эти книги. Но вся эта мешанина и спешка, в которой издаются книги, может быть, как известно, сведена к сотне мрачных и меланхолических романов и ни в коем случае не свидетельствует о наличии у нас национальной литературы. Да и откуда же ей быть там, где почти все, если не все, что публикуется, — переводы. А тот, кто только переводит, — еще не писатель, как еще не художник тот, кто набрасывает рисунок на ткани или переводит чужой рисунок, осветив его через стекло. Это столь неоспоримая истина, что солгать на этот счет и сказать что-нибудь иное меня не сможет заставить даже целая толпа этих писак, к которым вполне применимы термины Рей де Артъеды<sup>8</sup>:

Как капельки дождя под солнечным лучом,  
Едва на землю пав весеннею порой,  
В лягушек обратясь, уж прыгают кругом;

Так точно иногда с печальной быстротой  
И Аполлона луч из пыли поднимал  
Писателей плохих бездарный, нудный рой.

И даже если ты меня самого причислишь к этим писакам и тем самым опровергнешь меня моими же доводами, то в ответ на твой вопрос, почему я также занялся бумагомарательством, хотя знаю не больше других, я напомним тебе, что "с волками жить, по-волчьи выть". Так, если бы я жил в стране хромых, то раздобыл бы себе костыль. А родившись и живя в стране писак и переводчиков, я стремлюсь и должен стать писакой и переводчиком, и никем иным я быть не могу, ибо нехорошо отличаться от других, чтобы на меня указывали пальцем на улицах. Да и не волен человек уберечься от заразы во время повальной эпидемии. Нет смысла также упрекать кого-нибудь за то, что он переводчик, ибо поневоле вынужден при ходьбе обращаться к костылям тот, кто родился безногим или с самого рождения волочит ноги.

А если ты добавишь, что нет никакого преимущества в нашей отсталости по сравнению с другими, я отвечу тебе, что никогда не стремишься к тому, чего не знаешь. Точно так же и тот, кто отстает, обычно полагает, что шагает впереди других, ибо такова уж человеческая гордыня; она закрывает нам глаза повязкой,

чтобы мы не видели и не знали, куда движемся. По этому поводу я расскажу тебе случай, происшедший с одной славной старушкой, и сейчас еще, вероятно, проживающей в селении, название которого я не хотел бы уточнять. Эта старушка из числа больших любителей чтения; она подписывалась на "Газету" и имела обыкновение читать ее всю подряд, от королевских указов до последнего объявления о свободных вакансиях. При этом она никогда не бралась за следующий номер, пока не заканчивала чтение предыдущего. Так вот, жила и читала эта старушка (по обычаям страны) столь неторопливо и понемногу, что в 1829 году, когда я с ней познакомился, она еще сидела над "Газетой" 1823 года, не больше и не меньше. Однажды мне довелось нанести ей визит, и когда, войдя в комнату, я спросил ее, что нового, она не дала мне даже закончить. Бросившись целовать меня с величайшей радостью, она протянула мне "Газету"<sup>9</sup>, которую держала в руке: "Ах, милейший сеньор, — воскликнула она голосом, срывающимся от волнения и сдавленным от рыданий, слез и умиления, — ах, милейший сеньор! Благословен господь! Наконец-то к нам идут французы<sup>10</sup>, и скоро они избавят нас от этой гнусной конституции, которая порождает только беспорядки и анархию!" Она подпрыгивала от удовольствия и хлопала в ладоши. И все это в 1829 году! Так что я был совершенно ошеломлен, убедившись в полной иллюзорности нашей жизни и в том, что совершенно безразлично — отстаем ли мы или обгоняем, раз мы ничего не видим и не хотим видеть впереди.

Я мог бы и еще кое-что порассказать тебе, Андрес, да нет охоты забираться в глубокие дебри. Ограничусь в заключение лишь указанием на то, что мы и сами не знаем, чем обладаем, находясь в несчастливом неведении! Ведь праздное стремление к знанию ведет человека к гордыне, а гордыня — один из семи смертных грехов. Увлечши человечество на скользкий путь тщеславия, этот грех привел, как тебе известно, к крушению Вавилонской башни<sup>11</sup> и, в наказание людям, к смещению языков; этот грех стал также причиной падения титанов<sup>12</sup>, чудовищных великанов, которые также вздумали, движимые той же гордыней, добраться до небес. Мы говорим это, смешивая священную историю с историей мирской, — еще одно преимущество, свойственное нам, невеждам, для которых все эти различия не имеют никакого значения.

Из всего этого ты можешь, Андрес, заключить, сколь вредно знание и сколь истинно все то, что я выше говорил относительно преимуществ, которыми мы, батуэки, обладаем в этом и иных отношениях перед остальным человечеством, а также, какое удовольствие должна доставлять нам справедливая истина, что *"у нас в стране не читают, потому что не пишут, и не пишут, потому что не читают"*.

Это означает, таким образом, что у нас не читают и не пишут, и мы должны благодарить небо за то, что оно ведет нас таким

необычным и удивительным путем к блаженству и вечному покою, столь желанному для всех обитателей этой невежественной страны батуэков, в которой мы имели счастье родиться, имеем удовольствие жить и будем иметь терпение умереть.

С богом, Андрес,  
твой друг, *бакалавр*.



Конрад Фердинанд Мейер

#### ПЛАВТ В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

После знойного солнечного дня общество образованных флорентийцев собралось насладиться вечерней прохладой в саду на вилле Козимо Медичи, "отца отечества"<sup>1</sup>. Чистое вечернее небо в великолепных, но нежно переливающихся тонах меркло над скромным пиром. Среди сидевших выделялся старик с резко очерченной седой головой, и к красноречивым устам его приковано было внимание слушателей. Странно-двойственное впечатление оставляла эта одухотворенная голова: на ясный лоб, на улыбавшиеся углы рта легла тень пережитой скорби.

— Мой Поджо, — сказал после наступившего молчания Козимо Медичи, обводя всех умными глазами, сверкавшими на его безобразном лице, — на днях я снова перелистал книжечку твоих факетий. Разумеется, я знаю ее наизусть, и мне это досадно, так как я могу теперь наслаждаться только тонкими оборотами счастливо найденной формы, но не в силах уже испытать ни любопытства, ни интереса новизны. Совершенно невозможно, чтобы ты при твоей взыскательности не исключил из окончательного издания книжечки тех или иных остроумных и милых шуток, потому ли, что они недосолены, потому ли, что они пересолены. Припомни хорошенько! Преподнеси нашему дружескому кружку, где понимают самый легкий намек и прощают самую дерзкую выходку, одну из твоих *facetia inedita* \*. Рассказывая и прихлебывая, — он указал на кубок, — ты забудешь о своем горе!

\* Неопубликованная факетия (*ит.-лат.*)

Свежую еще скорбь, на которую, как на что-то известное всему городу, намекал Козимо, причинил старому Поджо, ныне секретарю флорентийской республики, а в прошлом секретарю пяти пап, сперва священнику, позже — женатому человеку, один из его сыновей, а они все были богато одарены и все были бездельниками. Несчастный опозорил седины своего отца поступком, который граничил с грабежом и воровством, и сверх того вовлек вступившегося за сына бережливого Поджо в чувствительные материальные потери.

После краткого размышления старик ответил:

— Эти или им подобные шутки, пришедшиеся тебе по вкусу, мой Козимо, украшают, словно пышный венок, лишь темные волосы и не подходят к беззубому рту. — Он улыбнулся и показал еще ровный ряд белых зубов. — И только неохотно, — вздохнул Поджо, — возвращаюсь я теперь к этим юношеским выходкам, как бы ни были они невинны по своей природе, когда на своем сыне я вижу, в какую невыносимую дерзость, даже нечестие выродились — по неведомому мне закону усиления — непринужденность моих взглядов и снисходительность моего понимания жизни.

— Поджо, да ты стал проповедником! — прервал его один юноша. — Ты, вернувший миру комедии Плавта!

— Спасибо за предостережение, Ромоло! — воскликнул, овладевая собою, несчастный отец, ибо он и сам, как добрый сотрапезник, считал неловким обременять хозяйна и гостей своим личным горем. — Спасибо за напоминание! "Находка Плавта" и будет фацетией, которою я сегодня вас, добрые мои слушатели, угощу.

— Я бы охотнее назвал ее "Похищение Плавта", — бросил какой-то насмешник.

Но Поджо, не удостоив его взглядом, продолжал:

— Мне бы хотелось, друзья мои, позабавить вас, а вместе с тем и показать, как несправедлив упрек, которым преследуют меня мои завистники, утверждая, будто я неблагородным, даже предосудительным образом присвоил, или, грубо говоря, уворовал тех классиков, которых я когда-то открыл. Нет ничего лживее.

Улыбка пробежала по лицам собравшихся, и Поджо, сначала державшийся серьезно и как бы уклонявшийся от общего веселья, наконец улыбнулся и сам. Ему, знатоку людей, было известно, как трудно искоренить даже самые ложные предрассудки.

— Моя фацетия, — начал Поджо, пародируя предшествующие обычно итальянским новеллам длинные пересказы их содержания, — повествует о двух крестах, одном тяжелом и другом легком, и о двух варварских<sup>2</sup> монахинях, послушнице и аббатисе. < ... >

В те дни, светлейший Козимо, когда мы отсекали лишние головы у нашей превратившейся в лернейскую гидру святой церкви<sup>3</sup>, я находился в Констанце и посвящал свою деятельность



исполинским трудам вселенского собора. Досути же свои я делил между посещением забавных комедий, в которых на узких подмостках имперского города теснились благочестие, ученость, политика столетия вместе с его папами, еретиками, скоморохами, девками, и — при случае — розыском манускриптов в окрестных монастырях.

Разные следы и признаки утвердили меня в близком к уверенности предположении, что в одном окрестном женском монастыре, в руках варварских монахинь, находится Плавт, куда мог он, заплутав, попасть из опустевшего бенедиктинского монастыря в виде наследства или залога. Плавт! Подумай, светлейший мой покровитель, как много это говорило в то время, когда известны были лишь немногие, невыносимо подзадоривающие любопытство отрывки великого римского комика! Ты поверишь мне, Козимо, что я утратил сон, ибо ты разделяешь и благосклонно поддерживаешь мое преклонение перед обломками разрушенного и более великого, чем наш, мира! Если бы я мог бросить все и поспешить туда, где бессмертный, вместо того, чтобы увеселять мир, гнил в недостойном мраке! Но то были дни, когда всех занимали выборы нового папы, и святой дух уже начал обращать внимание собравшихся отцов церкви на заслуги и добродетели Оттона Колонны, хотя из-за этого нимало не ослабела потребность в ежедневной и ежечасной беготне и разъездах его приверженцев и слуг, среди которых числился и я.

Так случилось, что некий ничтожный и бесчестный искатель рукописей, к сожалению, мой соотечественник, в присутствии которого я в порыве сердечной радости уронил необдуманное слово о возможности столь великой находки, предупредил меня, и — неуклюжий! — не добыв *per fas* или *nefas*\* классика, поселил в аббатисе монастыря, где лежал он, покрытый пылью, недоверие и обратил ее внимание на сокровище, которым она, сама того не ведая, владела.

Наконец руки у меня были развязаны, и я уселся, несмотря на предстоящие выборы папы, на быстрого мула, оставив распоряжение, дабы, когда свершится мировое деяние, ко мне был послан гонец. Погонщик моего мула был привезенный из Кура в Констанц епископом этого города среди его челяди ретиец<sup>4</sup>, по имени Анселино, или Ганс из Спьюги. Он без колебаний принял ту мелочь, которую я ему предложил, и мы сговорились за неслыханно дешевую плату.

Тысячи шуток проносились у меня в голове. Синева эфира, летний воздух, наполовину смешанный со свежим, почти холодным дыханием севера, недорогое путешествие, побежденные трудности папского выбора, предстоявшее мне величайшее наслаждение вновь открытым классиком — все эти небесные благоденствия настраивали меня бесконечно весело, и я слышал

\* По праву или без права, любыми средствами (*лат.*).

пение муз и ангелочков. Мой спутник Анселино из Спьюги, наоборот, предался — как мне казалось — тягостным размышлениям.  
< ... >

— Правда, сударь, — сказал он, — я везу вас почти даром и, хоть я не ангел, не попрошу на выпивку. Мне, знаете, и самому надо в Монастерлинген, — он назвал женский монастырь, цель нашего путешествия, — там Гертруда завтра перепояшет свои чресла веревкой и ее светлые волосы упадут под ножницами.

У здорового малого, в чьих жилах, быть может, текли капли романской крови и который выказывал в манере и речи много природного достоинства, по загорелому лицу катились слезы.

— Клянусь луком Купидона, — воскликнул я, — несчастный влюблен! — И я заставил его рассказать мне простую, но вовсе не легко понятную историю.

Он прибыл в Констанц вместе со своим епископом и, не имея занятий, принялся искать в окрестностях плотничьей работы. Он нашел ее на постройке женского монастыря и вскоре познакомился с жившей поблизости Гертрудой. Они встретились и понравились друг другу. Так стали они охотно и часто посиживать рядышком. "Все было честно и пристойно, — сказал он, — потому что она порядочная девушка". Но внезапно она от него отстранилась, не порвав прямо с любовью, но так, как будто прошел строго назначенный срок, и вдруг он достоверно узнал, что Гертруда готовилась принять пострижение. Завтра ее станут облачать в иноческую одежду, а он будет присутствовать при этом, чтобы собственными глазами убедиться, что честная и совсем не капризная девушка может без какой бы то ни было причины бросить человека, которого она, по ее же признанию, любит, и вдруг сделаться монахиней. А к этому Гертруда, здоровая и сильная, совсем не подходит и — чудное дело, — как можно заключить из собственных ее слов, не имеет никакого влечения, напротив — монастырь ее пугает и страшит.

— Необъяснимо! — грустно заключил ретиец и прибавил, что по милости неба недавно смерть постигла его злую мачеху, из-за которой оставил он отцовский дом, и теперь двери этого дома раскрыты перед ним, как и объятия его седого отца. Таким образом, его голубка нашла бы себе теплое гнездышко, а она во что бы то ни стало и непонятно почему хочет вить его в келье.

Окончив рассказ, Ганс снова впал в мрачную задумчивость и упорное молчание, прерываемое им только для того, чтобы отвечать на мои вопросы о характере аббатисы. Это была мерзкая бабенка, но превосходная управительница, восстановившая запущенное хозяйство монастыря и снова высоко его поднявшая. Родом она из *Abbatis Cella* и прозывается в народе "Бригитточкой из Трогена"<sup>5</sup>.

Наконец среди однообразных виноградников показался монастырь. Анселино попросил меня отпустить его у трактира на дороге, потому что, сказал он, хочется ему в последний раз

увидеть Гертруду только во время ее пострижения. Я согласился и сказал, чтоб он помог мне сойти с мула, дабы я не спеша добрался до близкого монастыря.

Там шло веселье. Посреди луга перед монастырем был выставлен для продажи или для какой-то иной цели большой и неясный предмет. Человек с толстой шеей и в шлеме время от времени трубил в какую-то пронзительно звучащую трубу, может быть, то была военная добыча, может быть, — церковная принадлежность. Подле окруженной монахинями аббатисы и сомнительного герольда<sup>6</sup> в заплатанной куртке, рваных штанах и дырявых сапогах с выглядывавшими из них пальцами миряне и сбежавшие монахи образовали пестрый приятельский круг. Среди крестьян там и сям стояли дворяне (в Турговии<sup>7</sup> — так называется эта немецкая область — в изобилии водилась мелкая и ничтожная геральдическая птица<sup>8</sup>), площадные певцы, цыгане, бродяги, девки и сволочь всякого рода, которую приманил собор, смешивались с ними в один странный венок. Из этого кружка выступал то один, то другой и пробовал поднять выставленный предмет, в котором, подойдя поближе, я признал мрачный, старинный, громадный крест. Казалось, тяжесть его была неопишима, потому что даже самый сильный не мог удержать его в дрожащих руках, крест начинал качаться из стороны в сторону, угрожающе клонился и падал бы, если бы многопудовое бревно не подхватывали бы другие руки и плечи. Веселье и смех сопровождали неудачу. В довершение непристойности всей сцены мужичка-аббатиса, как одержимая, танцевала на свежескошенном лугу, одушевленная ценностью своей реликвии (значение этого базара начало мне выясняться) и, вероятно, монастырским вином, которое без всяких кубков и церемоний в громадных деревянных кружках переходило ото рта ко рту.

— Клянусь икрами божьей матери, — кричала наглая бабенка, — никто не подымет и не снесет креста нашей блаженной герцогини Амаласвинты, этого не сделает даже самый дюжий парень! Но завтра Гертрудочка понесет его, как перышко. Только бы смертное творение не стало суетным. Одному богу слава! Так говорит Бригитточка. Люди, чуду этому тысяча лет, а оно все еще новехонько! Всегда оно сходило без задоринки и, вернее верного, гладко сойдет и завтра. — Надо полагать, славной аббатисе в этот божественный день хмелек ударил в голову.

Сопоставляя это забавное происшествие с подобными же, виденными мною в моем благословенном отечестве, я начал его понимать и оценивать — именно так, как через час, получше познакомившись с делом, я окончательно его выяснил. Но течение моих мыслей внезапно и неприятным образом было прервано визгливым криком шутихи в белом клобуке, с пунцовым лицом, с глупо-хитрыми глазками, едва заметным носом пуговкой и отделенным от него на невероятное расстояние животным ртом...

— Эй, что это там за итальянский писец! — закричала она мне. В этот день я оделся просто, по-дорожному, и на моем лице видны были следы моего классического<sup>9</sup> происхождения. — Подойдите чуточку поближе и подымите-ка крест блаженной Амаласвинты!

Насмешливые взгляды всех обратились на меня, мне очистили дорогу и, по алеманскому<sup>10</sup> обычаю, грубыми пинками протолкнули вперед. Я отказывался, ссылаясь на известную вам, друзья, короткость и слабость моих рук. — Рассказчик размашистым жестом показал их.

Тогда бесстыжая, посмотрев на меня, воскликнула: "Зато у тебя, шельмеца, длинные пальцы!" И действительно, мои пальцы от ежедневного упражнения в писании развились и стали гибкими.

В теснившейся кругом толпе раздался оглушительный хохот, смысл его был мне непонятен, но показался оскорбительным, и я решил припомнить это аббатисе. С негодованием я удалился, завернул за угол расположенной по соседству церкви и, найдя открытым главный вход, вошел в нее. Благородные дуги окон и арок вместо модных стрельчатых сводов и глупых французских завитушек снова настроили меня на ясный и спокойный лад. Медленно шел я через храм, привлеченный изваянием, которое при свете, падавшем сверху, мощной массой выступало из священного полумрака и казалось чем-то своеобразно-прекрасным. Я подошел поближе и не был разочарован. Высеченная из камня группа представляла две соединенные крестом фигуры, и этот крест по величине и пропорциям совершенно походил на тот, который был выставлен на монастырском лугу, так что нельзя было сказать, который из них сделан по образцу другого. Могу-чая, увенчанная терниями женщина несла его сильными руками на мощном плече почти горизонтально, но все же поникла под его тяжестью, как показывали резко выдававшиеся под одеждой колени. Рядом с этой склоненной женщиной-исполином, немного впереди, фигура поменьше ростом, с веночком на миловидной голове, сострадательно подставляла свое слабое плечо под невыносимое бремя. Старый мастер — намеренно, а может быть, по недостатку умения — грубо обработал тела и одежды, отдав свои силы и пламенное одушевление души изображению голов, выразивших отчаяние и страдание.

Пораженный этим, вступил я на шаг назад, ища хорошего освещения. И вдруг вижу — против меня, с другой стороны группы, стоит коленопреклоненная девушка, почти столь же крепкого телосложения, как и каменная герцогиня, вероятно, местная уроженка, крестьянка из окрестностей. Она отбросила капюшон белой рясы назад, на бремя светлых кос и сильную шею, жаждущую быть открытой.

Девушка поднялась — погруженная в задумчивость, она заметила меня не раньше, чем я ее, — отерла рукою бежавшие из глаз слезы и хотела удалиться. Вероятно, это была послушница.

Я задержал ее и попросил объяснить мне значение изваяний, сказав ей на своем ломаном немецком языке, что я один из чужеземных отцов собора. Эти слова, видно, не произвели на нее впечатления. Очень просто она рассказала мне, что группа изображает старую королеву или герцогиню, основательницу этого монастыря, которая, принося в нем свои обеты, пожелала приступить к пострижению с обвитой терниями головой и с крестом на плече.

— Говорят, — серьезно продолжала девушка, — она была великой грешницей, отравившей супруга, но столь могущественной, что мирское правосудие не могло покарать ее. Тогда господь пробудил ее совесть, и она впала в большую скорбь, отчаявшись спасти свою душу! После долгого и тяжелого покаяния она, стремясь убедиться, что бог ей простил, велела сколотить этот огромный и тяжелый крест, который с трудом мог поднять даже самый сильный мужчина того времени. Она бы пала под его бременем, если бы мать божия в видимом образе милосердно не подняла его вместе с ней, подставив рядом с земным свое небесное плечо.

Русокудрая германка рассказала не этими словами, а другими, более простыми, даже неуклюжими и неумелыми, но их нельзя перевести с варварского языка на нашу литературную тосканскую речь<sup>11</sup>, не становясь мужиковатым и смешным, а это, господа, вовсе не подошло бы к величавому выражению гордых голубых глаз и грубых, но правильных черт лица, которые я видел перед собою.

— Рассказ правдоподобен, — заметил я, так как это деяние варварской королевы показалось мне соответствующим времени и нравам темной середины первого тысячелетия. — Это, может быть, и правда!

— Это правда! — подтвердила девушка страстно и кратко, мрачным и убежденным взглядом посмотрев на группу, и снова собралась уйти. Но я опять задержал ее вопросом: не Гертруда ли она, о которой рассказывал мне сегодняшний мой проводник Ганс из Спьюги? Она без страха, даже без смущения подтвердила это, и улыбка медленно пробежала от твердых углов рта, словно блуждающий свет, по смуглому, но уже побледневшему от монастырской жизни лицу.

Подумав, она молвила:

— Я знала, что он придет на мое пострижение, и что ж, пусть будет так. Когда он увидит, как упадут мои отрезанные косы, это поможет ему меня забыть. Раз уж вы здесь, достопочтенный господин, я обращаюсь к вам с просьбой. Когда он возвратится с вами в Констанц, просветите его, почему я от него отказалась, после того как я — и она еле заметно покраснела — честно и согласно добрым нравам была с ним дружна. Много раз я собиралась рассказать ему, в чем дело, но прикусывала себе язык, так как это тайная сделка между мною и матерью божией, а тут

болтать не годится. Вам же, знакомому с духовными тайнами, могу я о ней сообщить, не изменив слову. Потом вы передадите Гансу столько, сколько можно и покажется вам нужным, для того, чтобы он не считал меня ветреной и неблагодарной и чтобы я не осталась у него такою в памяти.

Дело же вот какое. Когда я была еще малым ребенком — мне минуло десять лет, и отец мой уже умер — матушка моя тяжело и безнадежно захворала. И охватил меня тогда страх, что я останусь в мире одна-одинешенька. Из-за этого страха и из-за любви к матушке принесла я за себя обет непорочной деве Марии на двадцатый мой год, если сохранит она жизнь матери примерно до того времени. Так она и сделала и поддержала ее жизнь до последнего праздника тела господня, когда матушка мирно успокоилась. В это время как раз Ганс плотничал в монастыре и заодно сколотил гроб и моей матушке. Так как была я теперь одна, нечего удивляться, что он мне полюбился. Он славный и бережливый малый, как почти все итальянцы, "скромен и вежлив", как они там за горами говорят. К тому же могли мы беседовать друг с другом на обоих языках, потому что мой отец, сильный и храбрый человек, много раз не во вред для себя сопровождал за горы тощего боязливого купца и привез оттуда домой парудругую итальянских словечек. И если называл меня Ганс *saга bambina\**, я в ответ звала его *roverella\*\**, и оба слова звучат хорошо, хотя я не хочу бранить и наших любовных слов, если только произносить их с честными мыслями.

Наступил срок моего обета, и напоминал он о себе с каждым ударом церковного колокола.

Часто мне кто-то нашептывал такие, например, мысли: "Обет, данный невинным ребенком, не знающим, что такое мужчина и что женщина, не может тебя связать!" или: "Божья мать так добра, что подарила бы тебе твою матушку даром и без всякой мзды!" Но я возражала: "Торг остается торгом!" и "Давши слово держись!" Она сдержала свое слово, сдержу свое и я. Без веры и честности не мог бы существовать мир. Как это говаривал покойный мой отец? "Я сдержу слово черту, не только господу богу".

Теперь, достопочтимый господин, послушайте, что я думаю! С той поры, как мать божья несла крест, вспомогавшая королеве, она с незапамятных времен, заселяя ее монастырь, помогает нести бремя всем без различия послушницам. У нее стало это привычкой; она делает это, не раздумывая. Когда мне минуло девять лет, я собственными глазами видела, как Лизонька из Вейнфельдена — хилое создание, здесь приносившая свои обеты, — шутя и играючи несла на своем кривом плече тяжеленный крест.

Теперь говорю я матери божьей: "Если хочешь меня, бери! Хоть я — кабы ты была Гертрудой, а я матерью божьей, — может

\* Дорогая девочка (ит.).

\*\* Бедняжка (ит.).

быть, не стала бы ловить на слове ребенка. Но все равно — торг остается торгом! Есть только одна разница. Герцогине с ее тяжелыми грехами было в монастыре легко и хорошо; мне будет холодно и горько. Если ты снесешь для меня крест, то облегчи мне и сердце; иначе случится несчастье, мать божья! Если же не можешь ты облегчить мое сердце, дай мне лучше на мой позор унасть перед всеми и растянуться на земле”.

Видя, как эти тяжелые мысли, текущие медленно, глубоко, бороздили морщинами юный лоб Гертруды, я лукаво улыбнулся:

— Ловкая и разумная девушка выберется из трудного дела, разок споткнувшись!

Ее голубые глаза загорелись.

— Не думаете ли вы, господин, что я стану плутовать? — разгневалась она. — Пусть помогут мне бог-отец, сын и дух святой в последний мой часок за то, что честно понесу я крест всей силой своих рук! — И она порывисто подняла их, точно уже несла крест, так что рукава рясы и рубашки спали далеко вниз. Я же, как истый флорентиец, посмотрел на стройные и сильные девичьи руки с чувством художественного наслаждения. Она заметила это, нахмурилась и, негодуя, повернулась ко мне спиной.

Когда она ушла, я уселся в исповедадьне, опустив голову на руки, и стал думать, — конечно, не о варварской девушке, а о римском классике. Вдруг сердце мое возликовало, и я громко воскликнул:

— Спасибо вам, бессмертные! Подарен миру любимец музыки комической! Плавт найден!

Друзья, стечение обстоятельств ручалось мне за успех. Не знаю, мой Козимо, что думаешь ты о чуде. Сам я думаю о нем довольно свободно, без суеверия и дерзновения. Я терпеть не могу прямолинейных людей, которые там, где необъяснимое явление собирает вокруг себя туманный круг суеверий, без всякого исследования и различия или во все целиком верят, или все так же целиком отвергают.

Я думал, что тут можно было бы найти и то и другое: и непонятное и обман.

Тяжелый крест был подлинный, и величаяя грешница, варварская женщина, благодаря исполнской силе отчаяния и душевного порыва, может быть, его подняла. Но такое деяние не повторяется, в течение тысячелетия оно шарлатански подделывалось. Кто виноват в этом обмане? Заблудшее благочестие? Расчетливая жадность? — Все было покрыто мраком времен.  
< ... >

Существование поддельного креста, в котором я был убежден, как в моем собственном бытии, дало мне в руки одно оружие. Другое предоставили мне события того времени.

Трех низложенных пап и двух сожженных еретиков для преобразования церкви было недостаточно. Отделы собора занимались исправлением различных недостатков. Один из них, в

котором заседали *doctor christianissimus\** Жерсон и суровый Пьер д'Айи<sup>12</sup> и некоторое время секретарем был я, восстанавливал благочестивый порядок в женских монастырях. Обсуждались опасные и ненадежные в женских руках мнимые чудеса и дурные книги, непригодные для чтения сестер. Замечу мимоходом — эти вопросы рассматривались обоими французами с прямо непонятным для нас, итальянцев, педантизмом, без малейшей шутки, как она ни напрашивалась. Достаточно сказать, что эти рассуждения образовывали основы, а мнимое чудо — ут́ок моей пряжи; и так была готова сеть, которую я неожиданно накинул на голову аббатисе.

Медленно поднялся я по ступеням хора и повернул направо в ризницу, со столь же смело перекинутым высоким сводом, и там нашел покрытое хвастливыми надписями пустое хранилище, где обычно находился прикрепленный к стене крест, куда он должен был снова возвратиться с монастырского луга. Две маленькие двери вели в боковые помещения. Одна оказалась закрытой; другая была отперта, и я вошел в каморку, скудно освещенную круглым окном, затемненным паутиною. Вдруг я вижу — на двух-трех изъеденных червями полках лежит в куче монастырская библиотека.

Все существо мое пришло в возбуждение, словно я был влюбленным юношей и вошел в комнату Лидии или Гликеры<sup>13</sup>. С трепещущими руками и дрожью в ногах приблизился я к пергаментам, и, найдя я среди них комедии умбрийца<sup>14</sup>, я бы покрыл их ненасытными поцелуями.

Но увы, я перелистывал лишь собрания ритуалов и литургий, священное содержание которых оставляло меня, обманувшегося, холодным. Ни одного списка Плавта! Мне сказали правду. Неуклюжий искатель, неловко пытавшийся схватить клад, вместо того чтобы овладеть им, дал ему скрыться в недостигаемые глубины. Я нашел в пыли — единственная добыча — "Исповедь" блаженного Августина<sup>15</sup>, и так как я всегда любил эту хитроумную книжечку, то машинально сунул ее в карман, приготавливая себе, по обыкновению, чтение на вечер. Вдруг, точно молния, влетела моя маленькая аббатиса, приказавшая притащить назад в ризницу крест и высмотревшая меня через оставшуюся открытой дверь в библиотеке, так что я, ошеломленный страстью и разочарованием, этого и не заметил, и бабенка, словно молния, говорю я, налетела на меня с руганью и бранью, и мало того — непристойными прикосновениями она оцупала мою одежду и снова извлекла на свет божий лежавшего на груди моей отца церкви.

— Любезнейший, — завизжала она, — по вашему длинному носу я сейчас же заметила, что вы один из тех итальянских книжных хорьков, что с некоторого времени шныряют по нашим монастырям. Но запомните — есть разница между нагрузившимся

\* Христианнейший доктор (*лат.*).



вином монахом сангалленского монастыря<sup>16</sup> и расторопной уроженкой Аппенцелля. Я знаю, — ухмыляясь, продолжала она, — за каким салом скребутся кошки. Они подстерегают книжку одного шута, которую мы здесь храним. Никто из нас не знал, что такое в ней написано, пока недавно не пришел один итальянский мошенник, поклонившись нашим пресвятым реликвиям, не попытался под своим длинным духовным облачением, — она показала на мое одеяние, — утащить с собой этого скомороха. Тогда я сказала самой себе: "Эй, Бригитточка из Трогена, не давайся в обман! Должно быть, свиная кожа стоит золота, раз итальянец не побоялся ради нее веревки". Ведь у нас, голубчик, говорится: "Кто крадет веревку, тот повиснет на веревке!" Бригитточка не дура, она призывает на совет ученого приятеля, человека без лукавства, попа из Диссенхофена<sup>17</sup>, который похваливает наше вино да иногда продельывает с сестрами забавные шутки. Рассмотрев эти дурацкие пожелтевшие завитушки, он и говорит: "Тьфу, пропасть, достопочтенная мать, ведь вещичка стоит денег! На нее постройте вы для вашего монастыря сарай и давяльную! Возьмите книжечку, добрая женщина, засуньте ее под свой пуховик, лягте на *rodex*\* — так он называется — и, ради венца божьей матери, лежите на нем, пока не объявится честный покупатель!" Так Бригитточка и сделала, хотя с той поры спать ей немного жестко.

Я сдержал улыбку, подумав о ложе умбрийского поэта, которое, вероятно, ему приутоновили за его грехи три судьи подземного мира<sup>18</sup>, и, приняв свойственный мне в иных обстоятельствах достойный вид, соорил важно-негодующую мину.

— Аббатиса, — сказал я торжественным тоном, — ты меня не признаешь. Перед тобой стоит посланник собора, один из отцов, собравшихся в Констанце, один из священных мужей, поставленных для реформы женских обителей. — И я развернул великолепно написанный счет из гостиницы; близость запрятанного комического поэта меня воодушевила.

— Во имя и по уполномочию семнадцатого и вселенского собора! — стал читать я. — Да не будут руки христианской весталки<sup>19</sup> запятнаны одним из тех опасных для нравственности, на латинском или на местном языке написанных сочинений, содержанием коих нанесен уже вред их душе... Благочестивая мать, я не в силах оскорбить ваши целомудренные уши именами этих отверженных... Поддельные чудеса преследуем мы с неумолимой строгостью. Там, где будет установлен сознательный обман, совершаемый постоянно или единожды, виновная — будь она аббатисой — без всякого снисхождения заплатит за кощунство смертью на костре.

Аббатиса побледнела как мертвец. Но лживая баба тотчас же овладела собой и выказала удивительное присутствие духа.

\* Зад (*лат.*). Здесь игра слов. *Podex* употреблено вместо *codex* — вид рукописной книги.

— Слава и хвала богу, — воскликнула она, — за то, что, наконец, устраивает он порядок в своей святой церкви! — И, любезно ослабившись, она вытащила из угла в шкафу изящно переплетенную книжечку. — Эту книжку, — сказала она, — оставил нам один итальянский кардинал, наш гость, читавший ее перед сном, после обеда. Священник диссенховский, просмотрев ее, высказал мнение, что это самое непристойное и богомерзкое из всего выдуманного со времени изобретения литер, да к тому же еще клириком сочиненное. Благочестивый отец, с полным доверием передаю я вам в руки эту мерзость. Освободите меня от чумы! — И она подала мне мои фацетии!

Хотя эта неожиданность была злостной проделкой скорее случая, чем аббатисы, я почувствовал себя задетым и раздосадованным. Я начинал ненавидеть маленькую аббатису. Ведь наши писания являются плотью и кровью нашими, и я льщу себя мыслью, что в моих сочинениях остаюсь всегда невинным, не оскорбляя ни стыдливых муз, ни непогрешимой церкви.

— Хорошо, — сказал я. — Хотелось бы мне, аббатиса, чтобы ты оказалась не подлежащей наказанию также и во втором, более существенном пункте! Поблизости от собора и на глазах его, — сказал я с упреком, — ты с таким базарным криком обещала объявить собравшемуся народу чудо, что теперь уже не можешь пойти на попятный. Не знаю, было ли это разумно. Не удивляйся, аббатиса, твое чудо будет испытано! Ты сама потребовала приговора над собой!

Колени бабенки задрожали, а глаза ее забегали.

— Ступай за мною, — строго сказал я, — и рассмотрим орудие чуда!

Подавленная, она последовала за мной, и мы вошли в ризницу, куда принесли назад подлинный крест, и он так мощно прикипал к стене, покрытый глубокими трещинами, отбрасывавший гигантскую тень в широком священном полумраке, как будто лишь сегодня великая грешница, отчаявшись, схватила его и пала под ним на колени, уже касаясь лицом каменных плит в то мгновение, когда появилась и помогла ей царица небесная. Я попробовал его поднять, но не мог сдвинуть с места. Тем смешнее казалось мне кощунство — подмена этого подавляющего бремени игрушкой. Я решительно повернулся к высокой узенькой дверке, за которой предполагал найти поддельный крест.

— Ключ, аббатиса! — приказал я. Бабенка глядела на меня остановившимся взглядом, но нагло ответила:

— Потерян, владыко епископ! Больше десяти лет назад.

— Женщина! — сказал я с угрожающей серьезностью. — Дело идет о твоей жизни! Там, напротив, остановился слуга моего друга графа Доккабурго. Туда я пошлю или пойду за помощью. И если здесь найдется сделанный по образцу настоящего более легкий крест, ты будешь гореть, грешница, на костре, как еретик Гус, не менее виновная, чем он!

Наступило молчание. Затем бабенка — не знаю, стучали ли у нее зубы, или она скрежетала ими — выгатила старинный ключ с витой бородкой и открыла дверь. Мне было лестно, что разум мой меня не обманул. К стене высокой комнатки, напоминающей каминную трубу, был прислонен черный крест с глубокими трещинами. Я его тотчас же схватил и своими слабыми руками без труда поднял на воздух. В каждом из своих возвышений и углублений, во всех подробностях подложный крест был сделан по образцу настоящего и так походил на него, что мог обмануть самый пронзительный взгляд, и отличался только тем, что был в десять раз легче. Вследствие быстрой смены событий и поверхностного осмотра мне так и не удалось определить, был ли он внутри пустой или сделан из пробки либо из какого-нибудь другого легкого вещества.

Я был удивлен совершенством подделки, и у меня мелькнула мысль: "Только большой художник, только итальянец мог его сделать". А так как я воодушевлен славою своего отечества, у меня и вырвалось:

— Великолепно! Мастерская работа, — конечно, в похвалу не обману, а вложенному в него искусству.

— Проказник, проказник! — оскалила зубы и погрозила мне пальцем внимательно следившая за мной бесстыжая бабенка. — Вы меня перехитрили, и я знаю, что придется платить! Берите вашего скомороха, которого я вам сейчас принесу, под мышку, держите язык за зубами и отправляйтесь с богом!

Когда на семи холмах встречались два авгура и, по крылатому слову древности, улыбались друг другу<sup>20</sup>, это было приятнее, чем гадкий смех, который исказил лицо моей аббатисы и мог быть передан такими циничными словами: "Знаем мы, где зарыта собака; все мы мошенники, и нечего вам прикидываться".

Я думал о том, как бы наказать негодную бабенку...

Когда я уселся внизу, в комнате настоятельницы, пропитанной запахом монастырского вина, вместе с моей аббатисой, я почувствовал такую тоску по невинной игре музыки и такое отвращение к изворотливым уловкам застигнутой врасплох лгуни, что решил сразу со всем покончить. Она должна была мне поведать, как ее посвятили в многовековое мошенничество, и я положил конец делу двумя-тремя преторскими эдиктами<sup>21</sup>. Аббатиса создалась. Ее предшественница перед смертью заперлась вместе с нею и своим духовником, и оба они доверили ей как залог богатства монастыря передаваемое по наследству от настоятельницы к настоятельнице поддельное чудо. Духовный отец, — болтливо рассказывала она, — не находил конца похвалам почтенной старине обмана, его глубокому смыслу и поучающей силе. Это чудо лучше и убедительнее, чем любая проповедь, воочию показывает народу первоначальную тяжесть и последующую легкость благословенной богом жизни. Подобная символика так вскружила голову бедной бабенке, что она, не переводя

духа, смело уверяла, будто не совершила ничего дурного, а честна с младенческих лет своих.

— Я прощаю тебя ради матери-церкви, на которую пламя твоего костра бросило бы лживый отблеск, — оборвал я доводы этой мужицкой логики и кратко приказал сжечь поддельный крест после того, как еще раз сыграют объявленное чудо, — ему по соображениям осторожности воспрепятствовать я не решился, — и без промедления выдать Плавта.

С бранью и проклятиями аббатиса повиновалась. Она подчинилась повелениям Констанцкого собора в том виде, в каком их определили мои уста, хотя и без ведома собравшихся отцов, но вполне согласно со смыслом и духом их решений.

Когда Бригитточка, ворча, принесла мне манускрипт, я забрался в довольно удобную комнату расположенной у стены монастыря гостиницы, вытолкал из дверей невежу и заперся с комическими масками умбрийца. Никакой шум мне не мешал, кроме звонкой детской песни, которую пели на лугу перед моим окном крестьянские девочки и которая делала мое уединение еще более радостным...

Явившийся на свет классик не был темным мыслителем или возвышенным поэтом — нет, то было нечто близкое и навеки приковывающее, — в нем заключались широта мира, биение жизни, хохот римского и афинского рынка, насмешки и игра слов, страсти, дерзновения человеческой природы в смягчающем преувеличении кривого зеркала смеха! Глотая одну вещь, я жадными глазами уже обращался к следующей.

Я кончил остроумного "Амфитриона", уже раскрылся передо мною "Клад" с несравненным скрагой, когда я остановился и откинулся назад в своем кресле: у меня заболели глаза. Надвигались сумерки. На лугу девочки уже с четверть часа неумоимо повторяли глупую хороводную песенку < ... > Я зажег лампу и принялся читать комедию о горшке<sup>22</sup>.

Только когда в моем светильнике вышло масло и буквы стали расплываться перед усталыми глазами, я бросился на ложе и забылся беспокойным сном. Вскоре снова окружили меня комические маски. Здесь хвастался громкими словами солдат, там опьяневший юноша целовал возлюбленную, которая подставляла его поцелуям свою стройную шею. Вдруг — неожиданно — посреди веселой античной толпы появилась босоногая широкоплечая германка, опоясанная веревкой, как рабыня, влекомая на торг. И мнилось, она вперля в меня из-под мрачных бровей полный упрека и угрозы взгляд.

Я испугался и проснулся. Брезжило утро. Одна створка маленького окна стояла открытою навстречу летнему зною, и я услышал с близко расположенного хора монастырской церкви монотонный призыв, который, рождая страх, перешел сначала в подавленные стоны, а потом в отчаянный крик...

Я не мог вынести крика отчаяния, раздавшегося так близко. Я набросил одежду и в сумерках по галерее проскользнул к

хору, говоря себе самому, что в то время, как я читал Плавта, в состоянии Гертруды произошло, должно быть, какое-то изменение. На пороге самого решения, наверно, она охватила неодолимая уверенность в том, что она погибнет в этой среде, в небытии или еще хуже — в гниении монастыря, взаперти с гнусными монахинями, их презирая и им ненавистная.

В дверях ризницы я остановился, прислушиваясь, и увидел Гертруду, стиравшую к настоящему тяжелому кресту свои руки. Они были окровавлены, и, может быть, колени ее тоже кровоточили, ибо всю ночь лежала она в молитве; ее голос охрип, и ее речь к богу, после того как она истощила и свое сердце и свои слова, была настойчива и груба, как если бы то было последнее усилие.

— Мария, мать божья, сжался надо мною! Дай мне пасть под твоим крестом, он мне не под силу! Я содрогаюсь при мысли о келье! — И она сделала такое движение, точно отрывала от тела змею; и потом, на высоте душевной муки, попирая даже стыд, воскликнула: — Мне нужны солнце и облака, серп и коса, муж и ребенок...

Перед лицом такого горя я все же не мог не улыбнуться, услышав это человеческое признание, высказанное пред непорочной, но улыбка замерла у меня на губах... Гертруда внезапно вскочила и вперила большие глаза, горевшие на бледном лице, прямо на стену, где — не знаю откуда — появилось красное пятно.

— Мария, мать божья, сжался надо мною! — снова вскричала она. — Моему телу в келье не хватает места, и я ударяюсь головой о потолок. Дай мне пасть под твоим крестом, он мне тяжел! Если ты облегчишь его на моем плече, но не сможешь облегчить мне сердце, тогда, — и она уставилась на злосчастное пятно, — смотри, чтобы как-нибудь утром не нашли меня с раздробленным черепом!

Меня охватило бесконечное сострадание, и не только сострадание, но и щемящий страх.

Гертруда, утомившись, присела на ларь, в котором хранилась какая-нибудь святыня, и стала заплетать свои белокурые волосы, разметавшиеся в борьбе с божеством. При этом она напевала полупечально, полулукаво, но не своим мощным альтом, а другим, высоким, детским голосом:

Я в монастыре увяну,  
Там монашкой бедной стану...

пародируя ту хороводную песню, в которой осмеивали ее крестьянские дети.

То было безумие, подстерегавшее ее, чтобы проскользнуть с нею в келью. Но Optimus Maximus\* воспользовался мною, как своим орудием, и приказал мне спасти Гертруду, чего бы мне это ни стоило < ... >

\* Лучший и величайший (лат.)<sup>23</sup>.

Так как я дал аббатисе, страшившейся предательства, слово не вступать более в сношения с Гертрудой, я решил по древнему обычаю приблизить к послушнице истину тремя символическими действиями, приблизить настолько, чтобы ее могла понять даже крепкая голова крестьянки.

Я подошел к кресту, не обращая внимания на Гертруду.

— Если мне хочется потом признать какой-нибудь предмет, я делаю на нем отметку, — педантически произнес я и, вынув острый дорожный кинжал, сделанный для меня нашим знаменитым согражданином, ножовщиком Панталоне Умбриако, сделал на самой середине креста, где пересекаются его брусья, глубокий надрез.

Далее, сделав пять размеренных шагов, я расхохотался во все горло и, выразительно жестикулируя, начал:

— Что за смешное лицо было у моего носильщика в Констанце, когда пришла моя поклажа! Он наметил себе тяжелейший по виду огромный сундучище, засучил рукава до локтей, поплевал, этаким мужлан, на руки и, напрягшись изо всех сил, вдруг легко взбросил на плечи ничтожное бремя... пустого ящика. Ха-ха-ха!

Наконец, в-третьих, я с глупою торжественностью встал между настоящим крестом и поддельным в полузапертой камерке и, несколько раз показав пальцем то в ту, то в другую сторону, загадал:

— Правда на просторе, ложь на запоре! — раз, — и я ударил в ладони: — Ложь на просторе, правда на запоре!

Я искоса бросил взгляд на сидевшую в полутьме послушницу, чтобы прочесть по выражению ее лица действие трех изречений оракула. Я заметил на этом лице напряжение беспокойной мысли и первые проблески пламенного гнева.

После этого я снова вернулся к себе в комнату, войдя в нее с такой же осторожностью, как и оставил, затем, бросившись одетым на ложе, вкусил наслаждение сна, даруемое чистой совестью, пока не был разбужен шумом собравшейся у монастыря толпы и гудевшими у меня над головой праздничными колоколами.

Когда я снова вошел в ризницу, Гертруда, бледная как смерть, словно ее вели на плаху, только что вернулась с исстари, полагаю, установленного для бесчестной подмены креста крестного хода к соседней часовне. Облачение божьей невесты началось. В кругу певших псалмы монахинь послушница опоясалась грубою с тремя узлами веревкой и затем медленно разула свои сильные, но благородные по форме ноги. Ей подали терновый венец. Он в отличие от символического поддельного креста был сплетен из крепких, настоящих терний и со всех сторон покрыт острыми шипами. Гертруда жадно схватила и с жестоким наслаждением так крепко надела его себе на голову, что теплый дождь ее молодой крови брызнул и тяжелыми каплями покатился по ее немудрому лбу. Величавый гнев, приговор господний уничтожающе пылал в голубых глазах крестьянки, так что монахини начали

испытывать перед нею страх. Шесть из них, вероятно, посвященные аббатисой в благочестиво-мошенническую проделку, возложили затем на ее честное плечо поддельный крест с такими ужимками, точно они едва его несут, и с такими глупо-лицемерными рожами, что мне в пору было узреть божественную истину в терновом венке, открыто почитаемую и прославляемую людской ложью, за спиною же ею осмеиваемую.

Все остальное пронеслось как буря. Гертруда бросила быстрый взгляд на то место, где мой кинжал оставил глубокий надрез на подлинном кресте, и нашла поддельный нетронутым. Презрительно позволила она кресту, не обнимая его руками, соскользнуть со своего плеча. Затем она снова схватила его с резким, вызывающим смехом и, ликуя, разбила о каменный пол на жалкие обломки. Один прыжок — и она уже стояла перед комнатой, куда на этот раз запрятали настоящий, тяжелый крест, открыла дверь, отыскала и подняла крест в диком веселье, словно нашла сокровище, без всякой помощи возложила его себе на правое плечо, торжествуя обвила его своими мужественными руками и медленным шагом направилась со своей ношей к хору, на открытом возвышении которого ее должна была увидеть толпа, затаившая дыхание, стеснившаяся плечом к плечу, — знать, попы, крестьяне, весь народ, заполнивший обширный корабль церкви. С воплями, бранью, угрозами и мольбами аббатиса вместе со своими монахинями стремительно преградила ей путь.

Но она, подняв кверху сияющие глаза, воскликнула:

— Теперь, мать божья, честно веди торг! — И сильным голосом, как проносящий в тесной толпе бревно работник, закричала:

— Эй, дорогу!

Все раздалось, и она вступила на хор, где ее ожидало во главе с викарием епископа местное духовенство. Взгляды всех направились на отягченное плечо и залитое кровью лицо. Но настоящий крест был для Гертруды слишком тяжел, и богиня не облегчила ей ноши. Она шла, прерывисто дыша, клонясь все ниже, все медленнее, словно ее нагие ноги прилипали и прирастали к земле. Она слегка споткнулась, оправилась, споткнулась опять, упала на левое, потом на правое колено и попыталась с крайним напряжением сил подняться опять. Тщетно! Вот левая рука, отделившись от креста, вытянувшись и упершись в пол, на мгновение выдерживает всю тяжесть тела. Вот она подалась в суставе и согнулась. Увенчанная терниями голова тяжело склонилась вперед и громко ударилась о каменные плиты. С шумом повалился на падающую девушку крест, оставленный ее правою рукой лишь теперь, в ошеломляющем падении.

Это была кровавая истина, а не шутовской обман. Единый общий вздох вырвался из тысячи грудей.

Испуганные монахини извлекли Гертруду из-под креста и поставили ее на ноги. Падая, она потеряла сознание, но чувства

скоро вернулись к сильной девушке. Она провела рукой по лбу. Ее взор упал на сломивший ее крест. И по лицу ее разлилась улыбка благодарности за ниспосланную ей помощь богини. И с небесною веселостью произнесла она шутовские слова:

— Ты не хочешь меня, пречистая дева; ну, так меня хочет другой!

Еще в терновом венце, окровавленных шипов которого она, казалось, не чувствовала, Гертруда поставила ногу на первую из ведущих вниз хора ступеней. В то же время ее глаза обегали ряды народа, пока не нашли того, кого искали. Стояло глубокое молчание.

— Ганс из Спьюги, — громко и отчетливо начала Гертруда, — берешь ли ты меня в законные жены?

— Ну конечно! От всего сердца! Только сходи вниз! — радостно ответил из глубины храма твердый и уверенный голос.

Она так и сделала и спокойно, но светясь счастьем, спустилась вниз по ступеням, снова простая крестьянка, быстро и охотно позабывшая о том захватывающем зрелище, которое в своем отчаянии явила она толпе, позабывшая потому, что могла теперь отдаться своему скромному человеческому желанию и вернуться в повседневность. < ... >

Ваш покорный слуга проскользнул назад в переулочек, чтобы потихоньку взять в комнате Плавта. Возвращаясь обратно крадучись, с манускриптом под мышкой, я столкнулся с аббатисой, которая, как добрая хозяйка, заботливо тащила в большой корзине на кухню обломки поддельного креста. Я пожелал ей счастья распутать запутавшийся узел. Но Бригитта считала себя обманутой и яростно закричала:

— Убирайтесь вы оба к черту, итальянские мошенники! < ... >

"Plaudite amici!"\* Я кончил. Когда также кончился Констанский собор, продолжавшийся дольше, чем эта история, я вместе с все милостивейшим государем моим, его святейшеством Мартином V, вернулся в Италию через горы. В гостинице в Сплиттене, еще с северной стороны опасного перехода, я узнал в хозяевах Анселино и Гертруду, обретавшихся в полном здравии; она была не в душной келье, а в пронизываемом ветром скалистом ущелье с ребенком у груди и брачным крестом на плече.

Да будет, светлейший Козимо, эта "facetia inedita" благосклонно принятым даром в придачу к списку Плавта, который я в этот час дарю тебе, или, вернее, отечеству, для которого ты "отец", и науке, ибо твои залы с накопленными в них сокровищами открыты всем.

Я хотел передать тебе этот единственный манускрипт по завещанию, чтобы не вызывать для себя, еще живого, десятикратных ответных даров, которыми ты привык по своей, всегда тебе присущей щедрости оплачивать всякий почтительно приноси-

\* Аплодируйте, друзья! (лат.)<sup>24</sup>.



мый тебе дар. Но, — меланхолично вздохнул Поджо, — станут ли мои сыновья уважать мою последнюю волю?

Козимо любезно ответил:

— Благодарю тебя и за то, и за другое: и за твоего Плавта, и за твою факетию. Без всяких угрызений совести ты, тогда еще молодой, ее пережил и разыграл. Теперь, уже в годах, ты рассказал ее нам с мудростью, присущей твоим годам. Это, — он поднял благородный кубок с изображением смеющегося сатира, — это выпью в честь моего доблестного Поджо и его русокудрой германки!

Гости выпили и посмеялись. Затем беседа от Плавта перешла к величию нынешнего столетия и тысячам других открытых сокровищ и развернутых пергаментов древности.



*Сальваторе ди Джакомо*

#### ИЗ-ЗА РИНАЛЬДО

*Ринальдо был отважным паладином<sup>1</sup>  
И совершил геройских дел немало...\**

Был уже час дня, а Торе-кантасторий<sup>2</sup> все еще заставлял себя ждать. Между тем мальчишка, который обычно носил за ним его четыре скамеечки, давно явился и, как всегда, расставлял их под широким навесом таможенных складов. Пока он в ожидании хозяина всматривался в даль — не покажется ли тот в конце набережной, — кое-кто уже усаживался, приглашая приятеля последовать его примеру и перекинуться словечком. Мало-помалу скамейки заполнились, на них не осталось ни одного свободного места. Завязалась беседа.

— Куда же это запропастился Торе? — спросил какой-то матрос у носильщика, набивавшего трубку.

— А я почему знаю? — ответил тот, не поднимая головы. — Наверное, забыл книгу дома.

— Дон Пепе, — крикнул юнец-каморрист<sup>3</sup>, у которого из-под надетого набекрень картуза выбивалась прядь волос, — а про драку сегодня будет?

Вопрос был обращен к сухонькому подвижному старичку, сидевшему на конце скамьи. Дон Пепе, который был когда-то настоящим морским волком, а ныне торговал просмоленными корабельными тентами, слыл на набережной самым неистовым

\* Пер. стихов Ю.Б.Корнеева.

из поклонников славного рыцаря Ринальдо. За энтузиазм, доходивший до обожания, его прозвали "тронутым".

Таких "тронутых" среди постоянных слушателей насчитывалось больше десятка, и историю Ринальдо они знали не хуже, чем "Отче наш". Торе устраивал две читки в день, разделяя их полу- часовым перерывом, и "тронутые" ежедневно присутствовали на обеих, являясь за своей долей острых ощущений.

Дон Пепе, зажав между колен свою палку, а во рту коротенькую трубку, невозмутимо покуривал.

— Вроде бы да, — сказал он пареньку, с нетерпением ожидавшему ответа. — Не помню в точности, боюсь соврать. В прошлом году я как раз в этот день схватил холеру, — да сохрани вас от нее господь, — и мне не пришлось слушать.

И так как трубка уже начинала хрипеть, он хотел было выколотить ее о ладонь.

Парень протянул руку.

— Дайте затянуться разок-другой...

Дон Пепе передал ему трубку. Парень зажег спичку о штаны, указательным пальцем примял табак и с наслаждением сделал несколько затяжек...

— Уважаемые синьоры! — раздалось в тишине.

Все обернулись. Перед скамейками, подавшись всем телом вперед и выставив левую ногу, стоял Торе; в правой руке он важно сжимал свою палочку. Разговоры смолкли: чтение начиналось.

Торе вытащил темный платок, обернул им левую ладонь, открыл книгу, заложившую полоской бумаги, откашлялся, стремительно сплюнул сквозь зубы, шагнул вперед, медленно поднял палочку и, как всегда нараспев, начал:

Капризница фортуна сумасбродно  
Возносит одного, другого губит.  
Она не тех, в ком сердце благородно,  
А лишь злодеев закоснелых любит.

Вокруг стояла мертвая тишина. Слушатели, внимательные и заинтересованные, походили на учеников начальной школы: мужчины, у которых в волосах пробивалась седина, сидели, боясь двинуть бровью, скрестив руки и во все глаза глядя на Торе, — он начинал входить во вкус. Если кто-нибудь коротко кашлял или шумно, изо всех сил сморкался, это почти никого не отвлекало. То и дело продавец холодной воды обходил скамейки, пользуясь короткими передышками; монетки в два центизимо, легонько звякнув, падали на дно стаканов. Потом слушатели, освеженные питьем, удваивали внимание.

Торе уже покрыл мостовую вокруг себя целым полукругом плевков; он комкал платок, обмотанный вокруг ладони, резкими движениями палочки отбрасывал на затылок свою соломенную шляпу. Вновь пришедшие, не найдя свободных мест, толпились позади чтеца; превратившись в слух, они вытягивали шеи через плечо впереди стоящих. Карабинеры приостанавливались,

окидывали толпу быстрым взглядом; какая-то влюбленная пара со скачущим видом отошла в сторону: чтение не доставляло ей ни малейшего удовольствия...

До слушателей то и дело доносились приглушенные раскаты смеха, сопровождавшие пронзительное верещание Пульчинеллы<sup>4</sup> в руках какого-то кукольника. Солнце со слепящим блеском лилось с голубого неба на широкую улицу; раскаленная мостовая обжигала ноги. Ринальдо приходилось туго — отряд сарацин подстерегал его в лесной засаде. Эта опасная ситуация вселила в слушателей необыкновенную тревогу. В испуге они широко раскрыли глаза и разинули рты.

Проезжавшая мимо телега на минуту заглушила голос чтеца резким скрипом колес. Это вызвало у слушателей недовольный ропот.

— Надо же, — заметил кто-то, оборачиваясь на шум, — на самом интересном месте!

— Тише! — прошипел дон Пепе, окинув говорившего яростным взглядом.

Дав клятву освободить Анджелику, Ринальдо, грустный и задумчивый, попадает в самую чащу леса. Стоит безлунная, беззвездная ночь. Два десятка сарацин появляются из зарослей и набрасываются на него сзади...

— Изменники, собаки-сарацины! —  
Вскричал Ринальдо, подбирая камень...

Но лишь одного успеваешь он сразить, остальные окружают его, хватают за руки, осыпают ударами, отнимают меч, ему...

Скрутили руки после краткой свалки,  
И вот уже Ринальдо пленник жалкий!..

Наступило гробовое молчание. Торе опустил свою палочку и закрыл книгу, заложив ее полоской бумаги. Первое чтение было окончено.

Но слушатели, задетые за живое поражением Ринальдо, пребывали в глубоком унынии. Как! Ринальдо побежден! Ринальдо взят в плен! Ринальдо! Они все еще не могли поверить в такое несчастье.

— Не ожидал я этого, — сказал какой-то старик дону Пепе, уставившемуся в землю.

И так как тот не отвечал, он, поднимаясь со скамьи, добавил:  
— Они его врасплох застигли...

Дон Пепе продолжал неподвижно сидеть, сложив на коленях руки, приоткрыв рот и не произнося ни слова. Он ждал, ему казалось, что это еще не все — ведь не могла же история Ринальдо закончиться так плачевно. Предаваясь этим сомнениям, он вдруг заметил, что скамейки пустеют. Он поднял голову — последние слушатели медленно поднимались со своих мест; недовольство читалось на их лицах, сквозило в каждом их движении.

Поражение Ринальдо опечалило всех. Дон Пепе собрался было встать, и едва не поскользнулся на арбузной корке. Он вытянул руку с палкой, стукнулся коленом о скамью. Скамья упала со зловещим стуком. Тогда дон Пепе, не выдержав, поднялся. Он весь был во власти впечатлений, и падение скамейки, на которое его взвинченные нервы отозвались словно на новое несчастье с героем, добавило к ним еще одну досадную нотку. Он сошел с панели и глазами искал чтеца.

Торе был в двух шагах. Он стоял перед продавцом яблок, и тот отвечивал ему на один сольдо своего товара. Они препирались из-за какого-то яблока, которое продавец упорно не желал класть на весы.

Дон Пепе подошел ближе и тронул Торе за локоть.

— Что, будет еще и вторая читка? — тихонько спросил он.

— Ну да, через полчаса... Да оставь ты его в покое, чтоб тебе пусто было! — закричал он продавцу, который хотел было снять яблоко с весов. — Вот не возьму их совсем, и поминай как звали!

— А... он выйдет из темницы? — отважился спросить дон Пепе.

Торе не обратил внимания на этот вопрос; он наклонился, чтобы взять яблоки; самое маленькое он уже успел съесть, запихав его целиком в рот.

— Ну? — произнес он.

— Ринальдо освободится?

— Откуда я знаю, — сказал Торе, вытирая о пиджак другое яблоко. — Все может быть.

Обернувшись, он окликнул мальчишку, носившего скамейки. Дон Пепе, смущенный и униженный, смотрел, как он удаляется. Последовать за Торе он постеснялся, хотя весь был как на иголках. Он спросил у какого-то синьора, который час; было около трех.

— Пойти, пожалуй, домой, — решил он, — все равно я завтра узнаю, чем это кончилось.

Он двинулся вперед мелкими шажками. Подул сильный ветер; пыль от угля, сгружаемого с барж, кружиладь и хлестала дону Пепе по лицу. Ему пришлось остановиться: пыль забила ноздри и больно покалывала глаза. Пока он протирал их, ветер сорвал с него фуражку.

— Иисусе! — вымолвил он, теряя терпение. Стиснув зубы, он смотрел на фуражку, которая катилась по земле и наконец остановилась, угодив под колесо проезжавшей мимо телеги. Тогда он неторопливо приблизился к ней, ворча себе под нос, и дал ей свирепого пинка, подкрепив его крепким словом. Все эти маленькие неприятности невыносимо раздражали дону Пепе. Злоключения Ринальдо снова и снова отчетливо оживали в его душе. В памяти всплывала сцена сражения, она вызывала мысли, не делавшие чести Ринальдо. Победитель, он навсегда бы остался для души и фантазии слушателей персонажем сверхъестественным, неодолимым, удивительным. Побежденный, он превращался

в обыкновенного человека, и его превосходства над остальными людьми как не бывало. Ах, черт побери!

— Как же он теперь освободит Анджелику? — на ходу рассуждал дон Пепе. Он шагал, заложив руки за спину, глядя в землю и ничего не замечая. — Хоть бы ему удалось бежать! Неужели он так и не выйдет из темницы? Это мы еще увидим! Его замыслили убить? Ха! Так он и будет смотреть на это сложа руки! Его связали веревками? Ну и что же? Он их разорвет. Поделом ему, сам напрашивался! Не терпелось ему, видите ли, пуститься наудачу по ночному лесу, да еще в одиночку... Черт бы побрал этих хвастунов сарацин! Сейчас они небось веселятся! Понятное дело — мы, мол, схватили Ринальдо, заточили его в темницу... Да вы его схватили обманом. Он бы вас всех одним ударом уложил! А он-то хорош! Мог всех их живьем слопать! Тьфу!..

И он свирепо сплюнул.

— Ну и свинья, — пробормотал он, теряя всякое уважение к герою.

Когда он, необычайно взволнованный, подходил к дому, пробило три. Жена и дочь ждали его. С балкона самый младший из ребятишек кричал так пронзительно, что было слышно на лестнице:

— Дедушка пришел! Дедушка пришел!

— Наконец-то! — воскликнула тетушка Нунция, подбоченившись. — Ты бы еще ночью явился! Курица-то, наверное, совсем уже разварилась...

Через открытую дверь виднелась столовая, заливая солнцем, огромный стол, покрытый белой скатертью, сверкающие стаканы, симметрично расставленные приборы, груды тарелок в углу на буфете. Был виден букет цветов, обернутый узорчатой бумагой, рядом стояла суповая миска, которую доставали в торжественных случаях. От продолговатой корзинки, где громоздились фузарские устрицы, еще живые ракушки и свежие финики, шел крепкий аромат моря.

Когда они прошли в спальню и дон Пепе снял пиджак, Нунция достала чистую рубашку и приблизилась к нему.

— Что случилось, Пепе? — мягко спросила она. — Может быть, тебе стало плохо?

Он тотчас же ухватился за это предположение.

— У меня нет аппетита, — пробормотал он, — что-то нутро не принимает...

И прежде чем она успела разразиться одной из своих обычных тирад, добавил:

— Давай сделаем так: подождем еще полчаса, все равно вы уже столько терпите... А я немного вздремну, может быть после сна мне захочется есть.

Она смотрела на него с удивлением и любопытством. Пепе опустил глаза и, не зная, что сказать еще, ждал, чтобы она ушла.

— Понятно тебе? — произнес он после минутного молчания. Глаза жены пристально и назойливо изучали его. — Ничего особенного не случилось. Скажи Наннине, пусть потерпит еще немного.

Нунция пожала плечами и вышла, бормоча себе под нос. Нет, это сущее наказание: позавчера разбились три тарелки и убежал из дому кот; сегодня день ангела Наннины, и вот опять беда! Ну хорошо, так и быть, они подождут.

Дон Пепе остался один. Приспущенное на балконной двери жалюзи погружало комнату в полумрак. Он прилег на кровать и попробовал закрыть глаза. Минуты две-три лежал, раскинув руки, открыв рот, задыхаясь от томительного зноя. Большая муха с надоедливym жужжанием билась о стекла.

С улицы доносился глухой шум экипажей, и под сверкавшим на солнце навесом балкона стремительно проносились их огромные тени. Зевая, он принялся их разглядывать. Между тем несчастье Ринальдо, так нелепо угодившего в руки этих нехристей, не давало ему покоя.

”Убежит он или нет?” — думал дон Пепе, усевшись на постели и обхватив руками колени. Крупные капли пота стекали по его лицу.

”Он убежал” — нашептывал ему один голос. ”Еще нет”, — возражал другой. Оба они мучили его. Некоторое время он колебался, раздираемый противоречивыми побуждениями, как человек, который хочет и не может решиться. Внезапно, не в силах больше сдерживаться, он соскочил с кровати, надел башмаки, натянул пиджак, зачихал в карман свою фетровую шляпу и на цыпочках вышел из комнаты. В передней он остановился и прислушался.

Из комнаты доносился голос Нунции, которая, чтобы занять ребятишек, рассказывала им какую-то забавную историю. Любопытные дети то и дело перебивали ее своими наивными вопросами.

Дон Пепе улучил момент. Осторожно, как вор, отворил он входную дверь и плотно прикрыл ее за собой, чтобы не осталось щели. Некоторое время он стоял, прислушиваясь, что делается внутри, потом, не оборачиваясь, бегом устремился в переулок. Улица, щедро залитая горячим солнечным светом, была почти пуста: ни души на притворенных балконах, защищенных длинными зелеными ставнями, ни души около лавок. В конце улицы стояла наемная коляска с поднятым верхом; внутри, свернувшись калачиком, прикорнул кучер; изнемогающая лошадь, которую донимали жестокие мухи, била копытом о мостовую.

Чтец Торе жил против фруктового рынка в небольшом особняке, которому было лет сто. Его окно со ставнями, источенными червями и былой, выгоревшей на солнце росписью, было закрыто. На подоконнике в треснувшей вазе увядала одинокая маргаритка. Запыхавшийся дон Пепе остановился у калитки и, задрав голову, несколько раз крикнул:

— Торе! Торе!

Никто не отвечал. Тогда, подобрав с земли камень, он принялся стучать в калитку, производя адский шум.

Окно со стуком распахнулось. Из окна высунулся Торе, прилегший было отдохнуть после обеда, и посмотрел вниз, на улицу.

— Кто там? — спросил он хриплым, раздраженным голосом.

— Я, — ответил дон Пепе, задрав голову. — Я насчет того дела...

— Какого еще дела?

— Я хотел спросить у вас... Простите... Ринальдо спасся или нет?

Торе всплеснул руками и сочно выругался.

— Кровь Иудина! — воскликнул он. — Чтоб вам обоим провалиться, и ему и вам! Да, да, он спасся, он перебил сарацин!<sup>5</sup>

Дон Пепе замер с открытым ртом, пока его собеседник старался затворить раму.

— Послушайте...

— Завтра! — заорал Торе и захлопнул окно перед самым его носом.

Стоя на пустынной улице, дон Пепе некоторое время ошалело смотрел на окно. То, что с ним обошлись так грубо, не задевало его: он весь трепетал от радости.

— Молодчина Ринальдо! — пробормотал он.

Он медленно пустился в обратный путь. Теперь он разговаривал сам с собой, то и дело останавливался и, засунув руки в карманы, думал. Проходя мимо табачной лавки, он купил сигару, зажег ее и, глубоко затягиваясь, стал курить, не переставая что-то бормотать себе под нос.

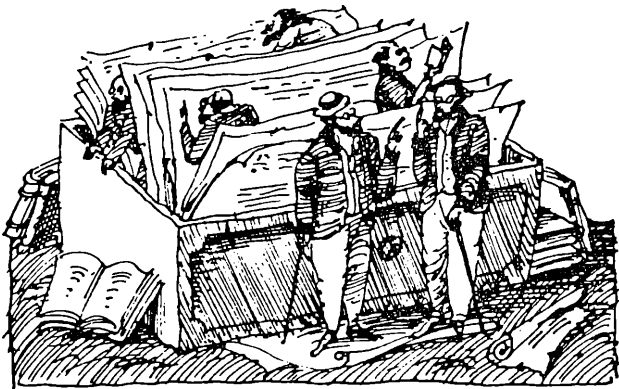
Когда наконец все уселись за стол и Нунция поставила перед ним дымящуюся тарелку с супом, он все еще улыбался. На него были устремлены любопытные взгляды всей семьи.

— Вы знаете, — произнес он ни с того ни с сего, не в силах больше сдерживаться, — по правде говоря, я слушал "Ринальдо"...

Последовало молчание. Он сделал глоток, вытер губы салфеткой и, подняв ложку, заключил:

— Славных дел он натворил, чтоб мне провалиться, ах, до чего же славных!..





---

*Мигель де Унамуно*

---

#### КАК СЛЕДУЕТ СОСТАВЛЯТЬ БИБЛИОТЕКУ

Вы хотите, сеньор, составить себе библиотеку и просите у меня совета. Дать такой совет куда труднее, чем вы полагаете.

Прежде всего мне надобно знать, что вы подразумеваете под словами "составить библиотеку", вернее даже — с какой целью вы ее составляете и какое применение найдете вы книгам из вашей библиотеки. Ведь не могу же я заподозрить вас в вульгарном заблуждении, что книга якобы существует прежде всего для того, чтобы ее читали, а уж потом — чтобы ее бережно хранили.

Как-то раз хвалил я одному своему приятелю, художнику, работы другого художника, на что он, скривившись презрительно, сказал: "Да этим картинам место только на стенке в музее!" Все равно, как если бы мы, желая высказать пренебрежение какой-либо книге, сказали: "Да этой книге место только на полке в библиотеке!" И ведь это факт, что есть люди, которые верят, будто лучшая книга — это зачитанная до дыр. Мне даже известно, что один писатель — умнейший, талантливейший человек, немного, правда, свихнувшийся на библиофильстве, — рассказывая о чудовищных глупостях, которые содержатся в некоей старинной книге, очень редкой, и цитируя кое-что, добавлял: "Ну да хватит об этих глупостях, они не перестают быть глупостями оттого, что мы обнаружили их в такой редкой книге." Большинство же смертных, не таких умных, как этот библиофил, сочтут, что именно перечисленные глупости и делают книгу столь редкой; ну и понятно, такие люди никогда не потеряют подобную книгу, не разорвут, в ней для них словно бы заключено нечто жизненно важное, представляющее особую ценность.

Следует, однако, уважать душевные порывы людей, одержимых любой манией, лишь бы эта мания не представляла опасности для общества, а среди маний особенно достойных уважения — библиомания, она не только из самых невинных, но бывает даже и благотворной. Вот вам уже и ясна разница между теми, кто презирает книгу, которая коротает свой век на библиотечной полке, и теми, кто ценит ее именно за то, что она — книга редкостная и место ей — на библиотечной полке.

Ну, коли вы уж решили составить себе солидную библиотеку, то советую вам приобретать только полные собрания сочинений, по возможности — на языке оригинала, особенно если речь идет о философских сочинениях; покупайте и отдельные издания, подготовленные самим автором. Я хочу подчеркнуть, что вам не следует брать интересующие вас книги в серийных изданиях, в этих так называемых коллекциях, библиотеках, циклах... Любая книга обесценивается оттого, что входит в любую из этих серий. Только несерьезный читатель может читать изданную таким образом книгу.

Надеюсь, нет необходимости разъяснять вам, что такое "несерьезный читатель", но на всякий случай — извольте. Несерьезный читатель это тот, кто читает не те книги, которые читаю я; ну, а если он их и читает, или я предполагаю, что он их читает, то читает он их иначе, нежели я, и уж, конечно, понимает их не так, как понимаю я, и они не убеждают его так, как убеждают они меня. Кроме того, если он не упоминает о том, о чем упоминаю я, или не принимает этого в расчет, то я должен, следуя простой логике, считать, что он этого и не знает. Ведь невозможно, чтобы, читая то же, что и я, он не думал бы так же, как я.

Покончив сразу с этим важнейшим методологическим отступлением, возвращаюсь к вашему намерению составить библиотеку.

Если вы хотите этим заняться всерьез, то начинать вам следует с каталога. Библиотеки, составленные прежде чем составлен их каталог, бывают обычно несколько сумбурными. Если, просматривая книги какой-нибудь частной библиотеки, вы обнаружите там всего понемножку — кое-что из философии, кое-что из богословия, из литературных сочинений, из естественных наук и тому подобное, но все это с большими лакунами, и если там на полках рядом с творениями классиков стоят те общедоступные учебники, излагающие науки в сокращенном виде, которые один несостоявшийся преподаватель как-то назвал водопойными колодами, то вы можете смело утверждать, что это — библиотека *dilettante*\*. А *dilettante*, как, полагаю, вы не можете не знать, чудище исключительно опасное и зловредное для святейшего и высочайшего дела гуманитарной культуры.

Вижу, вижу, как вы встревожились и хотите спросить у меня: что же такое *dilettante* и дилетантизм. Но мне, кому так прекрасно

\* Любителя, дилетанта (*ит.*).

удалось определить понятие "несерьезный читатель", тем самым подразумевая и определение понятия "несерьезность", не удастся дать четкого определения понятию "dilettante" по той простой причине, что я тоже не из тех, кто это знает. Знаю лишь, что это нечто гнусное и отвратительное, нечто, говоря кратко, исключительно зловредное для святейшего и высочайшего дела гуманитарной культуры. Культуры, которой я тоже не могу дать определения и едва ли когда-нибудь сумею это сделать.

Постарайтесь, значит, избежать соблазна составить себе такую дилетантскую библиотеку, позаботьтесь изо всех сил о каталоге. Надобно, чтобы библиотека ваша была, по возможности, монолитной, единой, основательной, по-настоящему классической, составленной из новых книг и из тех авторов, которых можно всегда процитировать, не боясь опозориться.

Как я полагаю, вы отлично осведомлены, что книги и пишутся ради того, чтобы из них делали выдержки и щеголяли цитатами, и что те, кто их писал и пишет, родились, дабы их имя упоминалось рядом с цитируемым пассажем из написанных ими книг. Если же мы почти никого не цитируем, значит мы хотим, чтобы думали, будто все, что мы говорим, нам самим пришло в голову, а это знак гордыни, осуждаемой испокон веков. В таком случае — уж лучше бы никто не знал, что мы вообще умеем читать.

Итак, прежде всего составьте каталог. Без каталога нет библиотеки. С тех самых пор, как этот вопрос исследовал и опубликовал результаты своих изысканий великий ученый дон Фульхенсио<sup>1</sup> — я подробно рассказал о нем в книге "Любовь и педагогика", но в вашей библиотеке эта книга не должна числиться, — с тех самых пор вы знаете, что цель науки это нечто иное, как каталогизация вселенной, необходимая, чтобы иметь возможность вернуть ее господу богу в полном порядке.

Грустное зрелище представляют частные библиотеки в наших испанских городах, в местечках, деревнях. Если бы можно было обследовать их и создать — уж конечно, а posteriori\*; — генеральный каталог этих разношерстных библиотек, с указанием количества имеющихся в них экземпляров той или иной книги, а затем вообразить себе как бы среднеарифметическую библиотеку — она вырисуется из сопоставления наличия или отсутствия тех или иных книг, — мы получили бы вполне адекватное представление о нашем интеллектуальном упадке. А он таков, что внушает ужас. Тогда бы и увидели, что составлением большинства библиотек руководит случайность или прихоть. Элемент объективный при их составлении — случайность; элемент субъективный — прихоть; то есть в том и другом аспекте иррациональное начало.

По-моему, я все ясно сказал.

А происходит это — не сомневайтесь! — из-за того, что начали не с каталога, он ведь все равно что меню для хорошего стола.

\* На основании опыта (лат.).

Рациональное же меню в особенности должно быть рекомендовано врачом-диетологом. Почти все виды диспепсий и разные другие, куда более серьезные, расстройства организма проистекают из бессистемного питания. Вам хорошо известно, что существуют хронические желудочно-кишечные заболевания, трудно диагностируемые, плохо поддающиеся лечению, от которых можно мгновенно избавиться, стоит только взамен выпавших собственных зубов вставить искусственные. И вот как раз этот момент, связанный со вставными зубами, очень-очень важен, пожалуй, я должен как-нибудь поговорить с вами об этом гораздо более подробно. Но в другой раз, а сейчас с вас достаточно знать, что вставные зубы — важнейший, иной раз и незаменимый орган или инструмент для методического разжевывания или пережевывания. Ведь некоторые люди, жалея денег на вставные зубы, глотают, не разжевывая, все, что кладут в рот, и потом — не переваривают или переваривают плохо, нанося тем самым непоправимый ущерб своему организму.

Так вот, начинайте с тщательного изучения каталога библиотеки, которую намереваетесь собрать, изучайте его не торопясь, а после того, как дело будет сделано, отнесите ваш каталог нашему общему другу дону Фульхенсио — после того, что я вам о нем рассказал, полагаю, он стал и вашим другом; вот он-то и есть тот самый человек, который раскритикует ваш каталог. В первый раз составленный каталог не может ему понравиться.

Возможно, вам понадобится гораздо больше времени, чем вы сначала себе представляете, и даже — ради бога, не пугайтесь! — вся ваша жизнь; ведь если вы, умирая, оставите порядочный каталог, то поверьте мне — вы прожили жизнь не напрасно. Ваши потомки завершат ваш труд. Потому что я не могу, не желаю, не должен предполагать, что вы хотите составить библиотеку ради низменной и ничтожной эгоистической цели — отдохнуть, почтивая произведения из собственной библиотеки. Это недостойно вас. Не надо давать поблажки искушающему нас бесу.

Недавно в книге одного англичанина по имени Shadworth H. Hodgson\*<sup>2</sup>, посвященной проблемам метафизики, — книга эта отнюдь не стоит у меня дома на полке, я прочитал, что "метафизика, в собственном смысле слова, не наука, а философия, то есть это наука, цель которой заключена в себе самой, в вознаграждении и воспитании умов, которые ею занимаются". И я подумал, что если цель ее — это "вознаграждение" умов, которые ею занимаются, то она уже не заключена в себе самой. И что самый коварный бес на земле — бес метафизический.

Вы знаете, что предмет наших всеобщих стремлений — это устройство гигантских библиотек, изумительных музеев, прекрасно оснащенных лабораторий; мы должны хранить в них наши теории, гипотезы, аксиомы; мы должны перекидывать мосты

\* Шедворт Х.Ходжсон (англ.).

через реки, осушать болотные топи, развивать науку, мораль — хотя я толком не знаю, что это такое, искусство... а потом, когда Земля наша разлетится на тысячи осколков, или оледенеет, или превратится в некую туманность, мы преподнесем эти библиотеки, музеи, лаборатории, теории, гипотезы, идеи, нашу мораль и искусство Высшему Творцу, дабы вознаградить его. Но прежде всего — каталог. Без программы нет курса наук.

Р. С. Человек блестящего таланта, но немного свихнувшийся на почве библиофильства, о котором я рассказал в самом начале своего наикратчайшего эссе, — это дон Марселино Менендес-и-Пелайо<sup>3</sup>, мой учитель и председатель ученого совета, доверивший мне кафедру; процитированная же мною фраза (прозвучавшая на самом деле несколько иначе, нежели я ее цитирую: "Но хватит об этой чепухе, ведь она не перестает быть чепухой оттого, что мы нашли ее в столь редкостной книге"), относится к сочинению "Счастье Любви, в десяти частях, составленных Антонио де Лофрассо ets" и находится на с. CDXCV (то есть, 495 — привычка нумеровать страницы римскими цифрами куда более дьявольская штука, чем сочинения самого Лофрассо) первого тома "Происхождения романа".

Неправильность, вкравшаяся в цитату, — это еще одно доказательство того, как мало даровал мне господь способностей, дабы идти по пути эрудита, а к Р.С. мне пришлось прибегнуть потому, что эссе это я написал уже более двух лет назад, когда Испанию еще не постигло несчастье — смерть дона Марселино, и я хранил его все это время, по старинному обыкновению, у себя в столе, чтобы оно дошло в темноте, как доходит вино.



*Луиджи Пиранделло*

### БУМАЖНЫЙ МИР

Шум и толкотня на виа Национале, в самом начале проспекта; в центре толпы — двое спорящих: мальчишка лет пятнадцати и синьор со щетинистой желтой, словно дыня, физиономией, на которой поблескивали стекла очков от близорукости, толстые, как бутылочные донышки.

Сей последний, напрягая надтреснутый фальцет, пытался доказать свою правоту и непрерывно размахивал руками, в одной из которых сжимал эбеновую трость с набалдашником слоновой кости, а в другой — книжку, судя по шрифту, старинную.

Мальчишка орал и топал ногами, пиная осколки пошлейшей терракотовой статуэтки, валявшиеся на тротуаре вперемежку с обломками столбика из крашенного под бронзу алебаstra, служившего статуэтке цоколем.

Из зрителей некоторые хохотали, некоторые строили постную мину, некоторые — сострадательную; а из малолетних сорванцов, забравшихся на фонари, кто лаял, кто свистел, кто гудел в кулак.

— Это уже третья! Это уже третья! — вопил синьор. — Я читаю на ходу, а он нарочно подставляет мне под ноги свои мерзкие статуэтки, чтобы я их опрокинул. Это уже третья! Он охотится за мной! Подстерегает! Один раз на Корсо Витторно, потом на виа Вольтурно, теперь вот здесь...

Торговец статуэтками в свой черед сыпал клятвами и оправданиями, пытаясь заверить близстоящих в своей невинности:

— Да нет же! Он сам виноват! Не читает он вовсе! Наступает прямо на мой товар! То ли не видит, то ли в облаках витает, как бы то ни было, вот что вышло...

”Но трижды?” — со смехом переспрашивали слушатели.

Наконец сквозь толпу удалось пробиться двум полицейским, вспотевшим и запыхавшимся; и поскольку при их появлении тяжущиеся стороны принялись выкрикивать обвинения и оправдания еще громче, стражи порядка решили, дабы прекратить представление, отвезти обоих в наемном экипаже в ближайший полицейский участок.

Но едва синьор в очках сел в экипаж, как, выпрямившись, изо всех сил вытянул шею и стал судорожно вертеть и встряхивать головой; затем, устав от этого занятия, раскрыл книгу и сунулся в нее лицом, коснувшись носом страниц; отвел лицо, весь передернувшись, поднял очки на лоб и снова уткнулся в книгу, пытаясь читать невооруженным глазом; после этой пантомимы впал в сильнейшее волнение, лицо его страшно перекошилось в гримасе ужаса, даже отчаяния:

— О, господи!.. Глаза... не вижу... ничего не вижу!

Кучер резко остановил экипаж. Полицейские и торговец статуэтками так растерялись, что не могли даже понять, всерьез ли все это или синьор сошел с ума; они недоумевающе приоткрыли рты в почти недоверчивой ухмылке.

Неподалеку от того места, где остановился экипаж, была аптека; у дверей уже толпились люди — одни пришли сюда, следуя за экипажем, другие остановились поглазеть; и синьор в очках, мертвенно-бледный, совершенно подавленный, был под руки проведен сквозь толпу в помещение.

Он постанывал. Его усадили на стул, он сидел, покачивая головой, поглаживая ладонями ноги, дрожь которых не мог унять, и не обращая внимания ни на аптекаря, который хотел осмотреть его глаза, ни на зрителей, которые утешали его, подбадривали и не скупились на советы: он должен успокоиться, ничего страшного, временное нарушение, от приступа гнева в глазах потемнело... Вдруг он перестал покачивать головой, поднял руки, стал сжимать и разжимать пальцы.

— Книга, книга! Где моя книга?

Присутствующие недоуменно переглянулись, затем рассмеялись. Ах, так у него была с собою книга? И у него хватало мужества читать на ходу с такими-то глазами? Как... три статуетки? Вот как, и кто же, кто... вон тот? Вот как, нарочно подставлял ему под ноги? Ну и ну! Ну и ну!

— Я хочу заявить на него! — вскричал тут синьор, встав со стула, выставив вперед руки и выпучив глаза, отчего подергивавшаяся его физиономия казалась и смешной и жалкой одновременно.

— Перед лицом всех присутствующих я хочу заявить на него! Он заплатит за мои глаза! Убийца! Здесь двое полицейских — живо, запишите фамилии, мою и его. Вы все свидетели. Полицейский, пишите: Баличчи... Да, Баличчи, это моя фамилия. Валериано, да; виа Номентано, дом 112, последний этаж. И

фамилию этого мерзавца... Где он, здесь? Не выпускайте его! Трижды, пользуясь моим слабым зрением, моей рассеянностью... да, господа, три мерзких статуетки... А, превосходно, благодарю, моя книга, весьма признателен! Мне нужен экипаж, окажите милость... Домой, домой, я хочу домой! Заявление сделано.

И он двинулся к выходу, вытянув вперед руки, пошатнулся, его поддержали, усадили в экипаж, и двое сердобольных из числа зрителей проводили его до самого дома.

Таков был шумный и балаганный финал истории тихого помещательства, длившегося долгие годы. Бессчетное число раз врач-окулист твердил Баличчи, что есть одно лишь лекарство от его недуга, неотвратимо грозящего слепотой, — отказаться от чтения. Но каждый раз Баличчи выслушивал врача с той неопределенной улыбкой, какую отвечают на явную шутку.

— Вы не согласны? — сказал врач. — Что ж, читайте, читайте, потом поплатитесь! Вы теряете зрение, повторяю вам. Потом не говорите: "Ах, если бы мне знать!" Я вас предупредил.

Милое предупреждение! Да ведь жить для Баличчи — значило читать. Чем отказаться от чтения, лучше умереть.

Эта маниакальная страсть овладела им с тех пор, как он учился азбуке. Доверившись с давних-предавних пор попечениям старой служанки, любившей его как сына, он мог бы жить более чем обеспеченно, если бы не влез в долги ради приобретения бесчисленных книг, загромождавших в величайшем беспорядке его жилище. Лишившись возможности покупать новые книги, он уже дважды перечитал старые, просмаковав каждую от первой до последней страницы. И подобно тому, как иные животные принимают, по законам природной самозащиты, окраску и внешние признаки той местности, той растительности, среди которой обитают, так и он постепенно стал каким-то бумажным: руки и лицо — как бумага, волосы и борода — цвета бумаги. Близорукость его усилилась за эти годы до предела, и теперь казалось, что книги действительно пожирают его даже в прямом смысле слова — настолько близко подносил он их к лицу при чтении.

После этой ужасной истории он, по предписанию врача, сорок дней провел в темной комнате, хотя вовсе не уповал на целебное действие такого средства; и как только срок заключения кончился, Баличчи велел отвести себя в кабинет. Остановившись возле первого же шкафа, он нащупал какую-то книгу, взял ее, раскрыл, уткнулся в нее лицом — сначала в очках, потом без них, как тогда, в экипаже — и беззвучно заплакал, вжавшись лицом в страницы. Потом тихонько обошел просторное помещение, ощупывая пальцами книжные полки: вот он, весь его мир! А ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память!

Реальной жизнью он никогда не жил: можно сказать, он нигде и никогда толком ничего не видел: за столом, в постели, на улице, на скамьях в общественных садах — всегда и всюду он делал



лишь одно: читал, читал, читал, читал. А теперь ему, слепому, никогда не увидеть живой действительности, которой он так и не изведаль, и не увидеть действительности, изображенной в книгах, потому что читать он больше не мог.

Книги свои он всегда оставлял в величайшем беспорядке, сваливая кучами или разбрасывая как попало по стульям, на полу, по столам, по шкафам, и теперь это приводило его в отчаяние. Он столько раз намеревался навести хоть какой-то порядок в этом содоме, расставить все книги по их содержанию, но так и не навел — жалко было времени. А сделай он это, мог бы теперь подойти к одному шкафу, к другому, и не было бы такого чувства растерянности, мысли не разбегались бы так, стали бы яснее.

В поисках опытного библиотекаря, который взялся бы за такую работу, он поместил объявление в газетах. Через два дня к нему явился некий премудрый юнец, какой-то весьма удивился тому, что слепой хочет привести в порядок свою библиотеку, да вдобавок еще притязает на то, чтобы давать ему указания. Но юнец этот сразу же понял, что бедняга скорее всего помешался — в этом все дело; ведь слыша название книги — вот она, тут, — он каждый раз подпрыгивал от радости, плакал, просил передать ему книгу, ласково поглаживал страницы и прижимал ее к сердцу, словно друга после разлуки.

— Профессор, — фыркал юнец, — ведь так мы никогда не кончим, подумайте сами!

— Да, да, верно, — соглашался тотчас же Баличчи. — Но эту книгу вы поставьте сюда... Погодите, приложите мою руку к тому месту, куда вы ее поставили... Хорошо, хорошо, вот тут... Чтобы я мог разобраться.

По большей части это были книги о путешествиях, о нравах и обычаях разных народов, книги по естественной истории и беллетристика, книги по истории и философии.

Когда работа была наконец завершена, Баличчи показалось, что обступившая его тьма уже не так непроглядна, он почти извлек свой мир из хаоса. И на некоторое время словно замер, заново вживаясь в него.

Теперь он просиживал целые дни у себя в библиотеке, прижимаясь лбом к корешкам выстроившихся на полках книг, словно надеялся, что от соприкосновения с ними ему в голову перельется то, что в них напечатано. Сцены, эпизоды, обрывки описаний воскресали у него в памяти со всей очевидностью, четкой и выразительной; более того, он снова обретал способность видеть — видеть в этом своем мире какие-то подробности, особенно хорошо ему запомнившиеся в ту пору, когда он перечитывал свои книги: красные огни четырех маяков, горящих на ранней заре в порту, пустынное море с одним только отшвартовавшимся кораблем, рангоут которого со всеми вантами силуэтом вырисовывается на пепельной бледности предрассветного неба; на вершине поросшего деревьями холма, на огненном фоне осеннего

заката две громадные вороные лошади, уткнувшиеся мордами в мешки с сеном.

Но он не смог долго выдержать в этом гнетущем безмолвии. Он захотел, чтобы мир его вновь обрел голос, и голос этот, коснувшись его слуха, поведал бы, каков его мир на самом деле, а не в смутных воспоминаниях. Он снова поместил объявление в газетах, на этот раз в поисках чтеца или чтицы; и случай послал ему некую юную синьорину, всю трепещущую в постоянной лихорадке непоседливости. Эта беспокойная особа исколесила полсвета и своей суетливостью, чувствовавшейся даже в манере говорить, напоминала ошалевшего жаворонка, который то вспорхнет, сам не зная, куда лететь, то вдруг опустится на землю и, неистово захлопав крыльями, примется скакать, вертяться во все стороны.

Ворвавшись в кабинет, она выпалила:

— Тильде Пальоккини. А вы?.. Ах да, я же... ну конечно, Баличчи, в газете было... и на двери тоже... О, ради бога, профессор, не надо! Послушайте, не делайте так глазами, мне страшно... Ничего, ничего, извините, я уйду...

Таково было первое ее появление. Она не ушла. Старая служанка со слезами на глазах объяснила ей, что местечко самое что ни на есть для нее подходящее.

— А он не опасен?

Да какое там — опасен! Ничего подобного! Только странноват немного из-за этих книг. Да-да, из-за этих книжонок, будь они прокляты, и сама она, несчастная старуха, уже не знает, кто она такая — женщина или тряпка, чтобы пыль вытирать.

— Лишь бы вы ему хорошо читали...

Синьорина Тильде Пальоккини поглядела на нее и, ткнув себя указательным пальчиком в грудь, спросила:

— Кто, я?

Таким голосом — в раю не сыщешь благозвучнее.

Но когда она в первый раз продемонстрировала свое искусство Баличчи, играя интонациями, меняя регистры, то шепча, то переходя на крик, то замирая, то держась на одной ноте, и все это в сопровождении мимики, столь же неистойвой, сколь ненужной, бедняга обхватил голову руками и весь сжался, съезился, словно пытаясь отбиться от множества псов, скалящих на него клыки.

— Нет! Не надо так! Ради бога, не надо так! — закричал Баличчи.

— Я плохо читаю? — удивилась синьорина Пальоккини с самым простодушным видом на свете.

— Да нет! Но, ради бога, не так громко! Как можно тише, синьорина, почти без голоса! Поймите, я ведь читал одним только глазами!

— И очень плохо, профессор! Читать вслух полезно. Если не читать вслух, лучше уж не читать совсем. Но, простите, почему вы так реагируете? Послушайте (она постукивала костяшками

пальцев по книге). Звук слабый... Глухой... А предположите, профессор, что я вас целую...

Баличчи оцепенел, побледнел:

— Я запрещаю...

— Да нет же, простите! Вы что, боитесь, что я вас и вправду поцелую? Не буду, не буду! Я только привела пример, чтобы вы сразу поняли разницу. Ну вот, я пробую читать почти без голоса. Но, заметьте, когда я так читаю, у меня "эс" получается свистящее, профессор!

При новой попытке Баличчи сжался еще больше. Но он понял, что отныне то же самое произойдет с ним при какой угодно чтении, при каком угодно чтении. От любого чужого голоса его мир представится ему совсем иным.

— Синьорина, послушайте... Сделайте одолжение, попробуйте читать только глазами, без голоса...

Синьорина Тильде Пальоккини снова поглядела на него, широко раскрыв глаза.

— Как вы сказали? Без голоса? Но тогда как же? Про себя?

— Вот именно... для себя самой...

— Благодарю покорно! — взвилась синьорина. — Вы что, смеетесь надо мною? Что мне прикажете делать с вашими книгами, если вы не сможете их слышать?

— Сейчас объясню, синьорина... — отвечал Баличчи спокойно, с горькой улыбкой. — Я испытываю радость оттого, что кто-то читает их здесь вместо меня... Вам, пожалуй, и не понять этой радости. Но я уже сказал: это мой мир, мне становится легче при мысли, что он обитает, вот так... Я буду слышать, как вы перевертываете страницы, буду ощущать ваше сосредоточенное молчание и спрашивать время от времени, какое место вы читаете, а вы будете говорить... О, достаточно только намека... А я буду следовать за вами по памяти... Ваш голос, синьорина, мне все портит!

— Но я прошу вас верить, профессор, что у меня красивейший голос! — негодуяще запротестовала синьорина.

— Верно... знаю... поспешно отвечал Баличчи. — Я не хотел вас обидеть. Но вы мне все окрашиваете по-другому, понимаете? А мне нужно, чтобы в моем мире ничто не менялось, чтобы все оставалось как есть... Читайте, читайте... Я скажу вам, что читать. Согласны?

— Ну, согласна, согласна. Давайте книгу.

Едва только Баличчи показывал, какую книгу читать, синьорина Тильде Пальоккини на цыпочках выскальзывала из кабинета и отправлялась поболтать со старухой служанкой. Баличчи меж тем жил в мире книги, выбранной им для нее, и наслаждался тем наслаждением, которое, по его представлениям, она должна была испытывать. И время от времени спрашивал:

— Прекрасно, не правда ли?

Либо:

— Вы уже перевернули страницу?

Не слыша даже ее дыхания, он воображал, что она углубилась в чтение и не отвечает, чтобы не отвлекаться.

— Да, читайте, читайте... — поощрял он ее полусшепотом, почти сладострастно.

Иной раз, возвратившись в кабинет, синьорина Пальоккини заставляла Баличчи в раздумье: он сидел в кресле, опершись локтями о подлокотники и закрыв лицо руками.

— О чем вы задумались, профессор?

— Я вижу... — отвечал он голосом, доносившимся, казалось, из дальней дали. И добавлял со вздохом, словно пробуждаясь:

— А все-таки я помню, они были рожковые.

— Что именно, профессор?

— Деревья, деревья на холме... В том месте, посмотрите... в третьем шкафу, на второй полке... кажется, третья книга от конца...

— И вы бы хотели, чтобы я вам их отыскала, эти рожковые деревья? — вопрошала синьорина с испугом, но фыркая.

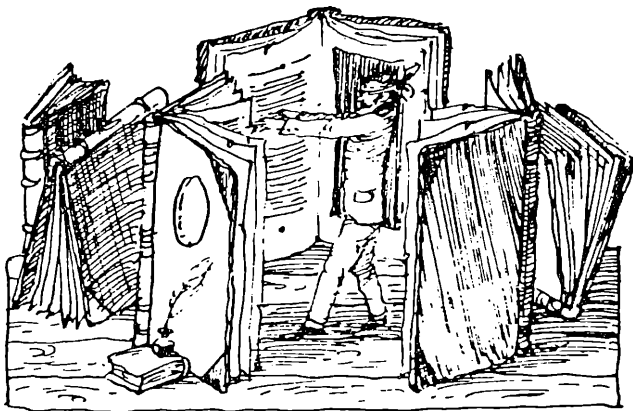
Если она соглашалась доставить ему это удовольствие, то во время поисков чуть ли не вырывала страницы, раздражаясь при просьбе переверачивать их медленнее. Все это ей уже осточертело. Она привыкла жить в движении, мчаться, мчаться — на поезде, в автомобиле, на велосипеде, на пароходах... Мчаться, жить! Она чувствовала, что уже задыхается в этом бумажном мире. И однажды, когда Баличчи выбрал ей для чтения чьи-то путевые заметки о Норвегии, она уже не смогла сдержаться. В ответ на его вопрос, как ей нравится то место, где описывается тронхеймский собор<sup>1</sup>, поблизости от которого за деревьями раскинулось кладбище, и субботними вечерами набожные родичи усопших приносят на могилы свежие венки из живых цветов, синьорина пришла в величайшую ярость:

— Да нет же! Нет же! Нет! — закричала она. — Ничего подобного! Я была там, понятно? Я могу сказать вам, что все там совсем не так, как сказано в этой книжке!

Баличчи встал, трясаясь от гнева, лицо его перекошилось:

— Я запрещаю вам говорить, что все там совсем не так, как в этой книжке! — закричал он, воздев руки. — Мне наплевать, были вы там или нет! Там все так, как сказано в этой книжке, и точка! Должно быть так, и точка! Вы хотите меня погубить! Уходите! Уходите! Здесь вам больше нечего делать! Прочь отсюда! Уходите!

Оставшись один, Валериано Баличчи ошущью отыскал книгу — синьорина, уходя, швырнула ее на пол — и упал в кресло; раскрыл книгу, дрожащими пальцами любовно разгладил помятые страницы, затем уткнулся в нее лицом и надолго замер так, вглядываясь мысленно в картину Тронхейма с его мраморным собором, с кладбищем неподалеку — богобоязненные родичи усопших субботними вечерами приносят туда венки из живых цветов, — все так, в точности так, как сказано в книге. И нельзя менять... Холод, снег, эти живые цветы и синяя тень собора... Нельзя ничего менять. Там все именно так, и точка... Это его мир.. его бумажный мир... весь его мир...



*Генрих Манн*

## ДУХОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Фрагмент

Временами раздаются жалобы, что люди мало читают. Я всегда удивляюсь, когда слышу это. Ведь в действительности публика читает гораздо больше — если говорить не об отдельных людях, а о массе. Книги проникли гораздо глубже в гущу народа, чем прежде. Хорошие романы и жизнеописания читаются сегодня и в тех кругах, которым прежде были по душе лишь десятипфенниговые книжонки. Выдающиеся произведения издаются ныне массовыми тиражами, неслыханными ранее. Если "На Западном фронте без перемен"<sup>1</sup> и "Будденброки"<sup>2</sup> смогли выйти недавно в одной только Германии тиражом в миллион экземпляров, то дело это прежде всего результат улучшения пропаганды; но важнее всего то обстоятельство, что в современном обществе все сословия без различия участвуют в общественной жизни. Литература, бесспорно, неотделима от общественной жизни. Тот, кто хочет принять участие в дебатах, в выборах, настоять на своем мнении, должен обязательно читать, иначе он будет неполноценным членом общества.

Вместе с тем это обстоятельство очень хорошо известно и авторам. Они сознают, что сегодня они обращаются к общественности, а не только к более или менее значительному кругу частных лиц. Поэтому они многократно обсуждают не вопросы, имеющие частное значение, а проблемы, которые вызывают сегодня или могут вызвать завтра всеобщий интерес. Именно этим объясняется появление новых военных романов, а также

биографий тех людей, чья жизнь способна служить образцом и дает нам в нашем несколько запутанном положении возможность извлечь те или иные уроки.

Для того чтобы мы, писатели, могли влиять на других, нам необходимо прежде всего высокое мастерство. Самые настойчивые попытки разрешить вопросы, интересующие многих, оказываются бесплодными, если автор по-настоящему не почувствовал то, о чем хочет писать, не воссоздал эту тему в своем воображении, не явил ее перед нами неповторимыми средствами своего искусства. Но если автор хочет считаться не только с современным ему светским обществом, но и с будущими читателями, с потомством, — о, тогда его мастерство должно быть особенно могучим и совершенным. Не надо забывать, что в книгах в конечном счете самое важное — мастерство. Актуальность проходит, мастерство остается. На протяжении тридцати лет изменились даже преобладающие человеческие типы, и ни один человек сейчас точно не знает, какова была действительность. Она нам кажется такой, какой ее представил сильнейший из нас.

Существуют самые различные методы, чтобы нарисовать картину переживаемого нами времени, дать так почувствовать смысл событий, как мы сами их ощущаем, и показать, что за люди живут сейчас: кто ты, кто я. Ведь именно в этом цель всех романов, всех жизнеописаний: мы хотим узнать, что мы собой представляем. Литература обретает свое особое значение только потому, что стремится объяснить или выявить не единичное, не частное в природе и обществе, а каждый раз заново открывает самого человека.

Чрезвычайно эффективна удачная хроника. Роман такого рода претендует как на полноту, так и на достоверность. События, действительно имевшие место, в общем и целом не преувеличиваются в нем и не ослабляются, персонажи не приукрашиваются, не искажаются. И если все же события оказываются преувеличенными или ослабленными, а персонажи приукрашенными или искаженными, — автор делает это не намеренно. Притом персонажи и события не вполне совпадают с теми, что были отмечены в хронике дня, — они имеют фигуральный смысл. Этот результат во всяком случае удивителен. Вместо исторических событий найдена параллель, которая, однако, может быть столь же историчной при условии, если читатель разделяет взгляды и убеждения автора. Простая случайность, что исторической действительностью является не эта параллель, а нечто иное. Она тем не менее остается правильной. Она полностью соответствует тому, что пережито если не всеми, то отдельными очевидцами, — причем не обязательно подразумевать именно этот конкретный случай. С другой стороны, люди принадлежат к действительно существующему типу, не обязательно являясь теми индивидуумами, которые выступали и действовали в самом деле. На улице им посмотрят вслед: знакомый? Нет, обознался, но он мог бы им быть.

Самый метод имеет, как мне кажется, свои достоинства и недостатки. Романист может строить свое здание человеческих судеб и поступков из того же самого материала и в тех же масштабах, которые он наблюдал в действительности и которые каждый тотчас узнает. Успех этого творения гарантирован с самого начала, и впоследствии его будут восхвалять знатоки. То же самое мы наблюдаем и в другой области искусства. На какой-нибудь выставке точное воспроизведение рыночных ворот старого Милета<sup>3</sup> и удачная копия Берлинского Ульштейнхауза<sup>4</sup> со всем его интерьером заинтересует каждого. Чрезвычайно эффективна удачная хроника; искусство заключается здесь прежде всего в подлинности. Нет ничего более сенсационного, чем сама жизнь, — если только роман способен оживить перед нами те необыкновенные события, участниками которых мы были. Писателю поистине ничего не нужно добавлять, чтобы быть уверенным в успехе у современников, которые могут его контролировать, так как сами все пережили, но не сумели столь наглядно сконцентрировать это в своем сознании.

С другой стороны, хроники всегда производят впечатление лишь случайных единичных событий и интермедий, — они никогда не присягают духу самой жизни. Дух жизни далеко не всегда верен действительности, — он сверхреалистичен. В самом добросовестном судебном отчете, например, его нет, как бы ни волновал нас этот отчет в данный момент; не улавливает духа жизни, нашей жизни, и совершенно правильное, искусно построенное описание быта и характера людей и положения той или иной страны в то или иное время. Дело обстоит гораздо сложнее, и одна лишь правильность еще ни о чем не говорит. Великие романы всегда без исключения высоко поднимались над массой и над законами действительности. Мысли и чувства людей представлены в них более пылкими и бурными, судьбы более величественными, дела и события более напряженными, а атмосфера — более непринужденной и в то же время ослепляющей своим блеском. Великие романы обладают характерным стилем — это не язык корреспондентов, в них воплощена напряженная и предельно решительная позиция того, кто берется воплотить целое. Я не отступлюсь, пока не благословишь меня, — таково положение.

Все авторы великих романов считали, что дело не в правдоподобии и подлинности. Важно только, чтобы ваш страх перед жизнью, ваши тщетные порывы и мечтания, которые вкуче с окружающей средой и усилием изнуряют вас до предела, — чтобы душа людей и их общества предстала в романе обнаженной и неприкрытой. Великие романисты думали: "Я отважусь на риск; возможно, о моей книге будут говорить, что она сделана не только искусно, но и искусственно. Я допущу ошибки, но это будут поверхностные ошибки, и через тридцать лет ни один человек не узнает о них, потому что поверхностные факты сегодняшнего дня позабудутся". Даже сегодня иной человек, прочитав мою

книгу, забудет их, потому что в ней охвачена и показана в неожиданном свете внутренняя сущность его мира и его жизни. Когда человек взволнован, он не считается ни с каким точным фактическим отчетом, и никто не ощущает в нем необходимости, но дух жизни не может быть забыт. Каждый подлинно великий роман сверхреален, не говоря уже о том, что он и реалистичен и что в жизни все могло бы произойти примерно так же. Самый знаменитый из реалистических романов "Мадам Бовари" великого Флобера на деле представляет собой совсем не то, чем он кажется, и автор его знал об этом. Язык этой книги поднимает ее над современными ей романами — к духовному сообществу, к которому принадлежит Гомер, но не так называемый зоркий наблюдатель, каким, кстати говоря, в свое время считали Шанфлери<sup>2</sup>. Язык — это целеустремленное сцепление слов и недоступное сияние, которое они излучают, — он отрешает книгу от действительности и приближает ее к духу жизни. Язык книги безусловно определяет мировоззрение автора и в то же время значимость произведения и продолжительность его жизни.

Должны ли мы, писатели, высказывать свои суждения? Мы судим, естественно, с точки зрения профессионалов. Наше собственное представление о людях и мире уже выражено и запечатлено в наших книгах; но мы руководствуемся им, когда судим о чужих книгах. Мы можем сказать что-либо значительное лишь в той мере, в какой мы сами значительны для других. Мы можем, пожалуй, привести доводы в пользу книги, и против нее. Но нельзя забывать, что другие найдут более убедительные доводы — просто потому, что они публика, масса. По поводу одной особенно нашумевшей книги последних лет я узнал мнение многих людей, не имеющих прямого отношения к литературе. Это вовсе не значит, что они всегда умнее или обладают лучшим вкусом, нежели мои коллеги. Но их преимущество в том, что они совершенно неотвественны за свои впечатления. Они могут говорить так и этак, для них убеждения, логика, глубина возможны, но не обязательны. Предубеждений художественного или идейного порядка или совсем не приходится опасаться, или же читатель ставит их себе в заслугу. Главное же, эти индивидуумы в своих суждениях не одиночны — они представляют типы, профессиональные сословия или человеческие типы; десятки тысяч судят так же, как один из них.

О романе "На Западном фронте без перемен", об этом столь популярном произведении Ремарка, один мелкий предприниматель, не имеющий служащих, высказался на берлинском жаргоне следующим образом: "Я прочел только половину книги. Для человека, находящегося в гуще жизни, она ни к чему. Мне все здесь кажется приукрашенным. Что веского может сказать о войне человек, не знающий жизни". (Он имеет при этом в виду студентов и учеников — главных героев книги.) "Что мне еще сказать, я не стал читать до конца".



На вопрос о том, какого рода книги он читает охотнее всего, этот человек ответил совсем не глупо: "Книги, которые отвечают моим интересам". И если в какой-нибудь книге речь идет, например, о товариществе, он, ничего о нем не ведая, не зная никакого товарищества, поглощенный только своей собственной борьбой за существование, — бросает читать. Сколько знамений времени начинаешь понимать, узнав об этом!

Жена одного таможенного чиновника так высказалась по поводу романа "На Западном фронте без перемен": "Всем тем, кто не участвовал в войне, книга рассказывает правду". Но она быстро изменила свое мнение, когда кто-то возразил, что Ремарк сам не участвовал в войне. Таким образом, у этой тридцатичетырехлетней женщины совершенно ни к чему не обязывающие впечатления. Можно также сказать: она не питает чувства благодарности к автору и отступится от него, как только кто-нибудь выскажется против него, хотя бы и несправедливо. А ведь он взволновал ее и заставил по-новому взглянуть на жизнь!

Супруга одного секретаря полиции вынесла суждение: "Ужасно — и многое кажется мне невероятным". (Она имеет в виду сцену, разыгравшуюся между мужчиной и женщиной в госпитале.)

Секретарь полиции, ее муж, читал и другие книги о войне, но ни одна из них не произвела на него такого впечатления, как "На западном фронте без перемен".

Тридцатилетняя женщина, многое пережившая, заявила: "Это книга, которая от начала до конца держит читателя в напряжении, хотя некоторые сцены кажутся неправдоподобными и преувеличенными. Но она не только страшная; хорошо, что в ней есть и юмор".

Теперь очередь за крупным предпринимателем, — прежде, когда он еще противозаконно продавал русским медикаменты, он был социал-демократом, ныне ему пятьдесят пять лет и он националист. Для него успех — критерий всего, в том числе и доброкачественной книги. Он, правда, говорит, что ему непонятно, какую цель преследует автор книги "На западном фронте без перемен". Но "сбыт свидетельствует о том, что вкус массы угадан". Этим он удовлетворяется.

Большой интерес представляют суждения одного учителя. Ему лет сорок пять, во время войны он был лейтенантом запаса и получил Железные кресты первой и второй степени. Его любили, подчиненные защитили его, когда вспыхнула революция<sup>6</sup>. Он называет "На Западном фронте без перемен" самой спорной книгой сезона. Она представляется ему книгой, рисующей войну со всей беспощадностью. В человеческой душе открываются такие уголки, что и теперь, более чем через десять лет, война пугает нас, потому что эта душа способна на такие вещи. Это не пустые слова. Такие рассуждения со стороны учителей не остаются без последствий. Объединение этих учителей, называемое "Педагогической неделей", провело конференцию, посвященную военной литературе. Кроме народных учителей, к этому обществу принадлежат

также преподаватели высших школ. Мнения о романе "На Западном фронте без перемен" были различными, в зависимости от возраста членов корпорации. Пожилые педагоги отказывают Ремарку в праве на создание такой книги. Молодые же, в большинстве своем участники войны, отделенные от старших по меньшей мере целым поколением, напротив, заступились за Ремарка. Старые педагоги отстаивали точку зрения, что война — это нечто великое и возвышенное, что она раскрывает в человеке лишь благородные и прекрасные черты. Военные же книги, в которых благородные черты не являются преобладающими, пагубны. С этим мнением не согласилась молодежь, участвовавшая в войне. Молодые педагоги выступили за верность писателя жизни и объективность. Ремарк для них — представитель объективного мироощущения, которое и они разделяют, — и они воспринимают книгу прежде всего как отражение действительности. Война, так же как и все прочее, для этих современников — лишь факт действительности.

Эту книгу все читали, о ней столько говорили — и как поразному! Стоит только прислушаться к тому, что говорят хотя бы некоторые представители народа, — и одна и та же книга оказывается то сенсацией и своего рода "романом ужасов", то драгоценным уроком. Одни обнаруживают в ней тысячи красот, другие даже не дочитывают ее до конца.

Как я это себе объясняю? Дело главным образом в том, что читатели почти лишены возможности сравнивать. Слишком часто хорошую книгу все начинают читать лишь тогда, когда она уже стала гвоздем сезона. Но нужно знать и другие книги, поскольку они представляют интерес для сравнения. Только тогда можно правильно судить о каждой из них. Тот секретарь полиции, для которого ни одна книга о войне не может сравниться с романом "На Западном фронте без перемен", знает, по крайней мере, что говорит, так как он читал и другие книги.

Произведения существуют не изолированно, — есть группы книг, каждая из которых дополняет и объясняет другие. Желательно, чтобы люди побольше читали, могли составить себе представление о каждой группе, каждом направлении и не слишком полагались на одну-единственную книгу только потому, что она пользуется наибольшим спросом. На свете столько талантов — а поэтому и единственный талант не нужно воспринимать как откровение. Эпоха и присущее ей умонастроение вызывают к жизни множество форм для их выражения. По моему мнению, их нужно рассматривать в совокупности, и только тогда можно будет понять, что они означают как выразители эпохи и ее мировоззрения. Искусно сделанная вещь сама по себе уже есть нечто ценное. Но еще ценнее научиться постигать смысл переживаемых нами событий, путь нашего общества. Тогда видишь, как беспорядочная масса книг располагается по группам и каждая группа объясняет одну из мыслей данной эпохи, все же вместе — господствующее ныне мироощущение. <...>



*Хосе Мария Салаверриа*

#### ТРАГЕДИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

Не приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь в библиотеке внимательно рассматривать полки, в строгом порядке уставленные книгами? Если да, то вы наверняка знаете, сколь грустный конец предрешен этим плодам ума человеческого. Они так и остаются забытыми на огромных пространствах библиотечных стеллажей или гибнут под беспощадными зубами грызунов.

А не доводилось ли вам, читатель, когда-нибудь принимать участие в расстановке книг в библиотеке? Если да, то вы вспомните, что книги казались вам предназначенными на долгую сознательную жизнь. Книги выглядят живыми существами, полными энтузиазма и самодовольства. Они стоят перед нами так, чтобы хорошо были видны корешки и можно было прочесть фамилии авторов и названия. На страницах каждой книги сокрыта немалая доля тщеславия, каждая книга считает, что она обладает достоинствами, которые непременно стяжут ей бессмертие! Бессмертие!.. Острые зубки мышей прекрасно знают, какое же это нелепое слово "бессмертие"!

Между тем все сказанное выше сущая правда. Книги пишутся с расчетом на бессмертие. Каким бы скромным ни был автор, в тот момент, когда начинает писать книгу и когда ставит последнюю точку, он забывает о законах истребления и смерти. Ему кажется, что его книга будет вечно плыть по веселому морю на гребне счастливой волны.

Но книги подчиняются всеобщим законам. Все в этом мире преходяще — новый цветок нарождается из праха отцветшего,

новое время возникает на руинах прошлого. И книги так же должны уступать место. Сколько же книг, вероятно, убила "Илиада" Гомера! И сама эта "Илиада", которую мы считаем бессмертной, когда-нибудь тоже будет забыта. Чтобы удержалась на поверхности книга Сервантеса, были вытеснены горы других. Каждая сохранившаяся книга — это свидетельство смерти сотен других.

Вот почему при лицемерии библиотеки нас охватывает грусть. В книгах на библиотечных полках есть какая-то трагическая печаль; печаль от того, что им еще хочется существовать, а между тем уже ясно, что придется потесниться. Но с каким жаром эти книги были написаны! В славный день они увидели свет и смело ринулись навстречу счастью. Одни появились, робко оглядываясь, не поднимая шума, как сквозь туман прошли через руки нескольких читателей и осели на стеллажах. Другие родились под счастливой звездой, вокруг них разгорелись шумные споры, и они заняли свое место на столе у какой-нибудь светской дамы или ученого, у молодого или пожилого человека. Но и эти книги мало-помалу оказались в тени и наконец затерялись на библиотечных полках.

Библиотеки — это кладбища книг. Ежедневно туда приходят читатели и просят какую-либо книгу. Ее снимают с насиженного места, и она молодеет, овеянная свежим воздухом. Старые страницы, перелистываемые читателем, вновь словно оживают и как в прежние времена гордятся собой, точь-в-точь как пожилые дамы с ликованием вздрагивают, когда проходящий мимо молодой человек одаривает их внимательным взглядом.

Жгучими тайными страстями охвачены книги, стоящие на полках. Они исходят завистью, страдают старческим тщеславием, убиваются от неудачи. Когда книгу снимают с места и отдают читателю, он и представить себе не может, какая трагедия разыгрывается при одном лишь его появлении на пороге библиотеки: "Может, он пришел за мной?.."

Все книги видят, когда входит читатель, и настораживаются. Наконец читатель просит нужную книгу, ее снимают с полки, и она становится надменной, хвастливой, вызывающей и как бы восклицает: "Как видите, предпочли меня!" И все остальные молчат, умирая от зависти. Одни книги спрашивают часто, другие же совершенно забыты, сам библиотечкарь не помнит о них. У этих книг осталась с жизнью одна-единственная связь — название, занесенное в каталог, так же как имена усопших, сохранившиеся лишь в списках похоронной конторы.

Как листья, падают книги с древа мудрости, и осенний ветер уносит их в забвение. Вначале они хранят свежесть весенних побегов, потом сохнут, стареют, теряют свой аромат и уже не согревают наше воображение. Мы берем книгу в руки, и многие ее страницы кажутся нам нелепыми. Устаревшие истины и вымыслы напоминают тех самоуверенных старцев, которые хотят

навсегда остаться обходительными и деятельными. Время, о котором говорится в этих книгах, уже сокрыто от нас далекой дымкой. Мы не можем как следует понять, что вдохновляло тогдашние деяния. Нам хочется быть снисходительными, хочется извинить эту наивность, но при всем нашем великодушии мы вынуждены отложить книгу в сторону и водрузить ее на прежнее надежное место.

Вот там-то, в больших библиотеках, назревают и возникают необычайные трагедии. В наше время книги уже и не пытаются остаться в сердцах людей, им все больше хочется осесть в библиотеке, их последняя надежда на бессмертие — жить на стеллажах. Пусть их никто не читает. Лишь бы существовать!.. Ведь ежегодно, и с каждым годом все больше и больше, появляется несметное число книг. Согласно простой теории о пространстве, через какие-нибудь сто лет в мире накопятся огромные книжные горы. Книги, этот издательский бич, обрушатся с силой на все библиотеки, и библиотеки начнут раздуваться до неслыханных размеров. Человек в конце концов утонет в море книг. И волей-неволей наступит час расплаты. Дабы не оказаться погребенными под бесчисленными книгами, люди вынуждены будут расправиться с ними. По логике вещей в библиотеках наступит час очищения, и огонь позаботится о том, чтобы поглотить ненужные и испорченные книги.

Разве люди не говорят о борьбе за существование? Так вот, есть нечто более трагическое — борьба книг за вечную жизнь.



*Асорин*

#### КАК НУЖНО ЧИТАТЬ

В настоящее время в Испании читают больше, чем когда бы то ни было, и книжный рынок разросся, как никогда. Опубликованы многочисленные беллетристические книги, а также исторические произведения, очерки, доподлинные или художественные биографии, поэтические сборники и собрания рассказов, научные книги... Автор этих строк, постоянный и усердный читатель, силы которого уже явно на исходе, чувствует себя окруженным чудовищным сонмом книжной продукции. Им движет желание, неистовое желание, прочитать все то прекрасное, что издается, но его читательские возможности уже не те, что в годы безоблачной юности. С тем же неистовством ему хочется еще и перечитать читанное в молодости, а потому естественно, что не хватает достаточно времени, чтобы прочитать и новые книги, и те, что любезно присылают авторы. Французский поэт, автор "Смерти волка" Альфред де Виньи<sup>1</sup>, баллотировавшийся в Академию, попросил знаменитого философа Руайе-Коллара<sup>2</sup> подать за него свой голос. Поэт сказал ему: "Полагаю, вы прочитали книги, которые я вам посылал?" На что философ довольно пренебрежительно ответил: "Я, сеньор, не читаю, лишь перечитываю". Не станем уподобляться Руайе-Коллару, но все же, когда достигаешь возраста автора данной статьи, приходится задумываться над тем, что же следует читать. Ведь остается уже мало времени, дабы посвящать его разбросанному чтению. Кроме того, есть еще и другая веская причина — совсем не одно и то же — читать известнейшее произведение в двадцать лет или в семьдесят. В

двадцать видишь в этой книге одно, а в семьдесят совершенно иное. Изменилось восприятие читателя, поневоле меняется и сама книга. В молодые годы ты не смог заметить в книге тот скрытый свет и смысл, которые находишь в семьдесят. Почему же мы должны отказывать себе в удовольствии перечитать и иначе, чем в молодости, понять "Дон Кихота", "Гамлета" или "Фауста"? Нельзя требовать от нас такой жертвы. Вероятно, этого и не требуют начинающие авторы, которые присылают на мой суд свои произведения. Но, несмотря ни на что, нужно всегда быть в курсе современного литературного движения, нельзя отставать от эстетического развития, иначе среди неугомонной творческой молодежи прослынешь пугалом, привидением или анахроническим персонажем. Вот и отдаешься чтению книг, которые, из уважения к тебе, присылают молодые авторы.

Так как же следует читать? Без сомнения, нет единого способа чтения, их множество. Так и есть на самом деле. А зависят эти способы чтения и от того, каков сам читатель, и от того, каковы обстоятельства, когда он принимается за чтение, и от того, каков его возраст и, наконец, какова собственно книга, которую будут читать. Притом нельзя забывать — и это очень существенно, — что необходимо не только твердо знать, какую книгу следует прочитать, но важно также определить какую читать *не следует*.

Вот это последнее наверняка важнее, чем первое. Прежде всего усвоим: *нельзя читать* только для того, чтобы с большим основанием убедиться в том, что данную книгу следует прочесть. Браться за чтение надо только тогда, когда абсолютно уверен, что книгу прочитать необходимо. Читайте медленно, для самого себя, получая от этого удовольствие, а вовсе не для того, чтобы написать о ней, если ты критик, и не для того, чтобы просто-напросто узнать, о чем в ней говорится, а потом рассказывать об этом в кругу друзей. Таким образом, в чтение нельзя привносить никаких чуждых интересов. Только тогда можно понять, что представляет собой книга, когда читаешь ее не утилитарно. Читайте не спеша, никогда не доводите себя до усталости: утомленному человеку чтение не приносит того наслаждения, которое получаешь, читая в хорошем настроении и по собственному желанию. Опытному читателю стоит прочитать несколько страниц, и он ясно видит, что собой представляет новая книга: как написаны первые страницы, такими будут и все остальные. У каждого писателя есть свой неповторимый ритм, и, уловив этот ритм, поймешь и прочувствуешь всю книгу. Тогда можно продолжать чтение или с досадой отложить книгу, коль скоро она показалась тебе посредственной. В последнем случае я, вероятно, буду сожалеть о потраченном времени, которого осталось совсем немного. А при получении новой книги уж постараюсь быть более осмотрительным и менее доверчивым. Но так как страстное желание читать неистощимо, ты вновь набрасываешься на только что присланный по почте том. Опять окажется, что ты теряешь время?

Смена настроений оказывает большое влияние на восприятие прочитанного. Есть и другие обстоятельства, которые воздействуют на читателя. Разве не будут "Дон Кихот" или "Гамлет" прочитаны совершенно по-разному в зависимости от того, огорчен или воодушевлен читатель? Разве нет разницы в чтении после бессонной ночи или на свежую голову? Не следует читать, когда ты в глубоком горе или когда ты переполнен радостью. В подобных случаях в человеке просыпается как бы инстинкт самозащиты от всего, что не является его личным горем или радостью. Не надо читать, когда ты очень взволнован. Не верьте тем, кто говорит, что писатель должен творить в плену у эмоций. Взволнованное состояние — и это общеизвестно — в большей или меньшей мере вызывает заторможенность мыслей. Нам тогда не хватит слов, чтобы выразить свои чувства. Что-то пробормочем, если велико волнение, а толком ничего не сможем произнести. Как же в таком случае можно понять, что ты читаешь? А как можно писать?

### ЧТЕНИЕ

Размышления о проблеме чтения начинаются, как только мы берем в руки книгу. В чем состоит эта проблема? Может, сейчас читают больше, чем в старину? Или раньше читали больше? Окинем мысленным взором историю... В XVI веке один весьма достойный человек задумал поздравить своего друга, поздравить по случаю получения сана кардинала. Этот дворянин решил написать небольшую поэму в честь кардинала. Что же он придумал, дабы вдохновиться? "В течение пяти дней не отрывался от чтения Пиндара"<sup>3</sup>. Безусловно, тот, кто способен на такое, является прилежным читателем. Я говорю о Диего Уртадо де Мендоса<sup>4</sup> и о его поздравлении кардиналу Эспиносе<sup>5</sup>. В следующем веке один странник, неутомимый путешественник, без отдыха шагавший по дорогам, завсегдагатай постоялых дворов и трактиров, рассказывает нам, что он так страстно любит читать, что не пропускает ни одной бумажки, найденной на улице. Это Сервантес. Книги можно увидеть и на картинах, чаще на полотнах религиозного содержания, чем светского. У нас в музее Прадо есть картина Рибальты<sup>6</sup>, изображающая распростертого на доске святого Франциска, а рядом с ним на непокрытом столе лежит большая толстая книга и стоит светильник. В музее Лувра примером церковной живописи могут служить "Четыре евангелиста" Йорданса<sup>7</sup>, а светской — "Философ с открытой книгой" Рембрандта. На картине Йорданса перед евангелистами лежит на столе большой раскрытый фолиант, один из евангелистов, уперев локоть в бок, с трудом удерживает в руках другой фолиант. Запомним этого евангелиста. На картине Рембрандта философ предстает перед нами в мрачном помещении со сводчатым потолком и каменными стенами. Он стоит у окна, к которому придвинут стол, а на столе — большая раскрытая книга. Философ в длиннополой пеле-



рине, в шляпе, чуть отодвинувшись от стола, что-то обдумывает, подперев рукой щеку. Печать глубокой тишины лежит на всем в этом мрачном помещении, ничто не отвлекает нашего внимания, ибо, кроме описанного, на полотне ничего больше нет.

Нельзя ли найти в литературных произведениях и живописных полотнах еще читателей, о которых стоило бы рассказать? Конечно же можно, но это несколько не повлияло бы на наш вывод — он заключается в следующем: в старину читали гораздо меньше, чем теперь. Тогда чтение — на этом хотелось бы заострить ваше внимание — было делом необязательным, редким; в наши дни чтение — ”органическая потребность”, можно сказать, — да простит меня читатель за выражение, которым хочется еще острее подчеркнуть мою мысль, — чтение стало просто физиологической потребностью. Соответственно, не следует забывать, что население Испании в XVI и последующих веках составляло не более восьми—десяти миллионов жителей. Для современного человека чтение — жизненная необходимость. Мы все походим на философа, стоящего перед раскрытой книгой. Всем нам, как советует Грасиан<sup>8</sup>, ежедневно нужна новая книга. Ну, коль скоро мы столько читаем, то, вероятно, все прочитанное идет нам на пользу? Вот это как раз и волнует всех, кто имеет отношение к книге. Разве можно беспорядочное и бесконечное чтение называть всерьез настоящим чтением? Какая может быть польза от чтения второпях? Иногда читают просто, чтобы о чем-то узнать, а иногда и ради удовольствия. Вот это последнее мы все очень любим. Каждый, вероятно, может провести следующий эксперимент: попробуйте несколько дней не читать, а потом начните понемногу, время от времени, частями, и только, когда вы совершенно свободны. Тогда-то вы и поймете, как много теряется при беглом чтении и чтении нескольких книг одновременно и сколь выигрышно основательное, вдумчивое чтение. Мы получим от него необычайное удовольствие, удовольствие, которого не знали ранее, и найдем в книге то, что доселе было скрыто от нас. Прибавим к сказанному мысли одного из великих читателей — Артура Шопенгауэра<sup>9</sup>. Он советует нам не расстраиваться, коль скоро в нашей памяти отложится лишь малая часть того, что мы прочитали. Пусть нас утешит, что прочитанное прежде, чем о нем позабудешь, оставит след свой в душе, умиротворяя и питая ее, меж тем как просто задержавшееся в памяти не пронизывает душу насквозь, лишь набивает и засоряет нас вечно непереваренной материей. Время работает на понимание прочитанного.

Но время уходит и многое с собой уносит, в том числе и собственно время, которое можно уделить чтению. В старости уже нельзя читать столько, сколько в юные годы, но есть отмщение — перечитывать, ибо это все равно, что читать заново. Мы понемногу, вовсе не задаваясь этой целью, сокращаем количество книг для чтения, принуждаем себя сокращать, и постепенно число их все более сужается. В конце концов мы вынуждены согласиться с

тем, что прав Лопе де Вега, который говорил, — он сказал это в пьесе "Исидро", — "хороших успехов достигает тот студент, который учится только по одной книге". И добавил к сказанному, что, когда было мало книг, "знали люди больше, потому что учились на меньшем".

Заканчивая нашу беседу, давайте оглянемся назад и обратим свой взор к старинным фолиантам. Думается, общество от этих старинных тяжелых фолиантов прошло долгий путь, путь становления культуры. Тех самых томов, которые раскрывали на столах или ставили на полки библиотек. Их трудно было удерживать в руках, как показал нам это евангелист Йорданса. Путь от фолианта привел к небольшому томику в одну восьмую, который и в одной руке держать очень удобно. Стремительность, переменчивость, многогранность современной жизни — а также и свобода нравов этой жизни — очень хорошо прослеживаются в переменах, свершившихся с книгой.

### БУКИНИСТИЧЕСКИЕ ЛАВКИ

Почему мы больше, чем букинистические лавки, любим книжные магазины с новейшей литературой? В Мадриде много и тех, и других. А предпочитаем все же магазины, где продаются современные книги. Всем хорошо известно, что именно там можно найти, для нас там ничего неожиданного быть не может. Нам необходима новая книга, и здесь мы ее найдем. Каждый имеет дома каталог и внимательно его просматривает, в газетах тоже можно прочитать объявления о новых книгах. Большого и желать нельзя. Беспокоиться теперь не о чем, и если возникает потребность прочитать новинку, следует только отправиться в книжный магазин и купить нужную книгу. Идешь туда — так по крайней мере случается со мной — не столь уж и охотно, ибо более или менее представляешь себе, о чем может быть та или иная книга. Какие сюрпризы я могу ожидать от новой книги, столько уже на своем веку прочитав? Итак, заходишь в большой, а может, и в маленький книжный магазин и покупаешь книгу. Возможно, прочитав несколько страниц, сразу отложишь ее в сторону. А может, будешь читать урывками, откроешь в середине, потом начало, опять вернешься в середине и полюбопытствуешь, что же в конце? Ну, а что же происходит в букинистической лавке? Разве можно предсказать, что там найдешь? Если ты часто посещаешь букиниста, то все книги у него на полках тебе уже знакомы. Но ведь букинист изо дня в день приобретает новые тома, и вот они-то и оказываются для нас настоящим сюрпризом. Я уже состарился и достаточно в этом преуспел, а потому мне нельзя терять время. Любая новинка вызывает у меня недоверие. Разрезая страницы новой книги, предчувствуешь, что придется читать что-то уже давно читанное. В моей личной библиотеке собрано множество книг — и испанских, и иностранных. Классика и современные

произведения мне хорошо известны. Я вкусил прелесть всех литературных жанров. Так что же заставляет меня с неизменным интересом браться за книгу?

Вот тут-то и вступает в силу чарующее предназначение букинистической лавки. Я не буду ничего покупать, мною у этого букиниста уже куплено много книг. Просто присяду здесь ненадолго и побеседую с другими постоянными посетителями. Ничем не занятые руки поневоле листают старинные тома, книги в роскошных и бумажных перешлесах, большие и маленькие книги. И вдруг наталкиваешься на ту, которую раньше не видел, и автор которой тебе не известен (со всеми известными ты уже давно знаком). Сейчас мое внимание привлекла книга так называемого посредственного автора. Есть такая категория писателей, которые, не будучи светилами, обладают достаточной прелестью и часто помогают нам отыскать недостающую деталь, столь необходимую, чтобы закончить роман или пьесу. Кроме того, у такого автора непременно найдешь и нечто вовсе не известное тебе. Разве все дома должны быть дворцами? Ведь порог обыкновенного дома мы переступаем с тем же любопытством, с каким входим в богатый особняк. Вот и оказывается в наших руках незнакомая книга, хотя все здесь на полках давно уже нами изучено. Эту прелесть — найти ранее совершенно тебе не известную книгу — и предоставляет нам букинистическая лавка... Но ясно, что в конце концов отложишь в сторону и эту достойную книгу, с такой надеждой принесенную домой.

Да мне знакомы все книги, но не раз я, зайдя к букинисту, находил редчайшие в наше время издания. Случалось это и много лет назад. За опубликованную за границей книгу, редкую книгу, которая, может статься, попадет тебе в руки, — букинист не поставит ту цену, какую стоила бы она в стране, где издавалась. Испанские книгопродавцы, простые книгопродавцы, вовсе не обязаны знать, какие тайны скрываются в глубинах французской, английской или итальянской библиографии. Как же не рассказать вам, что в одной из букинистических лавок я отыскал вторую часть посмертного издания книги Жана Расина "Краткая история Пор-Руаля"<sup>10</sup>?

Самые осведомленные расинисты сказали мне, что этот том, изданный в Кельне, является исключительным раритетом. Живя в Париже, я попросил однажды посредника по книжной торговле найти эту самую книгу. Разумеется, не для того, чтобы ее купить, а просто, чтобы узнать, можно ли ее отыскать и какую за нее попросят цену. Длительные поиски ни к чему не привели, книгу эту найти было невозможно. Если бы она и нашлась у кого-нибудь, обладатель такого сокровища запросил бы за нее невероятную цену.

Мы с вами, дорогой читатель, находимся в лавке со старыми книгами, в мадридской букинистической лавке. Две лавки, которые я наиболее часто посещаю, расположены одна в конце улицы Дель-Принсипе, а другая в конце улицы Анча-де-Сан-Бер-

нардо. От одной до другой немногим более трех километров. Да, но ведь существует метро! Чем мы занимаемся в букинистической лавке? Так вот, недавно я нашел там книжечку в меховом переплете, издана она в Мадриде в 1817 году. Ее название: "Искусный охотник, или Безукоризненный стрелок". Автор обозначен только инициалами на обложке. Эта книжка преподносит нам хороший урок, в особенности мне, озабоченному вопросами стилистики. Урок дается лишь одной деталью. Наш охотник, и в самом деле искусный охотник, рассказывает, что однажды перестрелял целую долину зверей. Да, да, целую долину, этот охотник перестрелял долину да еще несколько рощ. Стало быть, можно изъясняться таким образом, сказано совершенно правильно. Ну, а кто возьмет на себя смелость утверждать, что полностью изучил все возможности испанской разговорной речи? Разве можно рассказать о сложности применения предлогов? И просто об использовании редко употребляемых слов? Прятаться во Франции или упрятанный в Францию? Вот это последнее никто не напишет, но нет ничего более правильного. А кто умеет ловко управляться с согласованием предлогов? Я заметил, что многие ораторы и некоторые литераторы прихрамывают, когда пользуются предлогами. Совсем недавно я прочитал следующее: "Я был дружен к Имьярек"! Что же касается редко употребляемых слов, то об этом пришлось бы очень долго говорить. Говорить *об* деле? Писать *об* чем-то? Вот я сам и впал в ошибку, против которой выступаю. Я должен бы сказать "говорить *о*", так же как и писать следует *о* чем-то. Ел ли когда-нибудь читатель гранаты? Наверняка наслаждался ими и безусловно видел тончайшую перегородку между зернышками. Такая же тонкая ткань обволакивает зерно грецкого ореха и миндаля. Как эта ткань называется? Святой отец Луис Гранадский, описывая плод граната, рассказывает о "ткани, более нежной, чем сендаль"<sup>11</sup> А ведь он мог воспользоваться истинным названием этой ткани — *tàstana\**. Разве тонкая кожица под яичной скорлупой не называется редко употребляемым словом "*fàrfara*"?\*\*\* Попробуем сесть под оливковым деревом, под свисающие ветви олив испанского Леванта. Разве мы знаем, что такие склоненные к земле ветви называются "*алабе*"? Здесь возникает очень опасная путаница: в старых словарях говорится, что "*алабе*" — это только свисающие ветви оливковых деревьев, а в современных словарях этим словом определяют пригнутые к земле ветви вообще любых деревьев. Что же остается делать нам? Искренне и смело встать на защиту старины или удобно расположиться возле современности? О, алабе, алабе! И я, как одержимый, колеблюсь между стариной и современностью. Читатель, дорогой читатель, помоги мне найти выход из этого ужасного положения!

\* Перегородка в орехе (*исп.*).

\*\* Яичная кожица (*исп.*).



Томас Манн

### БИЛЬЗЕ И Я

Бильзе<sup>1</sup>, — все помнят о нем, — это тот блестящий военный, который нам преподнес эпос о "Маленьком гарнизоне". Недавно в Любеке, моем родном городе, во время судебного разбирательства одного издательского дела, — сильно на шумевшего, но для нас не представляющего интереса, — много и горячо говорилось о нас обоих: о Бильзе и обо мне, или скорее, о моем романе "Будденброки" — книге, без которой не обходится ни один скандальный процесс; дело в том, что часть ее образов слеплена с живых лиц, и, кроме того, мне до известной степени удалось оживить в ней разнообразные воспоминания о родном городе, о некоторых людях и обстоятельствах, — воспоминания как уважительные, так и непочтительно-смешные, но в годы воспримчивой юности произведшие на меня впечатление. Представитель обвинения несчетное количество раз с большой строгостью произносил мое имя, равно как название моего сочинения; в заключение своей обвинительной речи, говоря о "романах в духе Бильзе", он в качестве убедительного примера этого нового и скандального литературного жанра назвал роман "Будденброки". "Я хочу, — сказал он, — открыто и во всеуслышание заявить, что и Томас Манн написал свою книгу à la\* Бильзе, что "Будденброки" — тоже "роман в духе Бильзе", и я буду отстаивать это свое утверждение!" Он стоял, гордо выпрямившись во весь рост.

Без сомнения, он верит в то, о чем говорит. Он верит прежде всего в то, что литературный жанр, который он называет "романы

\* В духе (*à la*).

в духе Бильзе”, возник в наши несчастные дни, что он его открыл и дал ему название. Та степень образованности, обрести которую ему представил случай, не позволяет ему знать о том, что рядом с литературой настоящей всегда существовала другая, сомнительная — “литература в духе Бильзе”, если хотите, и которая в известные времена достигала особого расцвета; ее продукция, в художественном отношении совершенно ничтожная, представляет, однако, интерес с точки зрения культурно-исторической; нередко она сохраняла ореол скандальности и тогда, когда уже все лично компрометирующее давным-давно увяло. Он не знает того, что рядом с ядовитыми цветами, которые распускала мемуарная и сплетническая литература восемнадцатого века, белена вроде Бильзе кажется вполне безобидным растением. Он считает господина Бильзе отцом всякого скандала, а меня — его духовным братом. Вот каков я в его глазах, да поможет ему бог! Он не сомневается, что мои литературные усилия лишь постольку встретили некоторое сочувствие публики, что в “Будденброках” мне удалось изобразить нескольких представителей любекского бюргерства, — факт, который, по его убеждению, наполнил всех немецких читателей от Мааса до Мемеля<sup>2</sup> неистовым злорадством. Он не видит разницы между мною и автором “Маленького гарнизона” и никогда не увидит, даже если бы захотел. “Я буду это отстаивать!” — говорит он. Он стоит, гордо выпрямившись, весь — воинствующая тупость. В этой позе мы его и оставим.

Мы, естественно, возвращаемся к очередным делам. Погружаемся в свои замыслы, предаемся мечтаньям, пишем письма, читаем что-нибудь стоящее и не думаем больше о скандальных процессах. И все таки: “Бильзе и я”. Это лукавое словцо “и”... < ... >

Как могло случиться, что искусство, до известной степени строгое и страстное, не колеблясь, смешивают с писаниями захолистного пасквилянта, который корявым немецким языком выразил весь свой жалкий запас озлобленности нижнего чина против начальства? Не думайте, что ставить так вопрос — занятие праздное, что он не касается ни меня, ни вас! Я знаю таких, которые сегодня еще называют обвинителя глупцом, но, возможно, и они вскоре закричат по моему адресу: “Бильзе! Пасквилянт! Гнусный писака!” — а случится это именно тогда, когда я, раздлававшись в художественном произведении с каким-нибудь событием, буду беспощаден также и к ним...

Все, что я имею сказать об этих вещах, чрезвычайно важно для меня, и однажды во время вечерней прогулки я решил сделать из этого статью, чтобы ее прочло побольше людей. Ибо, когда достаточное количество людей прочтет эту статью, у нее появятся шансы быть прочитанной и теми, которых она прямо касается. Она может всем принести пользу, может разъяснить, заранее успокоить и примирить, предотвратить недоразумения. Хотите меня еще немного послушать? Еще минут десять?

Можно утверждать одно: если всех авторов, которые, руководствуясь исключительно художественными соображениями, изображали живых людей из своего окружения, окрестить именем лейтенанта Бильзе, тогда под этим именем следовало бы собрать целые библиотеки из произведений мировой литературы, в том числе и самые бессмертные творения. Я не располагаю местом для примеров, которые бы мог привести; пришлось бы цитировать всю историю литературы насквозь. Возьмите хотя бы Ивана Тургенева, возьмите Гете — ведь и они причиняли неприятности. После появления "Вертера" Гете стоило немалого труда успокоить скомпрометированных прототипов Лотты и ее мужа. Тургенев вызвал негодование, когда в своих "Записках охотника" с беззаботностью художника изобразил русских помещиков, гостеприимством которых пользовался. Отыскивая в прошлом могучих и истинных творцов среди тех, кто вольному "изобретению" предпочитает опору на нечто уже данное, прежде всего — на действительность, мы именно здесь находим великие и величайшие имена; напротив, нам менее дороги имена тех, кто в истории поэзии значится в числе великих "изобретателей". И это, разумеется, вполне закономерно.

Кажется бесспорным, что дар изобретательства, даже художественного, ни в коей мере не может служить критерием поэтического призвания. Более того, нам кажется, что этот дар имеет лишь подчиненное значение; крупные и великие писатели часто относились к нему едва ли не с презрением, — во всяком случае, они легко без него обходились. Тургенев в своем послесловии к "Отцам и детям"<sup>3</sup> хладнокровно заявляет: "Не обладая большой долей свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами... в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача". Я не слышу большого сожаления в этих словах, напротив — в них звучит гордость, и в связи с этим мне вспоминается разговор о заглавиях книг, — я вел его как-то с молодым немецким писателем, который закончил нашу беседу следующим замечанием: "Знаете, а ведь по сути дела все заглавия, если только это не имена собственные, носят рекламно-завлекательный характер!" Прекрасно сказано! Ведь это и есть то направление вкуса, которое "по сути дела" охотнее всего объявило бы и любое "изобретательство" завлекательной рекламой.

В конце концов не все ли равно, что является "данным", на которое опирается поэт, — история ли, легенда, старинная новеллика или же живая действительность? Что в этом смысле изобрели Шиллер или Вагнер<sup>4</sup>? Едва ли хоть один образ, хоть одно событие. Или назовем самое необычайное явление во всей истории поэтического творчества — Шекспир... Несомненно, что он, обладавший всем на свете, обладал также и даром изобретательства; но еще бесспорнее, что он не придавал ему большого

значения и редко им пользовался. Изобрел ли он хоть один сюжет? Даже сложные хитросплетения его комедийных интриг выдуманы не им. Он использовал старые пьесы, итальянские новеллы и, кроме того, — не забывая об этом, мой гневный читатель! — он изображал и своих современников, хотя несколько иначе, чем коллега из Форбаха. Так, например, он создал портрет знакомого толстяка, которого, говорят, звали господином Четлом и из которого получился Джон Фальстаф<sup>5</sup>. Он гораздо больше любил находить, чем изобретать. Он отыскивал какую-нибудь наивную историю, которая могла пригодиться в качестве притчи или пестрой личины, то есть могла стать чувственно-конкретной формой события или идеи. Его приверженность готовому сюжету, его смирение перед "данным" — изумляет, трогает; оно могло бы показаться детской скованностью, когда бы не объяснялось абсолютным пренебрежением ко всему предметному, презрением поэта, для которого конкретный материал, маскарад сюжета — ничто, а душа, одухотворение — все.

Одухотворение... вот оно, это прекрасное слово. Поэта рождает не дар изобретательства, а иное — дар одухотворения. Наполняет ли он своим дыханием заимствованный рассказ или кусок живой действительности — именно это одухотворение, одушевление, наполнение материала тем, что составляет сущность поэта, делает этот материал собственностью художника, на которую, по глубочайшему его убеждению, никто не имеет права посягнуть. Совершенно очевидно, что это может и должно привести к конфликту с достопочтенной действительностью, которая высоко ценит самое себя и ни в коем случае не желает быть скомпрометированной одухотворением. Но при этом действительность превеличивает степень, в которой она вообще остается действительностью для поэта, присвоившего ее, особенно в том случае, когда он отделен от нее временем и пространством. Я говорю о себе... Когда я начинал писать "Будденброков", я жил в Риме на Via Torre Argentina trenta quattro\*, на четвертом этаже. И можете мне поверить, мой родной город был для меня не очень реален, я не вполне был убежден в действительности его существования. Он со своими обитателями имел для меня немногим большее значение, чем сон, игривый и вполне почтенный, когда-то виденный мной и в самом прямом смысле являющийся моей неотъемлемой собственностью. Три года я неустанно работал над книгой, которая продвигалась с трудом. И я был глубоко потрясен потом, когда узнал, что в Любеке она произвела сенсацию и вызвала ярость. Какое же отношение имел реальный современный Любек к плоду моего трехлетнего труда? Вздор... Если какой-то факт послужил мне поводом для того, чтобы построить фразу, что же общего между этим фактом и моей фразой? Филистерство... Это так во всех случаях, — не только тогда, когда годы и градусы

\* Улица Торре Аржентина, 34 (ит.).



широты отделяют прообраз от произведения. Действительность, которую поэт заставляет служить своим целям, может быть его повседневностью или самым близким и любимым человеком, поэт может сколько угодно сохранять верность внешних деталей, порожденных этой действительностью, пытаться жадно и последовательно сохранить в своем произведении любой признак этой детали — и тем не менее для него (а значит, так должно быть и для всего света!) между действительностью и ее изображением пролегла бездонная пропасть: то различие в самой сущности, которое навсегда отделяет мир реального от мира искусства.

Но вернемся к одухотворению: по сути оно не что иное, как тот поэтический процесс, который можно назвать субъективным углублением в изображении действительности. Известно, что каждый настоящий поэт до определенной степени отождествляет себя со своими персонажами. Все образы поэтического произведения, — пусть они даже противопоставлены друг другу как враждебные силы, — представляют собой эманацию поэтического "я", и Гете в такой же степени жив в Антонио и одновременно в Тассо<sup>6</sup>, как Тургенев — и в Базарове и в Павле Петровиче. Однако это тождество, по крайней мере иногда, существует и там, где читатель его совершенно не замечает, где, казалось бы, он может поклясться, что ничего, кроме презрения и отвращения, не руководило автором при создании образа. Разве еврей Шейлок<sup>7</sup>, отвратительное и мерзкое существо, не становится, ко всеобщему ликованию, жертвой обмана, разве он не раздавлен, не уничтожен? И все-таки бывают моменты, когда нас охватывает ощущение глубокой и страшной солидарности Шекспира с Шейлоком. Мы должны здесь понять, что в сфере искусства объективного познания вообще не существует, а есть только интуитивное. Все объективное, все присвоенное и внешне завлекательное относится лишь к живописному началу, к маске, к жесту, к внешним признакам, которые представляют собой лишь характеристику, лишь чувственный символ, как, например, еврейство Шейлока, черная кожа Отелло, тучность Фальстафа. Все же остальное (а остальное это и есть почти все!) субъективно, оно — интуиция и лирика и принадлежит всезнающей и всеобъемлющей душе художника. Если же речь идет о портрете, об изображении, — разве в таком случае то, что я называю субъективным углублением действительности, не отнимает у события все произвольное и случайное? Разве внутреннее слияние поэта с образом не устраняет поводов для того, чтобы прототип почувствовал себя оскорбленным?

Как раз напротив. И как ни удивительно это звучит, именно в таком кажущемся примирении, в собственно поэтическом, субъективном углублении, в использовании портрета ради высших целей и сосредоточена опасность для человека; я утверждаю это потому, что не могу отказаться от убеждения, что даже и безмолвные вещи можно освободить и превратить их в добрые, дав

им словесное выражение. Но именно отождествление и вызывает злобу. Как уже говорилось, поэт следует за данными ему деталями, присваивая себе внешние признаки, о которых мир имеет право сказать: это — тот или та. Вслед за этим он одухотворяет и углубляет личину чем-то иным, собственным, использует ее для постановки проблемы, которая, быть может, этой личине совершенно чужда. Таким образом, появляются ситуации и действия, которые; по-видимому, очень далеки от прообраза. Люди же думают, что на основании этих внешних признаков они вправе и все остальное считать "правдой", анекдотом о личностях, рыночным товаром, сплетней... Вот и готов скандал.

Неизбежно ли это? Неужели нам не понять друг друга? Разве я так глубоко отличаюсь от остальных людей? С детских лет меня приводило в бешенство стремление публики вынюхать личное там, где налицо лишь абсолютное творчество. Я немного рисовал, рисовал карандашом человечков, и они мне казались очень красивыми. Когда же я их показывал людям, надеясь заслужить у них похвалу, они спрашивали: "Кто бы это мог быть?" — "Никто, — восклицал я, чуть не плача. — Это человек, как видишь; я его нарисовал; это просто контур, вот и все!.." С тех пор ничего не изменилось. Все еще люди твердят: "Кто бы это мог быть?"

Меня всерьез спрашивали, что бы я предпринял, если какой-нибудь талантливый приятель сделал бы меня предметом пересудов, написав блестящий рассказ, герой которого, вылитая моя копия, совершает подлости. Неужели я бы стерпел, не дал пощечину этому талантливому приятелю? Ну, уж этого бы я, наверное, не сделал. В остальном все бы зависело от обстоятельств. Но, во всяком случае, не от литературного таланта моего приятеля. Я не настолько эстет, чтобы все простить во имя прекрасного стиля. Я не отрицаю, что существуют изящно написанные подлости. Но если бы я признавал в моем приятеле талант в высоком и серьезном смысле этого слова; если бы я видел в нем, уже на основании его прежних работ, не только искусного художника, но и поэта, для которого работа — это (всегда и прежде всего) работа над самим собой и для которого также и данный труд явился бы результатом самодисциплины и самоосвобождения, — я бы сказал ему: "Дорогой друг, откровенно говоря, меня несколько удивляет, что именно я стал прообразом твоего подлеца. Пусть так. Ведь и я бываю подлецом. Как бы то ни было, — браво! Заходи, приятель, я покажу тебе мои новые книги".

... Здесь, мне кажется, уместно коснуться еще одного обстоятельства, которое, по моему убеждению, нередко обостряет недоразумения между поэтом и действительностью. Я имею в виду ту кажущуюся враждебность поэта по отношению к действительности, ту видимость враждебности, появлению которой способствует беспощадность наблюдающего познания и критическая точность выражения. < ... >

Художник <...> хочет познавать и создавать. Он гордо и терпеливо переносит муки, неизбежно связанные с познанием и творчеством, и это сообщает его жизни черты нравственного героизма. Но знают ли люди об этих муках? О том, что всякое созидание, творчество, рождение — это боль, борьба и родовые муки? Обо всем этом, может быть, и известно, об этом должны знать люди, и не следует брюзжать, когда художник не обращает внимания на те человечески-общественные соображения, которые противостоят его труду. Но известно ли также о том, что познание — то художническое познание, которое обычно называют "наблюдением", — что оно тоже причиняет боль? Наблюдение как страсть, как мученичество, как геройство — кто знает его таким? Здесь скорее уместно сочувствие, чем злобный лай... Я как-то раз слышал, как один поэт сказал: "Посмотрите на меня! Я не выгляжу чересчур бодрым, не правда ли? Я выгляжу старым, осунувшимся, усталым... Кстати, о "наблюдении": можно себе представить человека, по природе мягкого, доброжелательного и немного сентиментального, которого свойственная ему наблюдательность и ясновидение попросту сведет в могилу... Блаженны злые! Что же касается меня, то я хуюеу..."

Этому поэту, как мне кажется, удалось выразить в меланхолически-шутливой форме то, о чем я думал: разлад между художническим и человеческим миром, который может привести к непримиримым внешним и внутренним конфликтам. Взгляд художника на явления внешней и внутренней жизни отличается от человеческого взгляда: он и более холодный, и более страстный. Как человек ты можешь быть положительным, добрым, терпимым, любвеобильным, можешь обладать вполне не критическим свойством видеть любое явление в розовом свете, но как художник ты подчиняешься демону, который заставляет тебя "наблюдать" и с молниеносной быстротой и болезненной озлобленностью поглощать каждую подробность, характерную в литературном смысле, типичную в своей значительности, открывающую перспективы, выражающую расовые и социальные признаки, подробность, которую ты беспощадно запоминаешь, словно тебе чуждо всякое человеческое отношение к увиденному, — все это обнаруживается в твоём "произведении". Предположим теперь, что в связи с этим произведением встает вопрос о портрете, о художественном претворении близкой действительности, и мы тут же услышим жалобу: "Вот такими он увидел нас? Так холодно, насмешливо-враждебно, так равнодушно он смотрел на нас?" Прошу вас, замолчите! Попытайтесь в своей душе отыскать хоть немного уважения к чему-то более суровому, серьезному, глубокому, чем то, что ваша мягкотелость зовёт "любовью"!

Но этот поэт, как мне кажется, коснулся и другого вопроса: болезненной чувствительности наблюдения, которая проявляется и выражается как раз в той "критической точности" слова, которую я ранее назвал источником недоразумения. Не следует

думать, что утонченность и бдительность наблюдающего сознания может достигнуть необыкновенной степени и что одновременно не увеличится восприимчивость. Есть такая степень чувствительности, когда любое переживание превращается в муку. И единственное оружие, которое дано восприимчивости художника, чтобы он мог реагировать на различные явления и переживания, обороняясь от них по законам красоты, — это их выражение, их обозначение, наконец та реакция выражения, которая (мы говорим о ней с некоторою долей психологического радикализма) стала возвышенным *мщением* художника своему переживанию и которая будет тем более сильной, чем острее чувствительность, на которую натолкнулось восприятие. Вот он — источник холодной и неумолимой точности обозначения, та натянутая и дрожащая от напряжения тетива, с которой вот-вот слетит *слово*, острое, оперенное слово, — оно со свистом пронзает самый центр мишени и, впившись в него, еще продолжает трепетать. Но разве этот суровый лук не такая же неотъемлемая принадлежность Аполлона, как и сладостная лира? Нет ничего более далекого от искусства, чем заблуждение, согласно которому холодность и страсть исключают друг друга. Нет большего недоразумения, чем заключать от критической точности выражения к озлобленности и враждебности в человеческом смысле!

Но тщетно. Необходимо еще на миг задержаться на этом удивительном факте: отчетливость выражения всегда производит впечатление враждебности. Точное слово ранит. Я оставляю в стороне примеры, опыт; привожу лишь вытекающую отсюда мораль. Блажен тот, чья потребность к точному обозначению не слишком чутко реагирует на раздражения со стороны действительности, кто не слишком заботится о страстной ударной силе слова. Действительность любит, чтобы с ней разговаривали вялыми фразами; художественная точность обозначения приводит ее в бешенство. И тем не менее истинный любитель слова скорее навлечет на себя гнев всего света, чем согласится пожертвовать хотя бы одним оттенком... Настоящему художнику, — который не наполовину, а весь, по призванию, по страсти художник, — ему боль познания и созидания, подчеркнем это еще раз, принесет нравственное удовлетворение, которое вознесет его над всеми обидами и скандалами общества. Нет ничего на свете более искреннего, более глубокого, чем порыв негодования, который окрыляет художника, когда действительность, охваченная нелепым самолюбием, пытается наложить руку на труд его одиночества. Как? Мука оказалась напрасной? Она должна погибнуть для искусства? Ведь столько всего погибает! Ведь столько пережитого и выстраданного никогда не будет воссоздано! Но все то, что обрело форму и собственную жизнь, произведение, созданное художником в муках, — как! — он не должен был предавать его гласности? Оно не принесет ему славу? Так заявляет о себе честолюбие. Так неизменно оправдывает себя всякое честолюбие...

Бильзе и я... Со мною согласятся, что какая-то разница существует, и, может быть, она напоминает разницу между наглостью и свободой. Когда я говорю о свободе, я имею в виду ту внутреннюю независимость, нескованность и одиночество, которые и составляют предварительное условие каждого нового и самобытного творения. Она вовсе не исключает сердечной человеческой привязанности. Но в ней заключено достоинство и величие художника, и соображения осторожности и бюргерского такта не властны над нею. Теперь охотно рассуждают о науке "без предвзятости". Так почему же хотят отказать науке о прекрасном, веселой науке искусства в праве на отсутствие "предвзятости"? "Художник, — сказал один поэт и мыслитель, — который не отдает себя всего в жертву, — никому не нужный раб". Это — бессмертная правда. Но как я могу отдать себя всего в жертву, одновременно не отдав в жертву и тот мир, который является моим представлением? Моим представлением, моим переживанием, моим сновидением, моей болью? Не о вас идет речь, вовсе не о вас, утешьтесь, — но обо мне...

Читайте это! Запомните это! Это — послание, маленький манифест! Не спрашивайте постоянно: кто бы это мог быть? Я все еще рисую человечков, контуры, и они никого не изображают, кроме меня самого. Не говорите постоянно: это — я, это — тот. Это лишь выражение мысли художника по поводу вас. Не мешайте сплетнями и оскорблениями его свободе, — лишь она одна помогает ему делать то, что вы любите и превозносите, и без нее он был бы никому не нужным рабом.



*Герман Гессе*

### ДВУХТОМНИК НОВАЛИСА<sup>1</sup>

Из записок старомодного человека

#### I

Когда я раздумываю над тем, как представиться читателю, которого, возможно, найдут эти заметки, я прихожу к выводу, что правильнее всего будет именовать себя библиофилом, ибо к этому обязывает фабула данного сочинения. И, собственно говоря, именно это и есть мое основное занятие. По крайней мере, самым ценным моим достоянием, к тому же таким, которое приносит мне истинную радость и составляет главный предмет моей гордости, является моя библиотека, и ничто другое не может с нею сравниться. К тому же во всех сложностях книжного мира я ориентируюсь быстрее и легче, чем в жизненном хаосе, а в поисках и приобретении прекрасных старинных книг я проявлял больше находчивости и чаще добивался удачи, чем в попытках дружески соединить свою судьбу с чужими судьбами.

Я, правда, старался всегда сохранять живое общение со всем, на чем лежит печать человеческого, и даже в моей страсти к старинным фолиантам есть что-то от подлинной жизни, хоть она, возможно, и выглядит лишь как сильное увлечение стареющего холостяка.

Волнующее тепло, которым дарят меня мои книги, исходит не только от их содержания, внешнего вида этих изданий и их уникальности, но и от радостного удовлетворения потребности узнавать всеми способами историю собираемых книг. Но я имею в виду не хронику их написания и распространения, а частную

историю каждого экземпляра, являющегося в настоящее время моей собственностью.

Когда я перелистываю сочинение какого-то писателя прошлого, раннее издание Клаудиуса, Жан-Поля, Тика или Гофмана<sup>2</sup> и чувствую, как доверительно шелестит между моими пальцами, большим и указательным, простая, вышедшая из употребления типографская бумага, я не могу удержаться от мыслей об ушедших поколениях, для которых эти состарившиеся листы бумаги когда-то означали современность, жизнь, волнение или какое-нибудь новшество. Ах, если бы знать, сколько рук, трепеща от жажды чтения, с восторгом прикасалось к этому выдавшему виды экземпляру "Титана" или "Вертера"<sup>3</sup>, как часто он в ночной тиши старинных комнат при тусклом свете заставлял юные души ликовать или проливать слезы!

До чего же дорогими нашим сердцам становятся книги, прошедшие долгий путь через несколько поколений и доставшиеся нам в наследство от далекого предка, тома, которые мы уже детьми видели за стеклами старинного шкафа и упоминание о которых мы встречаем в сохранившихся до наших дней письмах и дневниках дедушек и бабушек! А на некоторых купленных у кого-то книгах мы читаем чуждые нам имена прежних владельцев и дарственные надписи, начертанные в отдаленные времена, находим подчеркнутые строки, загнутые уголки страниц, пометки на полях или забытые закладки и рисуем себе при этом серьезные лица умерших много десятилетий тому назад людей, почтенных отцов и матерей семейств, облаченных в давно вышедшие из моды одежды с диковинными манжетами и оборками и принадлежавших к числу первых читателей "Вертера", "Гёца" и "Вильгельма Майстера"<sup>4</sup> или первых слушателей бетховенских премьер.

Среди любимых книг в моих шкафах есть много таких, предполагаемую историю которых я превращаю в богатейшее поле для смелых догадок и изысканий. При этом я вовсе не пытаюсь сдерживать свою фантазию и преграждать путь домыслам и делаю это отчасти от удовольствия, а отчасти из убеждения, что путь к постижению подлинных внутренних законов истории ушедших времен лежит через вымысел, а не через научное познание. Чуть ли не для каждого тома моего собрания — от альдин итальянско-го Возрождения, набранных великолепной антиквой и отпечатанных ин-октаво<sup>5</sup>, до первых изданий сочинений Мёрике, Эйхендорфа и Беттины фон Арним<sup>6</sup> у меня был придуман исконный владелец. Иногда здесь играли роль войны, празднества, интриги, кражи, убийства и естественные кончины каких-то людей. Истинными эпизодами мировой истории и вымышленными семейными хрониками овеяны антикварные фолианты, к которым, даже в тех местах, где они несколько повреждены, я не позволю прикоснуться ни одному современному переплетчику.

Но кроме этих книг есть у меня и такие, подлинное прошлое которых мне досконально известно либо с самого начала, либо

хотя бы за последние десятилетия. Я знаю имена их бывших хозяев и имя мастера, который переплетал их в свое время, я знаю, чьей рукой и в каком году сделаны заметки на полях. Я знаю, в каких городах, домах, комнатах или шкафах жили эти книги. Я знаю, наконец, кто омыл слезами их страницы и какие чувства побудили его к этому.

Эти несколько книг мне дороже всех прочих. Общение с ними не раз избавляло меня от меланхолии, — ведь молчаливое окружение книжных шкафов часто повергает меня, одинокого человека, в глубокую печаль, ибо я ощущаю, как быстро все, что некогда было новым, современным и важным, предается забвению или становится предметом равнодушного интереса другой эпохи, созерцающей прошлое со снисходительной улыбкой на устах, и как быстро меркнет наша память.

Тогда немногие эти тома, стараясь утешить меня, шепчут о таинстве любви, обо всем, что в вихре времени остается непреходящим. Когда я страдаю от одиночества, они дарят мне соседство внезапно возникающих портретов усопших друзей, и я с радостью и благодарностью вглядываюсь в эту длинную вереницу. Ибо в такие минуты осознание своей принадлежности к большому сообществу в качестве ее скромного, бесправного сочлена все-таки лучше и утешительнее, чем ощущение жестокого и бессмысленного существования в бесконечности.

Из этих близких мне книг я выбрал одну и хочу рассказать ее историю, чтобы сделать эту книгу, быть может, дороже будущей владельцу.

Среди различных изданий сочинений Новалиса, которые я собираю одно за другим, есть также "четвертое, расширенное" штутгартское переиздание 1837 года в двух томах, отпечатанное в одну шестнадцатую долю листа на непроклеенной бумаге. Его первым владельцем был дед одного из моих друзей, а всю дальнейшую историю этого двухтомника мне было нетрудно узнать, так как он с тех пор надолго попадал в руки моих знакомых и родственников.

## II

Это было весной 1838 года. На лице у Вицгалья, владельца книжного магазина в Тюбингене<sup>7</sup>, появилась недовольная гримаса. Его главный помощник стоял с письмом кандидата Реттига в руках перед конторкой своего шефа, на которой лежала расчетная книга, раскрытая на той странице, где значился список книг, приобретенных вышеназванным кандидатом. В этот список красивым почерком с четко выписанными цифрами было занесено множество названий, унесенных из магазина студентом Реттигом за семь семестров. В начале списка кое-где еще встречались выплаты в несколько гульденов, но уже с давних пор в колонке "Приход" не появлялось новых цифр, и общая стоимость отпущенных



в кредит книг намного превысила двести пятьдесят гульденов. На полях страницы было написано карандашом: "Обещаю уплатить в марте 1838 года". Но сегодня было уже седьмое апреля, а письмо кандидата гласило: "Милостивый государь! Я только что ознакомился с Вашим напоминанием об уплате моего долга, изложенным в не слишком учтивом стиле. Кто я? Жулик? Шелудивый пес? Никак нет, я кандидат филологии и человек честный, хоть и не располагающий в данное время денежными средствами. Замечу мимоходом, что я считаю величайшей гнусностью определение презренного металла как *pervus regum*\*. А Вы придерживаетесь иного мнения? Я, разумеется, все уплачу, но только не сейчас. Но чтобы Вы окончательно убедились в добрых моих намерениях, я готов вернуть Вам ту часть моей библиотеки, без которой я могу в данный момент обойтись, с тем, чтобы Вы списали с моего кредита соответствующую сумму. Посему я приму Вас с этой целью завтра между двумя и четырьмя часами в своем обиталище в доме номер восемь по ул. Неккархальде".

Вицгаль был вне себя от гнева и выразил желание передать судебному исполнителю дело о взыскании всего долга. Но рассудительный помощник уговорил его принять предложение Реттига. Он благоразумно полагал, что следует по возможности пощадить Реттига как сына уважаемых родителей и человека одаренного, который, без сомнения, блистательно защитит свой диплом и, возможно, уже через несколько лет станет знаменитым филологом и литератором. Поэтому было решено принять обратно книги должника, назначив за них крайне низкую цену, и помощнику было поручено на следующий день в часы, назначенные кандидатом, произвести оценку книг и договориться с ним обо всем необходимом.

А в это самое время Реттиг сидел дома, пребывая в мрачном настроении. Из окна открывался вид на здание теологического факультета университета, вдали виднелись горы Швабской Юры, ближайшие отроги которой, овеянные первым дыханием весны, уже сверкали нежной зеленью. Был ясный день, дул теплый ветер, и чистейший, прозрачный воздух был как бы пропитан яркими красками, исходившими от синего неба и от светлых полос облаков. С улицы то и дело доносились звуки студенческих песен, громкая разногласица, шум каретных колес и цокот копыт верховых лошадей, и все это означало, что на дворе был первый солнечный день апреля.

Ничего этого Реттиг не замечал. История с книгами из магазина его, правда, не очень взволновала, но за последние дни подобные и даже более сердитые напоминания приходили к нему со всех сторон, так что, став предметом внимания различных кредиторов, он чувствовал себя подобно мухе, бьющейся в паутине. К этому присоединялись заботы о предстоящей в ближайшее время защите диплома, страх перед неизбежной после этого

\* Движущая сила (*лат.*).

службой, а значит, и перед мещанским бытом и мучительная мысль о предстоящем прощании с Тюбингеном.

Сердито попыхивая длинной черешневой трубкой, он полулежал на ветхом диване и, наморщив лоб, следил за диковинными узорами табачного дыма, которые, медленно кружась, устремлялись к открытому окну. В светлой комнате у широкой стены, увешанной трубками, литографиями и силуэтными портретами, стоял весьма солидный стеллаж, в котором наряду с классиками и учебниками разместилась довольно-таки значительная коллекция исторических и беллетристических произведений. У Реттига была явная критическая жилка, и с недавнего времени он участвовал в литературной жизни, публикуя рецензии и небольшие журнальные статьи.

Наконец он со вздохом покинул свое удобное ложе и, переложив трубку в левую руку, начал осмотр своей библиотеки. Филологический отдел, и так ограниченный лишь самыми необходимыми названиями, должен был оставаться нетронутым. С гневом и душевной болью бедный кандидат снимал с книжных полок книгу за книгой, отрывая от сердца одну любимицу за другой, долго перелистывал некоторые из них, инстинктивно оставляя за собою право на отказ от принесения их в жертву. В памяти его прошла целая вереница семестров, в течение которых он том за томом собрал свою библиотеку. За эти годы его живой ум быстро поднялся по ступеням духовной лестницы: от наивного восторга первокурсника до самостоятельных критических суждений знатока.

Когда на полу выросла целая гора отобранных для возврата книг, дверь отворилась. В комнату вошел высокий белокурый человек и со смехом остановился перед этой беспорядочной грудой. Это был друг и соученик Реттига Теофиль Брахофгель, занимавшийся в последнее время тем, что давал домашние уроки сыновьям вдовы одного профессора.

— А вот и я, Реттиг! Клянусь Стиксом<sup>8</sup>, ты задумал что-то невообразимое! Надеюсь, ты не собрался выкатываться отсюда.

Оставив в покое лежащие на полу книги, кандидат с недовольной миной увлек друга на диван. Ругаясь и употребляя великое множество классических клятвенных формул, он рассказал ему о своих расправах с книжным магазином.

Недоуменно качая головой, домашний учитель глядел на библиотеку, разрушение которой вызывало и у него глубокое сожаление. Он встал с дивана и взял в руки верхнюю из громоздившихся книг.

— Как? — воскликнул он изумленно. — И Новалис тоже? Ты не шутишь, старина? Новалис?

— Да, и он, сей прекраснокудрый ясновидец. А что же мне делать? Каждый оставленный том отягчает мой долг.

— Нет, дорогой мой, это невозможно! Новалиса отдать! А я как раз собирался на этих днях попросить его у тебя.

— Проси его у Вицгалья! У меня не остается почти ничего, ничего! А выбора нет. Молния не вопрошает, когда в стог ударяет.

— Послушай-ка, я нашел выход: покупаю его у тебя. Этот торгаш заплатит за него гроши. Сколько с меня?

— Дарю его тебе.

— Чушь, дружище! Недоставало тебе еще и подарки делать! Ну, скажем, один талер. Гульден я дам тебе сейчас, а остальное — в день больших денег.

— Ладно, давай! Второй том там лежит.

Брахфогель, спешивший к своим ученикам, в несколько прыжков выскочил по узкой, дряхлой лестнице с обоими томиками под мышкой на улицу. Реттиг задумчиво глядел в окно вслед своему другу и своему Новалису. Мысленным взором он уже видел, как вся его прекрасная библиотека разлетается во все концы.

На следующий день точно в назначенное время явился вежливый помощник Вицгалья. Он все просмотрел, оценил каждую книгу, назвав под конец ничтожную сумму, с которой хмуро согласился Реттиг, после чего невзрачный рабочий из магазина погрузил на тележку все сокровища и с равнодушным видом увез их прочь. У кого из нынешних библиофилов не дрогнуло бы сердце при взгляде на перечень этих книг? За первоиздания, которые мода наших дней оценивает в несколько талеров, были назначены цены в тридцать и сорок крейцеров, а то и более низкие.

В сердцах покинул опечаленный кандидат свою оскверненную обитель и, раздраженно побродив по улицам, решил завершить этот черный день своей жизни в трактире "У льва", где он в одиночестве пропил гульден, который вчера принес ему Новалис.

### III

Вечер. Фен быстро гонит облака по густому небу. В своей уютной комнате, прильнув к окну и положив на оконный переплет изящную руку, Теофиль Брахфогель взволнованно следит за бесконечным неспешным полетом облаков; превосходные стихи переполняют его сердце.

На широком рабочем столе рядом с тетрадами, почтовой бумагой и чернильным прибором лежал раскрытый второй том сочинений Новалиса. В отличие от Реттига с его критической жилкой мечтательный учитель сохранил с юных лет способность наслаждаться произведениями поэтов как сладким вином, безвольно отдавался пьянящему потоку их возвышенной речи; из трепетного кубка его взволнованной души время от времени выплескивались тяжелые капли собственных стихов.

Вот уже несколько дней он находился во власти этого глубокомысленнейшего и тончайшего романтика, чье нежное величие и чей сумрачный, насыщенный ароматом предчувствий язык покоряли своими плавными ритмами его мягкое сердце. Мистичес-

кое благозвучие этой речи было подобно потоку, отдаленный шум которого слышится глубокой ночью, полету облаков и голубому мерцанию звезд и намекало на постижение всех тайн бытия, на владение нежнейшими струнами мышления.

Вернувшись к столу, он перечел вслух великолепные строки: "Вниз я гляжу на священную ночь, несказанную, потаенную. Далеко в стороне в могиле глубокой покоится мир. Как пустынно, как все одиноко! Горечь тоски трепещет на струнах груди. — Даль незабвенная, чаянья юности, детские грезы, краткие радости жизни всей долгой, надежды пустые приходят ко мне в одеянии сером, словно вечерний туман после солнца, за горы зашедшего".

Меланхолическая красота "Гимнов к Ночи" пронзила душу молодого мечтателя, сверкнув зарницей в темной плодоносной ночи ранней летней поры.

Еще один час провел он один в тишине своей комнаты, то читая, то шагая взад и вперед, то всматриваясь сквозь оконные стекла в черноту наступавшей апрельской ночи. Затем, не закрывая дверей, он вышел на лестницу и ощупью вдоль стены поднялся наверх. Там он тихо постучал в дверь комнаты, в которой жил Герман Розиус, его прилежный друг. Тот сидел за "Гномоном" Бенгеля<sup>9</sup>, своей любимой книгой. Тихий, благочестивый студент радостно поздоровался со своим старшим другом, которым он восхищался и к которому был нежно привязан. Розиус очистил стул от остатков скудного ужина и предложил его гостю. Брахфогель вытащил из кармана томик Новалиса, который он принес с собой, и положил его на стол так, чтобы свет упал на титульный лист.

— Читал? — спросил он теолога.

Розиус отрицательно покачал головой.

— Нет, только слышал, — сказал он. — Он, кажется, как-то связан с Шлейермахером<sup>10</sup>. Ты его сейчас читаешь?

— Хочу прочесть тебе одно место.

И он прочел другу первый из "Гимнов к Ночи". Благородная простота его звучного голоса хорошо сочеталась с серьезным пафосом произведения. Ни один писатель не может оказать на читателя более чистое и возвышенное воздействие, чем это происходит в ту минуту, когда прекраснодушный молодой человек общается к его сочинениям своего друга.

Оба юноши воздерживались от каких-либо суждений. Они молча позволили отзвучать пробужденным в их душах скорбным нотам. Маленькая кабинетная лампа освещала неприглядную комнату красноватым светом.

Наконец Розиус прервал молчание. Он заговорил тихо и несмело, и даже в полутьме было видно, что он покраснел.

— Мне кажется, наступил самый подходящий момент сделать тебе признание.

Брахфогель не отвечал. Он только кивнул головой и устремил взор на добродушное лицо преодолевшего свое смущение друга. А тот продолжал все тем же тихим голосом:

— Я уж давно хотел рассказать тебе об этом, но все не было подходящего момента... Надеюсь, что этим летом я обручусь.

— Да что ты! А впрочем, что тут удивляться? Ведь вы, теологи, обычно вступаете в должность уже женихами. Но все-таки... С кем же?

— С одной девушкой...

— Да? А я так и думал.

— С Хеленой Эльстер. Она приемная дочь одного важного чиновника в нашем городке. Но не будем много говорить об этом, — ведь все это еще только предположение.

— Но ты, наверно, уже говорил с ней об этом. Или написал. Вы переписываетесь?

— Нет, нет, ошибаешься. Но я собираюсь во время летних каникул испросить у нее согласие, и, надеюсь, она его даст. Я даже почти уверен в этом.

— Она красива?

— О, да!

— Ну, рассказывай. Белокурая? Любит музыку? Играет? Поет? Высокая? Низенькая? Героическая натура? Нежная душа?

— Ты все такой же, Тео!

— Да, да, но ты говори не обо мне, а о ней. У тебя есть ее портрет?

— Портрет? Откуда же? Нет. У нее каштановые волосы, и она художава. Но сердце у нее, но душа...

— Да, Розийус, художник из тебя бы не вышел. Но я, кажется, постепенно начинаю представлять ее себе.

— Ну, послушай, что я хотел тебе рассказать. Впервые я увидел ее за чашкой кофе в доме диакона. Дело в том, что она лишь несколько месяцев тому назад вернулась из института. Ты ведь знаешь, как я всегда робею перед девушками. И надо же было мне оказаться за столиком как раз рядом с нею! Меня сводил с ума ее голос. Она говорила со своим визави о музыке, об одном путешествии, о своих подругах. Ты и представить себе не можешь, что за голос! Такой особенный, точно колокольчик звенит, но с каким-то прелестным налетом. Помнится, у моей матери был такой голос. И к тому же девушка так красива! Разглядывать ее я, конечно, не мог, но ее левая рука лежала все время рядом с моей на столе. Никогда не думал, что рука уже сама по себе может отличаться такой красотой.

— О чем ты с ней говорил?

— Нелепый вопрос! Бог мой, я только и мечтал все время, чтобы она со мной заговорила.

— Это тебе нужно было сделать, а не ей.

— Может быть. Она говорила об одном празднике. Вдруг поворачивается в мою сторону и спрашивает: "А вы тоже там были?" Я думал, что вопрос задан мне, а оказывается, она обращалась к диакону. Я ответил: "Нет", и диакон тоже что-то сказал. Тут я понял свою ошибку, и мне стало стыдно.

— И все?

— Подожди-ка! Таково было наше знакомство. Потом меня пригласили к этому чиновнику, который ее удочерил, и там я опять ее увидел. В этом доме я чувствовал себя свободнее, чем у диакона, и сумел завязать с ней разговор. Не могу сказать, что это получилось у меня очень хорошо, потому что говорила она гораздо быстрее меня и каждый раз разговаривала о чем-то новом, когда я только успевал подготовить фразу на предыдущую тему. Она дама в полном смысле этого слова. Так свободно управляла беседой, что я был совершенно сбит с толку. А потом я видел ее в концерте струнного квартета, в котором участвовали ее приемный отец и мой дядя. На этот раз она была со мною очень мила, я приободрился и за словом в карман не лез. Это был хороший день. С тех пор она, по-моему, замечает мое чувство. Слегка краснеет, когда я здороваюсь с ней на улице. Я часто старался проходить мимо ее дома. Кажется, она не без удовольствия видится со мной...

Было еще не очень поздно, когда учитель с томом Новалиса в руках вернулся в свою комнату на нижнем этаже. Он дочитал там "Гимны" до конца и перечитывал их до глубокой ночи.

С той поры день за днем целыми неделями в его ушах немолчно звучали нежные мелодии овечьего тайного поэта. Пришла весна, зазеленели каштановые аллеи, в Шенбухе<sup>11</sup> слышалось пение зябликов и дроздов, все отраднее шумели листвою кроны деревьев. Иногда погожими днями Брахфогель проводил свободное время в лесу, ложась у подножия буков, и тень от деревьев, перемежаясь с солнечными лучами, падала на раскрытые страницы его любимой книги, где виднелись легкие следы, оставленные засушенными цветами и листьями, которыми он пользовался как закладками. На полях "Фрагментов" появлялись пометки, сделанные слабым карандашом, а на последней пустой странице, иногда же и в самом тексте были отмечены даты, означавшие, что в данный день чтение в лесу было особенно приятно и произвело глубочайшее впечатление. И поныне еще среди прочих пометок на 79-й странице, где начинается сказка о Гиацинте и Розенблютхен<sup>12</sup>, можно прочитать такую: "Впервые прочитано двенадцатого мая на лесной опушке близ Бебенхаузена"<sup>13</sup>. На той же странице видны тончайшие коричневатые линии: это отпечаток жилок вложенного сюда когда-то листа бука. Но самого листа здесь уже нет.

Герман Розиус тоже часто, один или вдвоем с другом, читал оба тома и горячо полюбил эти утонченные сочинения. Но по отношению к некоторым слишком смелым местам во "Фрагментах" эта строго благочестивая натура не могла удержаться от возражений и критики. Против двух афоризмов религиозного содержания имеются отсылки к текстам из Библии, вписанные рукою Розиуса на полях. Я часто задавался вопросом, достало

ли кому-нибудь из будущих читателей любви и благочестивой пытливости, чтобы заглянуть в эти места из Священного писания.

#### IV

Лето пришло, как всегда, внезапно и быстро. Студенты разъехались во все стороны: к родителям или родственникам. Учитель, хотя и он получил отпуск на несколько недель, остался в Тюбингене, чтобы прилежно поработать. От лучей горячего августовского солнца пылали жаром узкие мощеные улицы и накалялись крыши домов. Кандидат Реттиг защитил свой диплом и еще в последний день семестра пришел к Брахфогелю, чтобы получить у него остаток платы за Новалиса.

Брахфогель перебрался на время каникул в дом на Мюнцгасе, где, наслаждаясь одиночеством, усердно трудился за своим столом, но иногда работал в библиотеке. Но вот пришло письмо от Германа Розиуса, и в тихое существование его друга вдруг ворвалось свежее дыхание жизни. Вот что он писал:

”Сердечный друг!

Как живется тебе в Тюбингене? Думаю, что там теперь все притихло. Работа твоя движется? Что до меня, то я до сих пор ни к одной книге не прикоснулся. Но теперь меня одолевает желание с толком и без спешки почитать Новалиса. Прошу тебя привезти его мне, хотя бы один том.

Да, именно привезти! Потому что я надеюсь, что ты наведишь меня в ближайшие дни, и очень прошу тебя об этом. В уходе за той девушкой я, кажется, преуспел, и мне хочется иметь тебя рядом. Прежде всего, чтобы ты разделил со мной мою радость, но, кроме того, жду помощи от тебя как от человека более умелого и более опытного в светской жизни. Я беспомощен во всех таких делах. У моего доброго батюшки найдется место для гостя, и мы как-нибудь устроимся. Пожалуйста, приезжай обязательно и как можно скорее!”

Учителя очень обрадовало это приглашение, и он решил сразу же принять его. Смеясь и напевая страннические песни, он в тот же день упаковал свой саквояж. А что касается Новалиса, то он решил, правда не без некоторого колебания, не только привезти его другу, как тот просил, но и подарить ему оба тома.

На следующее утро он пустился пешком в путь, целью которого был родной городок товарища. Ему предстояло пройти вдоль Неккара вниз по течению несколько миль. Утром солнечные лучи усиливали белизну шоссе, а днем — то был разгар лета — они делали еще прекраснее зелень плодородных берегов Неккара. С высот, преодолевать которые было нелегко, он видел, как сверкающая река прокладывает сквозь желтеющие нивы и тенистые фруктовые сады извилистый путь, часто окаймляемый круто спускающимися вниз виноградниками. Поблескивали колокольни дальних деревенских церквей. На полях и виноградниках шла жаркая

работа. Лесистые горы Швабской Юры создавали величественную завесу, за которую не проникал глаз.

Весь этот радостный, красочный мир отражался в чутком, восприимчивом сердце молодого жизнерадостного путника, и он чувствовал себя счастливым богачом. Воспоминания, предчувствия и надежды как-то сами по себе гармонично сливались с красотой картины, открывшейся взору, и ростки нарождающихся песен волновали его ум. Он был прирожденный странник, бодрый, ловкий, упорный и готовый на все, что попадалось на его пути, смотреть лишь с лучшей стороны. И глаза его, открытые для всех красот этого края, живо воспринимали тончайшие оттенки линий гор, освещения, цветовой гаммы листвы и голубизны далекого пространства.

Неутомимо шагая, он с удовольствием вспоминал путевые картины из "Генриха фон Офтердингена", которого он прочел уже дважды. И в памяти всплыли проникновенные и нежные строки "Посвящения" с их сладостной загадочностью и внутренней музыкальностью. Он, верно, и не подозревал, как похож он сам на юного Офтердингена из этого романа. Именно то, чего ему недоставало, чтобы быть похожим на созревшего мужа, придавало его натуре невинное очарование свежести. Ароматом молодости был овеян этот человек, которого никакая боль еще не лишила непосредственности и не заменила ее посвящением в зрелость.

К вечеру он добрался до городка, где жил ожидавший его с нетерпением Розиус. Над хаосом старинных и современных крыш высилась уютная колокольня, увенчанная уморительной луковкой. Полчища гусей и уток заполонили улицы, дворы и берега плавно струившегося Неккара, соединенные серым каменным мостом внушительного вида.

Старик Розиус в прошлом был коммерсантом, а вернее лавочником; уже несколько лет он находился на отдыхе и жил в новом домике, наполовину сданном жильцам. Дом этот после некоторых расспросов разыскал Брахфогель.

И вот уже гостя встречает ликующий друг, и даже его скромный, невысокого роста отец пожимает ему руку и усиленно шевелит губами, произнося старомодное приветствие. Затем Герман отводит приезжего в комнату, которую он будет с ним делить. Не прерывая веселой болтовни, учитель распаковывает саквояж, в котором рядом с бельем и сюртуком покоятся также два тома Новалиса.

— О, Новалис! — радостно воскликнул Розиус, беря в руки первый том с дарственной надписью, которую Брахфогель сделал еще в Тюбингене. Она сразу же бросилась ему в глаза, и он с благодарностью обнял щедрого друга.

Ни дарителя, ни одаренного давно уже нет в живых, но и ныне сохранилась надпись, сделанная рукою Брахфогеля на титульном листе:



”Теофиль Б. — своему другу Герману Розиусу. Лето 1838 г.”

А ниже — слова:

”Истинный поэт всеведущ; он — подлинный мир в малом.  
(Новалис)”.

## V

Если бы я вместо хроники моего двухтомника Новалиса писал бы историю Теофиля Брахфогеля и его друга, то я должен был бы изобразить времяпрепровождение учителя во время каникул, его первый визит к тому самому ”важному чиновнику” и застольную беседу в доме последнего, знакомство с красавицей Хелене Эльстер и многие встречи с нею в дальнейшем. Но я вынужден, как ни грустно, отказаться от подробного описания не только этих, но и многих прочих событий, ибо в противном случае мне потребовались бы целые тома, — ведь я вознамерился довести свою летопись до зримого конца, иными словами до наших дней.

И вот я рассматриваю своего Новалиса в поисках дальнейших следов тогдашней жизни.

Надпись, сделанная Брахфогелем в первом томе и приведенная в конце предыдущей главы, свидетельствует о том, что была предпринята попытка соскоблить ее ножом, но добротные чернила вьелись в мягкую бумагу и воспротивились попытке уничтожить надпись. Уцелела она, уцелела и цитата.

Но имеет ли для покупателя, владельца и читателя старинной книги, какое-то значение соскобленная первая буква надписи, сделанной шестьдесят лет тому назад? Нет. Это ничтожное повреждение, которое при желании даже можно исправить, наклеив новую первую букву.

Я, однако, никакой наклейки не сделал. Ведь это повреждение служит для меня напоминанием о целой главе нашей истории, главе мрачной, скорбной, которую мне трудно пересказывать, ибо в душе моей уже с давних пор живет молчаливая любовь к рукам и судьбам, к которым имела отношение эта книга.

Через три недели после первого вечера, весело проведенного учителем Брахфогелем в доме друга, он уже больше не был тем самым по-юношески беззаботным, наивно жизнерадостным человеком, каким был раньше. Он познал кое-какие вещи, быстрое знакомство с которыми старит больше, чем длинный ряд тихо прожитых лет. Он стал богаче на одно счастье, одну вину и одно страдание и беднее на одного друга и одну юность. Двухтомник Новалиса снова был в его владении, и это он сам сделал попытку соскоблить едва успевшую высохнуть дарственную надпись.

Он обручился с Хелене Эльстер, и бедный Герман Розиус в один и тот же день потерял и друга, и возлюбленную. Или, точнее, не в один и тот же день, потому что после разрыва молодые люди

еще какое-то недолгое время вели скрытую отчаянную войну за прекрасную девушку. Затем жизнерадостный красавец Брахфогель одержал победу, и беспощадное соперничество бывших закадычных друзей закончилось печальным признанием своего поражения и горьким отказом от дальнейшей борьбы со стороны одного из противоборствующих, а именно бедного теолога.

Совершил ли Теофиль предательство? Он сам мучительно раздумывал над этим вопросом и отвечал на него одновременно положительно и отрицательно. Положительно, потому что долг повелевал ему в первый же день после разговора с девушкой бежать прочь, оставляя другу его уже завоеванные права. Но потом уже нельзя было говорить о предательстве или каком-то предумышленном прегрешении: представления о грехе и праведности перепутались, а дружба расплавилась в огне неумейной страсти и была забыта навеки.

Я иногда раздумывал над тем, в какой мере его можно считать виноватым, и, по-моему, вина его действительно велика, — ведь я не знаю ничего, что было бы так неприкосновенно и свято, как сердечная дружба в юности. Но в те годы молодость Теофиля и сама его натура толкали его навстречу великой любви к женщине. И кто поручится за то, что, несмотря на его счастье, измена другу не мстила ему жестоко за себя?

Думаю, что сердце его, не привыкшее к страданиям и несправедливости, не могло не затрепетать, когда Розиус отослал ему обратно вместе с некоторыми другими небольшими реликвиями их прежней дружбы подаренную книгу, ту самую, за которой они провели вместе столько часов, исполненных светлыми мыслями. И думаю также, что оно трепетало и тогда, когда дома в Тюбингене он тщетно пытался убрать свою надпись с титульного листа этой книги — так же тщетно, как он изгонял из своего сердца отравленное воспоминание о распавшемся дружественном союзе. И еще я думаю, что иногда он читал своей невесте, часто гостившей у него в Тюбингене, стихи и сказки Новалиса. Что же испытывали они оба, когда, взяв впервые в руки книгу, она увидела эту надпись и это имя и обнаружила попытку уничтожить написанное?

Два года спустя Розиус полюбил другую женщину и отпраздновал свою свадьбу в 1842 году, на несколько месяцев позднее Брахфогеля. Служебная и семейная жизнь захватила обоих, воспоминания притупились и поблекли. Они не виделись больше никогда и лишь случайно иногда узнавали что-то друг о друге от третьих лиц.

Шла своей чередой удачно сложившаяся деловая и домашняя жизнь Брахфогеля, а поэт-мыслитель был тем временем почти полностью предан забвению; он по-прежнему хранился в домашней библиотеке, но за много лет его очень редко снимали с полки. В эти десятилетия начали постепенно вымирать прежние почитатели ранней романтической поэзии, а новых не появлялось.

Среди молодых людей было мало таких, для которых имя Нова-  
лиса являлось не просто пустым звуком, и подрастающий сын  
Брахфогеля, полюбивший книги, тоже не прикасался к обоим  
простеньким томам, стоявшим в отцовском книжном шкафу.  
Казалось, что славе писателя, погребенного полвека тому назад,  
пришел конец и наступила для него невеселая пора устаревания,  
то быстрое и печальное падение, когда тебя находят смешным,  
затем скучным, а под конец и вообще забывают.

Так наша книга стояла десять лет и двадцать лет. На ее стра-  
ницах появился легкий налет кремового цвета, та патина старею-  
щих книг, которая предшествует появлению желтизны. Но под-  
вергавшаяся в свое время осмеянию непроклеенная бумага  
великолепнейшим образом выдержала испытание временем.  
Хоть и не отличается она благородством, но сегодня она выглядит  
свежее и белее, чем бумага большинства тех жалких изданий  
семидесятых и восьмидесятых годов, которые бурют на наших  
глазах.

## VI

Около двадцати лет простояли оба скромных тома в книж-  
ном шкафу без того, чтобы кто-то ими поинтересовался. А что  
такое два десятка лет в жизни хорошей книги? И все же, может  
быть, двухтомник не пребывал все это время в полном покое,  
может, вечно занятый своими делами учитель и отец семейства  
все-таки иногда по ночам в припадке тоски, когда за письмен-  
ным столом память властно возвращала его в давно ушедшие  
молодые годы, снимал его с полки и задумчиво пробежал глаза-  
ми стареющие страницы.

Затем он, вероятно, огорчился, что имя тончайшего лирика  
так быстро ушло из людской памяти и лишь очень редко кем-то  
упоминается; он не подозревал, что через несколько десятиле-  
тий красота этой вдумчивой поэзии найдет новых друзей, горячих  
почитателей и глашатаев. Думаю, что именно в одно из таких  
обращенных к прошлому мгновений он написал на пустой поло-  
вине страницы второго тома стихи, которые взволновали меня,  
когда я их там обнаружил:

Далекой юности дыханье  
Мне слышится в твоих стихах.  
Тот юный мир, его мечтанья —  
Все унеслось, распалось в прах.  
Но ты мне даришь ароматы  
И негу майского тепла,  
Напоминая, что когда-то  
Вот так же молодость цвела \*.

Вполне возможно, что и прекрасная хозяйка дома иногда чита-  
ла Новалиса, и мне хочется верить в это, ибо на ее портрете,

\* Перевод Н.О.Гучинской.

который попадался мне на глаза в юношеские годы, я видел нежные признаки той мечтательности на благородном, одухотворенном лице, которые одаряют нас радостной догадкой, что душа изображенного всегда тянется к красоте. И мне доставляет удовольствие предполагать, что пальцы ее белой руки тоже прикасались порою к этим томикам в светло-коричневых переплетах.

Так или иначе, но книга находилась в доме Брахфогелей и оставалась там еще по крайней мере до 1862 года, когда их сын упоминал о ней в письме из Тюбингена. Как и отец, он был филологом и, занимаясь какими-то историко-литературными изысканиями, заинтересовался Новалисом. И вот из дома ему были высланы его сочинения.

На нашем экземпляре нет никаких следов, которые заставили бы сделать вывод, что в то время его часто раскрывали. Во всяком случае новых заметок на полях не появилось. По-видимому, писатель не произвел большого впечатления на студента, обучавшегося в ту антиромантическую эпоху. Находясь в его владении, книга дремала, как дремлет драгоценный камень, пока луч света не пробудит его скрытый огонь. С ней, кажется, тогда даже не всегда хорошо обращались, потому что именно к этим тюбингенским годам относится, по-моему, некоторая порча переплетов: виднеются следы затертых кругов и полукружий, видимо, от стаканов, которые ставили на них. Но все-таки еще несколько лет мой Новалис принадлежал Брахфогелю-младшему и даже испытал некоторое изменение отношения к себе в лучшую сторону.

Этот смолоду несколько чудаковатый человек обладал холодным, критическим умом.

Не успел Брахфогель-младший защитить в Тюбингене диплом, как его отец неожиданно скончался после недолгой болезни. Мать же умерла еще за год до этого. Прожив четверть века в браке, она была все еще красива и по-прежнему вызывала восхищение друзей. Молодому осиротевшему ученому приходилось теперь надеяться лишь на себя самого. Вскоре он покинул родину и один отправился на юг. Осуществить эту давнюю мечту ему помогло солидное состояние. Лишь случайностью можно объяснить, что при распродаже отцовской библиотеки Новалис продан не был и таким образом попал при сборах Брахфогеля в дорогу в его чемодан.

Подробные сведения о последующих годах я почерпнул из дневника, который Брахфогель довольно усердно вел в Италии. Но лишь на последних страницах этого дневника мы встречаем беглое упоминание о нашем Новалисе. Несколько лет Брахфогель провел в Риме, побывал в Южной Италии и Сицилии и, кажется, не часто вспоминал родину и свое прошлое. По крайней мере в дневнике сообщается лишь об итальянских делах, штудиях и поездках, а покойных родителей он поминает лишь по случаю годовщин их кончины. Но на пятом году его жизни на чужбине становится иногда заметно дыхание тоски по родине, сжигающей сердце этого одинокого человека.

В то время он провел несколько месяцев в Венеции, где работал в библиотеках, тогда как мир все сильнее и сильнее потрясал известия о франко-прусской войне. Нельзя сказать, что эти вести очень волновали нашего ученого чудака, и все-таки теперь ему чаще вспоминалась далекая отчизна, и наступали часы, когда на него буквально обрушивались воспоминания о годах юности и родных местах. В одно из таких мгновений ему случайно попался в руки забытый поэт. Дневник сообщает об этом скупым и безыскусственным языком:

”Сегодня на нижней полке среди книжного хлама я нашел старого Новалиса, и у меня появилось желание теперь, после стольких лет, снова почитать литературу такого рода. Во ”Фрагментах” среди хаоса причудливых высказываний обратил внимание на кое-что остроумное. Затем стал читать ”Генриха фон Офтердингена”, эту странную вещь”.

И спустя десять дней:

”Продолжал чтение Новалиса и дошел до конца первой части ”Офтердингена”. Я уже давно не читал немецких писателей и никак не могу отделаться от своеобразного впечатления”.

## VII

Кажется, Брахфогель долго хранил верность поэту. По крайней мере однажды во Флоренции он вновь раскрыл его и отыскал сказку о Гиацинте и Розенблютхен. Он нашел там и то место, против которого более тридцати лет тому назад его отец поставил дату, обозначив некий майский день, проведенный близ Бебенхаузена, и написал рядом с нею: ”Сетиньяно близ Флоренции<sup>14</sup>, 19 июня 1873 г.”.

Во Флоренции у него был друг Ганс Гельтнер, немец, женатый на уроженке тамошних мест. Зимой 1874 года тот часто сидел у постели больного Брахфогеля, который у него на глазах умер на больничной койке 2 марта 1875 года. Вместе с некоторыми другими немецкими книгами Гельтнеру достался в наследство от покойного и Новалис, который с тех пор вновь несколько лет простоял нетронутым в шкафу.

В эти годы в доме Гельтнера подросла белокурая красавица дочь Мария, с которой и я познакомился. Эта стройная девушка отличалась истинно немецкой красотой и уже в раннем возрасте обрела поклонников.

Когда я приехал во Флоренцию и посетил Гельтнеров, мне тоже бросились в глаза ее красота и скромный вид, так что в скорости я не колеблясь предпочел ее всем мадоннам кватроченто, ради которых я прибыл в этот город. И в конце концов вышло так, что я каждодневно стал появляться в этом доме с немецкими друзьями, но зачастую и один.

И вот однажды мне тоже попал в руки тот двухтомный Новалис. Гельтнер был удивлен, когда я рассказал ему, что якобы

канувшего в Лету романтика с недавнего времени в Германии вновь стали читать и почитать. Иногда мы сидели по вечерам в маленьком, обнесенном забором саду за каменным столом в тени, и я читал вслух тонкие, проникновенные стихи старинны Новалиса. При этом я часто обменивался мыслями с Марией, и наши беседы так нас сблизили, что я сам день ото дня все более удивлялся, как это до сих пор не заговорил с нею о любви. То были сказочные дни, каких мне с тех пор не доводилось переживать.

В это время мой друг Густав Меркель приехал во Флоренцию. Мы радостно встретились и в первые дни жили только друг для друга. Это был милый и веселый малый, подвижный, красивый, остроумный и притом добродушный. По-студенчески, болтая и распевая песни, мы с ним осушили не одну *fiasco*\* флорентинского вина.

Тоска по Марии вскоре вернула меня в ее дом. Меркель, которого я привел с собою, пришелся Гельтнерам по нраву, и вот он подобно мне тоже стал появляться в их доме каждый день.

Однажды вечером я читал там вслух "Учеников в Саисе". Затем мы стали их обсуждать, и Густав позволил себе сострить, не слишком лестно отозвавшись о Новалисе и его творчестве, и эта острота причинила мне боль. И так как, к моему удивлению, Мария не только не возразила Меркелю, но даже поддержала его своим смешком, я замолчал, замкнувшись в себе. Когда же Густав ушел, я подошел к ней в саду и пожурил ее. Она немного смутилась, избегая смотреть мне в глаза.

— Вы правы, — сказала она. — Но, видите ли, ваш друг слишком умен и прежде всего слишком остроумен, чтобы можно было ему противоречить. Не засмеяться я не могла. И как это можно затевать спор с такими милыми гостями?

— Но разве это не было похоже на измену, Мария?

— Какой вы странный! — ответила она и добавила: *Andiamo*\*\*!

Она больше не сказала ни слова. Но когда я пожелал ей покойной ночи и медленно направился домой вдоль Корсо деи Тинтори, я с удовлетворением подумал о том, что никогда не говорил ей о своей любви. Этой ночью я спал плохо.

Все быстро шло своим чередом, а я с особым любопытством напряженно наблюдал за тем, как будут развиваться события. Я видел, как Густава все чаще приглашали к столу, где он занимал место рядом с Марией. Я видел, как по вечерам он гулял с Марией по саду. Я видел, как в Бадиа он снимал карандашом копию с прекрасной головы святого Бернарда Филиппино Липпи<sup>15</sup>, чтобы подарить ее Марии, и с этой же целью покупал старинные эмали. И вот наступил день, когда на мой письменный стол легло приглашение на помолвку, написанное самой Марией. Сквозь

\* Бутылку (*ит.*).

\*\* Идемте! (*ит.*). Здесь употреблено как фразеологизм со значением: "Не стоит говорить об этом! (Пройдем мимо этого!)".

окна доносился веселый уличный гомон Флоренции и было видно, как легкие, светлые, нежные облака, играя, несутся по теплому воздуху, но я долго сидел, перечитывая снова и снова восхитительно написанные краткие, но дружелюбные строчки пригласительного послания. Вечером я отправился к ним с поздравлением.

И в этой атмосфере вновь прозвучало имя Новалиса. Произошло это следующим вечером, который я не забуду. Мы сидели за фруктами и вели беседу, но в ней я, правда, принимал мало участия. Вот уже четверть часа я рассеянно и грустно трудился над огромным персиком, орудуя крохотным фруктовым ножиком с бронзовой ручкой, воспроизводящей линии герба Флоренции. Тут Густав поднялся со стула, достал Новалиса и стал его перелистывать.

— Я должен сказать, — с улыбкой сказал он, — что я не варвар и сумел открыть для себя какое-то очарование в вашем старом символизме. Недавно я прочитал эту книжицу и нашел там великолепное стихотворение, которое хочу прочитать вам и особенно тебе, Мария.

У меня сжалось сердце, потому что я уже предчувствовал, что это за стихотворение. То самое, какое я некогда хотел прочитать красавице Марии, если представится удобный случай. Но я так и не отважился на это.

Да, так и есть, он прочел именно эти стихи, и Мария не спускала с него своих прекрасных больших глаз, а я, сторонний наблюдатель, страдал в эти минуты больше, чем за все предыдущие дни.

Вот что он прочел:

Из всех твоих изображений,  
Мария, выбрал я одно.  
Как символ тайных откровений  
Оно душе моей дано.  
С тех пор вся суетность мирская  
Меня уж больше не влечет,  
И радость горняя, другая  
Мне благодатью сердце жжет\*.

Летопись моя подходит к концу, и я бы охотно завершил ее этими чудесными стихами одной из песен Новалиса, обращенных к Марии. Но я должен сообщить, что уже через три месяца была сыграна свадьба Марии Гельтнер. Густав отправился с нею в Швейцарию, а поздней осенью привез ее в Германию.

А я тем временем уже давно успел попрощаться и с Флоренцией, и с Марией. Новалиса я выпросил себе у Гельтнера как сувенир, и он охотно уступил его мне. С тех пор он находится в моей коллекции романтиков, как раз между стихами Софи Мерио<sup>16</sup> и репродукциями картин Филиппа Отто Рунге<sup>17</sup>.

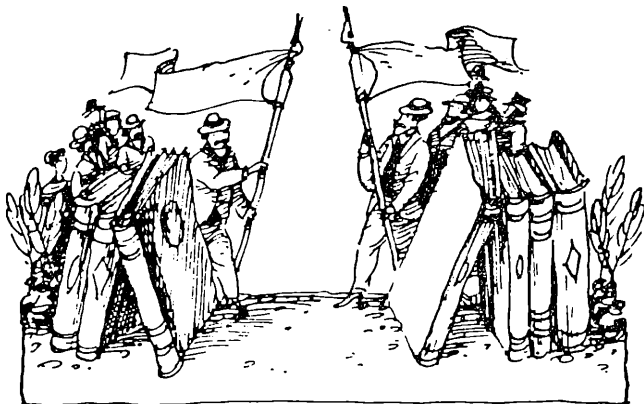
В отчуждении, которое наступило в моих отношениях с Густавом Меркелем и которому способствовало также то, что жили

\* Перевод Н.О.Гучинской.

мы вдалеке друг от друга, был виноват я. Мне следовало по крайней мере отвечать на его письма. Но я не мог превозмочь себя, так что он устал писать и замолк.

Продолжалось это, однако, лишь полтора года. А потом случилось нечто ужасное: гондола, на которой красавица Мария совершала летнюю увеселительную прогулку, затонула, и смерть оборвала счастливую жизнь этой женщины. Тогда Густав явился ко мне, и с тех пор я по-братски делил с ним воспоминания о ней, о тех днях во Флоренции и обо всем дорогом, что было связано с незаметно ушедшей в прошлое молодостью.





*Роберт Музиль*

## КНИГИ И ЛИТЕРАТУРА

### Уведомление

Критики—стрелки на страже рубежей литературы! Заранее предупреждаю, что в данном вопросе я ничего не смыслю, и, чтобы сказать еще что-нибудь о моей пригодности как критика: я не люблю читать книги.

Припоминаю, что уже много лет я редко дочитывал до конца книги, за исключением разве чего-нибудь научного или совсем плохих романов, от которых невозможно оторваться, словно от большой тарелки макарон в шнапсе, — глотаешь, пока не кончатся. Если же книга и в самом деле литература, то редко прочитываешь больше половины; с количеством прочитанного растет в геометрической прогрессии и сопротивление, никем еще поньше не объясненное. Будто ворота, через которые должна войти книга, судорожно раздраженные, плотно смыкаются. При чтении такой книги быстро утрачивается естественное состояние и возникает ощущение, что тебя подвергают какой-то операции. Вставляют в голову нюрнбергскую воронку<sup>1</sup>, и совершенно посторонний тип пытается перелить в тебя истины, присущие только его чувствам и мыслям; неудивительно, что, как можешь, стараешься избежать этого насилия!

Американцы другие люди. Такой человек, как Джек Лондон, очень живой и умный человек, не гнушается идти на выучку к покойному капитану Марриету<sup>2</sup>, радовавшему нас в детстве, и прятать прямо из шкуры дикой овцы, которую он справедливо считает нутром своих читателей. И он очень доволен, если при этом ему

удается протащить одну-другую глубокую мысль или эффектную сцену, потому что на литературу он смотрит как на мужской бизнес, который должен что-то давать и покупателю, и продавцу. А мы, немцы, настаиваем на гениальной литературе вплоть до бульварщины на моральные темы. Сочинитель у нас всегда человек необычный; он чувствует либо необычно смело, либо необычно обычно; он неизменно разворачивает перед нами свою так или иначе упорядоченную психическую систему для того, чтобы мы ей подражали. Он редко бывает человеком, который считает своим долгом вступать в диалог с читателем, а если и делает это, то, как правило, сразу же скатывается до безгранично пошлой беседы, подобно душе общества — возбудителю веселья и слезной чувствительности. (Позднее, возможно, представится повод рассказать об этом побольше.) Впрочем же, вероятно, мало что можно возразить против стремления к гениальному в литературе. Разумеется только одно: даже самый большой народ не в состоянии произвести достаточное количество гениев для такой литературы.

**Могут ли писатели не писать или читатели не читать?**

Говорят, что виноваты книги, и немецкие писатели могли бы не писать. Это очень привлекательная и убедительная гипотеза для объяснения того своеобразного неудовольствия, в которое впадаешь при чтении книг. Но ни на мгновение нельзя забывать, что это только гипотеза! Как и всякая гипотеза, она раздувает факт до избыточности, и если уж придерживаться голой истины, которая заключается в утверждении, что писатели могут не писать, то можно напрямую заключить, что немецкие читатели могут больше не читать. Это единственная определенность, пригодная для опоры. Мы, немецкие читатели, испытываем ныне необъяснимое, принципиальное сопротивление по отношению к нашим книгам. Все прочее в высшей степени неясно. Неясно также, кого и что обвинять в этом сопротивлении. А значит, нам надо прежде как следует или не как следует разобраться в том, как, собственно, читает ныне человек, который не испытывает от чтения никакой радости и тем не менее отдает книгам свое время?

К этому вопросу хотелось бы подойти очень осторожно, чтобы не сложилось впечатление, будто нам известен исчерпывающий ответ, от чего бы наших издателей охватила золотая лихорадка.

Нам бы хотелось также усматривать в человеке не блаженную жертву романов с продолжениями, вокруг которых еще свирепствуют истинно читательские страсти, а читателя, который выбирает книгу столь же серьезно, как представительство церковной общины или имя для новорожденного сына.

**Нет гениев в наши дни**

Общение с ними сразу же указывает на феномен, явно относящийся к нашему рассмотрению: когда два таких ответственных

лица, встретившись где-нибудь, заговаривают на возвышенные темы, то не проходит и пяти минут, как они обнаруживают, что у них есть общее убеждение, которое можно передать примерно такими словами: нет уже в наши дни великих творений и нет гениев!

При этом они разумеют отнюдь не ту область, которую представляют сами. Нет также речи о какой-нибудь особой форме ссылки на старые лучшие времена. Так как выясняется, что времена Бильрота<sup>3</sup> хирурги вовсе не считают хирургически более великими, чем свои собственные; пианисты же абсолютно убеждены, что со времени Листа фортепьянная игра усовершенствовалась, и даже теологи лелеют мнение, что какие-то богословские вопросы изучены ныне все же лучше, чем во времена Христовы. Но вот когда у теологов заходит разговор о музыке, литературе или естествознании, у естествоиспытателей — о музыке, литературе и религии, у литераторов — о естествознании и т. д., каждый оказывается уверен, что другие создают не совсем то; что при всем таланте этих других важнейшей, высшей и невыплаченной частью их долга перед человечеством является именно гениальность.

Этот пессимизм от культуры всякий раз за счет других — феномен, широко распространенный в наши дни. И он странным образом противоречит тем силам и умениям, которые повсеместно развиты в каждом отдельном человеке. Складывается впечатление, что великан, который необыкновенно много ест, пьет и создает, не желает об этом знать и, подобно юной девице, утомленной малокровием, апатично заявляет о своем бессилии. Есть очень много гипотез, объясняющих это явление: от взгляда на него как на последний этап обездушивания человечества и вплоть до того, что оно — начальный этап чего-то нового. Хорошо бы без нужды не умножать эти гипотезы очередной новой, а обозреть еще несколько других явлений.

#### Есть еще только гении

Ибо кажется, что обрисованная страсть к критиканству противоречит той легкости, с которой в наши дни сыплют высшими похвалами в адрес тех, кому они в этот момент подходят, и что изнутри, по-видимому, составляет с критиканством единое целое.

Если взять на себя труд и собрать наши книжные рецензии и статьи за длительный период, сделать это целенаправленно и методично, с тем, чтобы извлечь из них образ духовных движений нашего времени, то несколько лет спустя мы будем сильно удивлены количеством потрясающих душепровидцев, мастеров изображения, величайших, лучших, глубочайших писателей, совсем великих писателей и, наконец, еще одним великим писателем, которыми была одарена нация за данный период, будем

удивлены тем, как часто пишется лучшая история о животных, лучший роман последних десяти лет и самая прекрасная книга. Пролыстывая такие собрания неоднократно, всякий раз будешь вновь и вновь удивляться силе мгновенных воздействий, от которых в большинстве случаев несколько лет спустя не остается и следа.

Можно провести второе наблюдение. Еще в большей мере, чем отдельные критические высказывания, герметически непроницаемы друг для друга целые круги, образованные определенными типами издательств, к которым относятся определенные типы авторов, критиков, читателей, гениев и успехов. Ибо характерно, что в каждой из этих групп можно стать гением, достигая определенного количества изданий, при том, что в других группах это едва замечается. Несмотря на то, что в совсем крупных случаях часть публики, вероятно, дезертирует от одного знамени к другому, вокруг наиболее читаемых писателей обязательно складывается собственная публика из всех лагерей; но если составить список сочинителей, пользующихся успехом, по количеству их изданий сверху донизу, то из сопоставления тотчас же станет ясно, как мало способна пара светлых фигур, которая среди них обнаружится, влиять на формирование общественного вкуса и с тем же энтузиазмом, с каким этот вкус увлечен ими в данный момент, удерживать его от обращения к мракобесной посредственности; отдельные светлые фигуры выходят из предначертанных им берегов, но, когда их влияние падает, им оказывается впору любое из русл наличной системы каналов.

Эта разобщенность становится еще более впечатляющей, если не ограничиваться рассмотрением только художественной литературы. Просто не перечислить Римов, в каждом из которых есть свой папа. Ничтожная группа вокруг Георга<sup>4</sup>, коалиция вокруг Блюера<sup>5</sup>, школа вокруг Клагеса<sup>6</sup> по сравнению с тьмой сект, уповающих на освобождение духа посредством вишнеедения, театрального дачничества, ритмической гимнастики, устройства собственной квартиры, зубиотики<sup>7</sup>, чтения Нагорной проповеди или какой-нибудь другой частности, которых тысячи. И в центре каждой из этих сект восседает великий имярек, чье имя непосвященные еще никогда не слышали, но который в кругу своих адептов пользуется славой спасителя человечества. Такими духовными землячествами кишит вся Германия; в большой Германии, где из десяти значительных писателей девять не знают, на что им жить, неисчислимые полуидиоты вкладывают материальные средства в печатание книг и основание журналов ради собственной рекламы. У меня нет под руками нынешних данных, но перед войной<sup>8</sup> в Германии выходило ежедневно свыше тысячи новых журналов и свыше тридцати тысяч новых книг, и мы, конечно же, вообразили себя духовным маяком, свет которого замечен издалека. Однако, вероятно, с тем же успехом можно предположить, что этот избыток является неучтенным признаком

роста атрибутумании, коей одержимые группки на всю жизнь связывают себя с какой-нибудь идеей-фикс, да так, что в этом соизнании любителей настоящего параноику утвердиться у нас действительно трудно.

### Только литература

Человек, который имеет профессию и желание читать так же естественно, как он глубоко дышит, выходя из конторы, от затрудняющего дыхание смрадного воздуха спасается тем, что в порядке самообороны заявляет: это, мол, все "только литература". Если более ранние времена породили такие слова, как щелкопер, критикан, чтобы отмежеваться от определенных злоупотреблений литературой, то в наши дни стало ругательным само слово литератор. "Только литературой" называют нечто подобное призрачным мотылькам, которые порхают вокруг искусственных источников света, когда снаружи белый день. Деятельному человеку в тягость причиняемое ею беспокойство, и кто не слышал его кратких и решительных заявлений о том, что в сообщениях из зала суда, в описаниях путешествий, биографиях, политических речах, во впечатлениях у постели больного, в поездках по горам он находит поэзии и душевных потрясений больше, чем в современной художественной литературе? Отсюда недалеко до убеждения, что в наше "скоротечное и сотрясаемое катаклизмами время" подлинно живым искусством являються маленькие газетные заметки или фельетоны. Он утверждает, что величайшее стихотворение — это сама жизнь, и тем получает возможность возвести себя самого в ранг поэтического гения. Но тогда устраняется последний читатель, и остаются одни гении.

Так что нам нужно исследовать вопрос: как читают гении?

Но это известно. Гении отличаются тем, что редко признают достижения других гениев. Они читают лишь для подтверждения собственных взглядов, а это их томит. Туристов томят взгляды туристов, психоаналитиков — взгляды психоаналитиков. Они и сами все знают лучше (что, в таком случае, действительно правда). Поэтому они читают с карандашом в руке, из-под которого вырываются восклицательные знаки и пометки на полях. А в художественной литературе, по их мнению несколько отставшей, они любят прежде всего не обстоятельность; им достаточно импульса. Поэтому они читают, в сущности, одни только заголовки, которые можно пробежать глазами так же прекрасно, как и в газете; бывает, что у них вырывается и признание, — это когда они прочитывают довольно много заголовков, — и тогда они говорят, что духовно растроганы; бывает, что к ним подкрадывается и чувство одиночества, и тогда они называют все это "только литературой". Словом, гении читают так, как читают в наши дни.

Что они делают, когда пишут, остается при этом вне поля зрения.

### Небольшая теория

Настало время изложить небольшую теорию. Не нужно, чтобы она была большой и объясняла эти явления как нечто историческое, она должна быть лишь продуктом повседневного опыта. Наши головы и сердца перерабатывают воспринимаемые ими впечатления тем лучше, чем более взаимосвязаны или менее обособлены эти впечатления; мы добиваемся максимума в тех случаях, когда у нас или у вещей имеется система. Этот факт известен. Он начинается с ритмичного труда, пролегает через познание того, что всякий труд совершается совсем иначе, если известен его смысл, если он не распадается на отдельные безрадостные фрагменты и если он наполняет нас силой, оплодотворяющей великие научные теории, вследствие которых и делаются в изобилии неожиданные открытия; и сама живительная сила духовных движений — это особое психическое пробуждение в гуще совершенно неподходяще устроенных времен — кажется ничем иным, как ростом творческих успехов и достижений, которые возможны лишь посредством волшебного облегчения личного творчества, удовлетворяющего некоему великому, общему для всех, единственно представимому порядку вещей. Не случайно история духа, преимущественно история искусства, складывается в "направления" и "течения". Но эта неслучайность, естественно, неравнозначна тенденции к формированию категорически самого прекрасного искусства, она — всего лишь психотехнический трюк, облегчающий всякое формирование вообще.

Ограничиваясь чтением, можно сказать, что огромная разница заключается в том, как читают: руководствуясь всеобщими убеждениями или нет. Сейчас удивляются, узнавая о том, что в преисполненные надежд времена около 1900 года количество мякины считалось показателем столь же важным, как и количество произведенного тогда отборного зерна; позднее точно так же будут удивляться некоторым писателям, которые в наши дни стоят на переднем плане. Однако подобные недоразумения производят в определенном смысле тот же эффект, что и разумения, — они помогают читателю обрести самого себя или составить представление о реальном положении дел, они усиливают то воздействие на психику, посредством которого впечатления читателя складываются в систему взаимного облегчения жизни в обществе и умножения энергии, и польза от этого эффекта большая, чем от эгоцентризма "личного образования" или "гуманизма нравственной личности", унаследованных нами, хотя и в несколько парализованном виде, от 18-го столетия. Но если в одной и той же временной точке сходятся несколько

духовных течений, то это, естественно, не что иное, как отсутствие всякого течения, и возникает странная картина: движение только что было, более того — при внимательном рассмотрении оно, кажется, еще есть, и даже сверх меры, однако в целом ощущается быстрый упадок сил.

### Годы без синтеза

Нынешние годы можно бы охарактеризовать как интерференцию волн, которые гасят друг друга, что с некоторым удивлением и отмечается заинтересованными лицами. Но было бы чудовищным заблуждением — нашим собственным или других людей — считать, что в современности нет достаточно высокой литературы; напротив — можно бы легко насчитать две дюжины имен, служащих в совокупности таким мерилом мастерства, смелости, свободы и прочих решающих качеств, что с ними не сравнится никакой другой период в нашей литературе; но они не являют никакого синтеза, ни подлинного, ни мнимого. Грубо и буквально выражаясь — с ними нечего делать как с целым, и этим в немалой степени объясняется чувство обескураженности и разочарования, которым охвачена современность. Подобный упадок литературных сил, начавшийся в определенной мере повсеместно, выражается прежде всего не в том, что стало меньше хороших произведений, и не в том, что среди хороших затесалось больше плохих, а в определенном чувстве беспокойства, в обморочности, и даже в либеральности вкуса; вкус держится еще крепко, но встречается все реже; через разнообразные щели и пазы хлынула всякая всячина, что ранее было бы невозможно; начало теряться чувство классовых различий между произведениями, и на одном дыхании выпаливаются, например, такие имена, как Гамсун<sup>9</sup> и Гангхофер<sup>10</sup>. Этот пример кажется ныне пока несуразным, но ведь не считается же, что долог был путь от значимости Геббеля<sup>11</sup> до значимости Вильденбруха<sup>12</sup>!

В такие времена можно напомнить, что существует система, синтез поважнее любых писателей, всеохватнее и долговечнее любых течений, а именно: литература.

Каким бы разумеющимся это не представлялось и не проговаривалось по обыкновению в пол-смысла, нельзя упускать из виду, что литература — это прежде всего переворот прочно укоренившихся традиций, и не менее. Опрокидывается не только само собою разумеющееся, что литература важнее, чем ее направления, но и убеждения типа того, что искусство — это дар свыше, блаженство от причащения к отдельным великим, отдых и во всяком случае — человеческое исключение. Но поставить литературу всерьез на первое место — то же, что на обетованном острове ввести понятие о коллективном труде или, зло выражаясь, — переработать на консервы фауну этого счастливого острова, что, без сомнения, такое предприятие, которое, следует признать,

легко может выродиться одинаковым образом и в слишком многое, и слишком малое.

### Литература и чтение

Литература, нужная как чтение, призвана направлять интересы не на сумму, не на музейное скопление произведений, а на функцию, воздействие, жизнь и резюмирование книг ради продолжительности и роста их влияния. Старание как отдельного человека, так и многих тысяч людей, среди которых очень немало и чрезвычайно одаренных, написать стихотворение или роман не может исчерпываться желанием пофартить некоему количеству читателей, выбросить возбуждающий движение сгусток рабочего пара, который, повисев какое-то время на месте, рассеивается затем всевозможными воздушными потоками. Но как бы наши чувства и некий еще не дошедший до сознания опыт ни противились, сталкиваясь всякий раз один на один с конкретным произведением или конкретным писателем, мы вновь оказываемся ими задеты, выбиты из колеи и вслед за тем вновь покинуты, что, собственно, и является началом всякой литературы. А то, что мы называем историей литературы, — всего лишь тенденция к закреплению; но даже если представить ее завершенной, объясняя произведения условиями времени, а также причинным, более или менее достоверным анализом творчества великих писателей, она помогает понять и пережить прочитанные отнюдь не окольными путями или не только ими; если она не выходит за свои рамки, то задача ее — не просто упорядочивание собственно переживаний и впечатлений, а анализ и систематизация творческих личностей, времен, стилей, влияний, то есть — нечто совсем иное.

Но с тем же успехом, с каким произведение искусства во всей его неповторимости может быть встроено в некий исторический ряд — ряд не только хронологический, — оно может быть встроено и в другие ряды. Уже сам инстинктивный акт чтения сориентирован не на что иное, как на непосредственное восприятие значимости, ценности книги, то есть цель его — личное усвоение эмоционального заряда, послания, этического и эстетического смысла книги, и он должен быть таким, чтобы все это не пропало даром. Если задаться вопросом о процессах, происходящих при чтении, то даже самый беглый взгляд позволит распознать их в себе самом. При чтении перенимаются элементы мышления, которые откладываются незамедлительно; сам переживаешь находки, уяснения, открываешь новое, и все это остается в тебе даже тогда, когда повод давно забыт; тебя охватывает волнение, и чувства, которыми тебя заразили, резюмируешь в твердую установку либо в виде опыта, выраженного словами, либо в виде намерения, а то и просто предоставляешь эти чувства самим себе, чтобы затем, медленно и по частицам отдавая свою энергию,



они слились бы с прочими чувствами; запечатлеваешь в себе и то неопределенное и неопишное, что присуще литературным произведениям — ритм, форму, ход, физиогномию целого, делая это какое-то время чисто мимическими, подобно тому, как, увлекаясь какой-нибудь впечатляющей личностью, начинаешь подражать ей, внутренне перенимать ее образ, либо пытаешься сформулировать это в словах; очень трудно перечислить все процессы, происходящие при чтении, но траектория, на которой расположена их цель, распознается быстро. И произвольные движения восприятия остаются лишь осознать как единое целое.

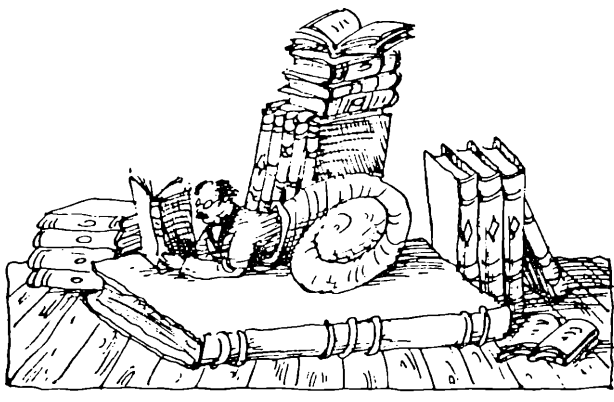
Но понимая под литературой только сумму произведений, мы получим не единое целое, а чудовищное собрание примеров, которые все разные и, тем не менее, уже известны, которые воспринимаются читателем по-разному и все же в определенном смысле одинаково — как нечто неопишное пространное, без конца и начала, как сплетение великолепных нитей, не образующих, однако, ткани. Агрегат читателей и книг становится литературой только тогда, когда сумма произведений начинает воплощать собою переработанный читательский опыт. Или другими словами: критику.

#### Критика с такой точки зрения

Есть много людей, вообще отрицающих возможность критики в этом смысле, который ведь все же предполагает наличие какого-то верха и низа, выбор каких-то направлений, при коих поступательное движение считается прогрессом. От предыдущего поколения наша эпоха унаследовала страх перед эстетическим тройным правилом<sup>13</sup>, с помощью которого стремились регулировать искусство по образцу классических гипсовых бюстов. Импрессионизм полагался на гуморальные токи, считая, что искусство доходит до сердца человека непосредственно, хотя физиологически и не совсем понятно, как. Неоидеализм и экспрессионизм оперировали каким-то не менее непосредственным "созерцанием" мыслей, не совсем совпадающим с раздумьем, которым это "созерцание" определяется. И, обновленная несколькими именитыми головами, даже сама эстетика отрицает ныне свою применимость к практике; обжегшись на молоке, она не желает больше быть нормативной. Следствием стала критика-как-мне-кажется и критика словесных шрапнелей, критика-раз-два-взяли и критика-эй-ухнем, у которых на совести так много от духовной неразберихи наших дней.

Положение критики при этом отнюдь не тяжелее, чем положение морали. Нам абсолютно не дано понять божественные и неизменные нравственные законы; мораль в своей переменчивости создана людьми, которые предпосылают ее своей жизни и навязывают другим людям; но все же нельзя отрицать, что у нее есть система, которая одновременно изменчива и постоянна. Критика

же в этом смысле ничего не значит в положении над литературой, ибо переплетена с нею. Она вносит в литературу идеологические производные, образуя тем самым традицию, — причем в идеологическом плане у нее широчайший диапазон, охватывающий также и выразительные ценности "форм", — и она не допускает повторения одного и того же без нового смысла. Критика является и растолкованием литературы, переходящим в растолкование жизни, и ревностным стражем достигнутого уровня. Такой перевод частично иррационального в рациональное никогда не удастся полностью; и то, что при этом является недостатком — упрощением, фрагментированием и даже выщелачиванием, имеет и положительные стороны — всестороннюю мобильность и большой охват отношений, подвластных разуму. Критика, таким образом, есть и плюс и минус, и, как всякая идеологическая структура, оставаясь в долгу перед жизнью многими частностями, она дает взамен нечто всеобщее. Улучшению знаний такая критика способствует мало; она может заблуждаться, ибо складывается всегда не в одном человеке, а в сложных скрещенных, в усилиях многих людей, в бесконечном процессе пересмотров, она порождается в конечном счете самими книгами, которые служат ее объектом, ибо каждое значительное произведение обладает способностью опрокидывать все мнения, существовавшие до его появления.



*Йоахим Рингельцац*

#### О ЗАБУЛДАФУСЕ

Девидиссимум Забулдафус шел к своему дяде.

Девидиссимумом родители окрестили его для того, чтобы в жизни ему хотелось стать чем-то особенным, оригинальным. Потому как его отец носил длинные волосы и бархатный жакет и всю жизнь прослонялся вокруг да около. Протягивая ноги, отец, несомненно, и понятия не имел о знаменитом изречении лорда Байрона, что двум ослам не сделать скрипки. Ибо теперь, 28 лет спустя после смерти отца и 29 — после собственного крещения, кроме своего имени, неистовой злости и двух толстых фолиантов с иллюстрированными сказками Бехштайна<sup>1</sup>, Девидиссимум ничего более существенного к своему дяде не нес.

Он ненавидел дядю, а дядя его любил и денег займам не давал. И Девидиссимум дарил и дарил ему книги. Дядя был заядлым собирателем, в том числе и книг. А Девидиссимум набирал долги. Но дядя продолжал оставаться страшным скупердяем. С тех пор, как он, к примеру, поел на званом обеде улиточного компоста, он ни о чем более страстно не мечтал, как самому стать улиткой.

И все же удивительным образом именно такой закоренелой скупости часто даны в сопровождение от одной до нескольких особенных добродетелей. И одной только радости, толковости и тщательности, с которыми дядя собирал книги, складывал книги, могло бы хватить, чтобы удушить в груди его племянника утонченнейший план убийства и мести. Мести — потому что дядя не давал денег; убийства — потому что у него их было много.

Благодаря займам в разных местах, неукротимой энергии и мошенничествам Девидиссимуму удалось взять консультации у

архитекторов, нотариусов, литературоведов, обойти все букинистические магазины и переплетные мастерские. И за два года недоброй нелюбимости он приобрел массу важных сведений, узнал, например, сколько килограммов выдержит одна балка.

И тогда, вновь явившись к своему дяде, он впервые попросил у него прощения и в знак примирения преподнес ему воспоминания Казановы, очень редкое первоиздание, франц. дорев., в 12 томах, переплетенных в бронзу.

Дядя обнял его, заплакал, и ради своего племянника этот шестидесятилетний старик не ложился до 2 часов утра, рассказывая о самом сокровенном, и даже проводил молодого человека до его квартиры за много миль от собственного дома.

Ибо скупые люди неустанны в благодарности. И они очень долго живут.

После этого Девициссимус стал приходить чаще, а потом — ежедневно, всякий раз принося дяде книги. Красивые старинные книги, интересные книги, толстые книги, фолианты, многотомные собрания сочинений, энциклопедии Брокгауза и Майера в максимальном количестве томов, всего Лютера, европейские анналы, поучительные сочинения. Обширную коллекцию изданий Библии за один приход, а потом постепенно, за энное количество приходов — все без разбора, но большей частью энциклопедические вещи. Но и сомнительные тоже, как, например, сочинения Карла Мая<sup>2</sup>, все коллекционные издания "Симплициссимуса"<sup>3</sup> и тому подобное. И все — заново и солидно переплетенное. В дерево, оправленное медью. В кожу со свинцовыми вкладками, железо, обтянутое бархатом.

Мать Девициссимуса Забулдафуса умерла от рака желудка и оставила в наследство столько, сколько можно выскрести из двенадцатилетнего котелка для бесплатных обедов. Дядя плакал, целовал, утешал, сочинял некролог, воссоздавал в памяти ее исчезающий образ, каждое воскресенье собственной персоной совершал паломничество на кладбище, чтобы опрыскать могилу, и раздаривал девичьи письма покойной. Раздаривал!

Девициссимус потратил половину дядиного наследства, чтобы отомстить ценнейшими описаниями путешествий и полным набором подшивок "Таймса" за все годы.

Он нашептывал дяде: эта драгоценная, невосполнимая библиотека пребывает под постоянной угрозой пожара. В сравнении с ее стоимостью самые высокие страховые взносы — пустяки. Они почти смехотворны, нет: посулы о возмещении — просто обман. Дядя больше не выходил из квартиры.

Девициссимус приходил и дарил. Предварительно взвешивая свои подарки идеально и материально. Благодаря двухлетним занятиям он приобрел определенные знания по физике и математике, и естественной осторожностью с его стороны было намерение доставить дяде последние пять центнеров не лично, а заказной посылкой, отговорившись гриппом. Раздавленный при этом

почтальон возникал у него в мыслях страшно печальной, но необходимой жертвой.

Радиус дядиных передвижений по квартире уменьшился. Книжки теснили книги, громоздясь друг на друга до потолка. И тут Девициссимус послал новую закрытую и безопаснейшую в пожарном отношении книжную полку из стали.

Стены дядиной квартиры призрачно потрескивали. Потрескивали перекрытия под полом. Дядя забеспокоился. Он давно уже кое-что замечал, но не знал точно — что.

Теперь вернемся к началу рассказа. Девициссимус Забулдафус шел к своему дяде. В последний раз.

Он подарил ему два иллюстрированных фолианта сказок Бехштайна, переплетенных в золоченый мрамор. Он вошел в комнату дяди и в испуге уронил книги, увидав, что пол осел и что подоконник тоже прогнулся. Но тут же, взяв себя в руки, поспешно поднял книги, чтобы облегчить пол.

— Не утруждай себя, мой мальчик, и садись! — предложил дядя. Сегодня он мог предложить и кое-что еще: сигареты, совершенно необычного сорта, привезенные специально для племянника за два часа езды от дома. Девициссимус только кивнул, ибо дыхание к нему еще не вернулось.

— Боже! Мальш, да на тебе лица нет! Ты болен?

Девициссимус в замешательстве замахал руками, начал шарить в поисках какой-нибудь... Но тут постучали, и служанка заявила, что прибыла первая партия от Боллермана.

Дядя, наверное, надеялся на очередной библиофильский подарок от Девициссимуса и сказал:

— Пожалуйста, пусть внесут, — и с удивительной силой и ловкостью снял с полки шесть Библий, как бы освобождая место для прибавления.

— Дядя! — крикнул Девициссимус, судорожно вскочив. — Не здесь ли ты?..

— Постой-ка, — ответил дядя и сунул племяннику в руки шесть Библий, да с такой силой, что бедный Забулдафус рухнул с ними обратно в кресло. Тут постучали, дверь распахнулась, и человек, похожий на дверную ручку, внес первую партию от Боллермана: два центнера картофеля.

— Пять марок, — сказал он.

Там, где пол был продавлен, затрещало. На коричневом лаке пола образовался узор — словно легкий ветерок коснулся поверхности моря.

Девициссимус хотел было... Библии...

— Дядя!! — кнакс... пракс... тррр... чшш... бумм-бумм... уххх.

Дядя проживал в мансарде пятиэтажного универсама.

Бумм... тарарах... буммм... — С тысячью книг смешались внезапно документы, пишущие машинки, молоденькие девочки и чернильницы. — Кнакк... кнакк... никс... пракс... друкс... уууух... бумм... тррр... бабах. — С чернильными машинками и пишущиль-

ницами книги, девочки, документы, акты рухнули в кучу внезапно тысячи корсетов — лиловых, белых, розовых. Кррр... ухх! Скрежещущее вжжжи-и-и... Бумм! Интимный интерьер. Уже совсем мимолетом. Вскрикнул врач. Прервалось появление на свет второго близнеца. Кнакс... уххх... буммс... буммс. И тишина...

Девициссимус был так засыпан, что торчала одна голова. Два часа длились уборочные работы, чтобы спасти его, и ровно столько же он еще жил. И все это время он видел своего дядю, парящего на крылышках в облаках и размахивающего пятимарковым билетом, и слышал его радостное щебетание.



Альберто Инсуа

### ПРОСЛАВЛЕННЫЙ КНИГОПРОДАВЕЦ

И по эту, и по ту сторону Атлантического океана редко встретишь писателя лет пятидесяти или старше, пишущего по-испански, которому бы ничего не говорило имя дона Фернандо Фе. Даже тот, кто не знал его *de visu*\*, не был знаком с носившим это имя человеком, знает его *de auditu*\*\* : он слышал бесконечные разговоры о прославленном мадридском книгопродавце, андалузце из Севильи; дома на полках стоят его издания; он читал или ему рассказывали забавные истории о знаменитом торговце книгами, в лавках которого — и в той, что была на шоссе Сан-Херонимо, совсем уж тесной, и в той, что у Пуэрта дель Соль, немного попросторнее, — за четверть века побывали все самые известные литераторы Испании, многие из латиноамериканских и даже кое-кто из живущих за Пиренеями европейцев.

Дон Фернандо Фе принадлежал к семье типографов и книготорговцев. Один из его двух братьев, Хуан Антонио, обосновался в родном городе, стал владельцем книжной лавки на улице Сьерпес, лучшей в Севилье. Другой, Рикардо, открыл типографию и переплетную мастерскую в Мадриде. Но только имя дона Фернандо вошло в "малую историю" испанской литературы последних двух десятилетий девятнадцатого века и первых двух нашего. Случилось это не потому, что дон Фернандо был книгопродавцем образованным, ученым, как, например, светлой памяти Франсиско Бельтран, один из его служащих, библиографи-

\* В лицо (*лат.*).

\*\* Понаслышке (*лат.*).

ческим познаниям которого обязаны своими достоинствами лучшие испанские каталоги и критические издания; и не потому, что книгопродавец был меценатом или пренебрегал выгодами своей коммерции (вовсе нет, он всегда стоял на страже торговых интересов и был в этом деле, как говорят в Андалусии об ушлых торговцах, цыганом из цыган); он вошел в историю литературы потому, что в те времена не было в Испании другой книжной лавки, которая с таким успехом торговала бы испанскими и иностранными книгами, а еще и потому, что дон Фернандо, настоящий андалусец, был всегда обходителен, приятен, любезен и вовсе, как говорится, не заносился. Всех на свете принимал за крошечным письменным столиком, скорее даже пюпитром, стоявшим в лавке на самом видном месте. Улыбаясь, он сохранял серьезность, но улыбка его была ласковой, ободряющей и влекла к себе, словно миска с медом, писателей, зашедших в лавку предложить что-нибудь или просто так, поболтать.

Голова у дона Фернандо была весьма примечательная. Я увидел эту голову — шел тысяча девятьсот пятый год — уже лысой, с макушкой, сиявшей, как полированная слоновая кость, в обрамлении серебристых прядей, придававших дону Фернандо благородный вид священнослужителя. Глаза у него были глубокие, блестящие. Очки в серебряной оправе сидели на крупном еврейского рисунка носу. Лоб широкий и выпуклый, такой лоб предполагается у философов; большой рот с полными пухлыми губами, ровные белые зубы. Кожа смуглая, орехового оттенка.

Иногда он говорил с посетителем, не отрываясь от расчетов или продолжая разбирать почту. А иной раз, обернувшись к собеседнику, выразительным жестом клал ему на плечо руку, тонкую, нежную, изящную, словно то была рука епископа, только вместо аметиста на ней сверкал бриллиант: правда, солитер не претендовал на уникальность и не так уж ослепительно сиял, но, случалось, дон Фернандо поворачивал все же кольцо камнем вниз, чтобы спрятать этот знак своего богатства. Так он поступал, когда говорил:

— Плохо, дружок, расходятся книги, плохо. Кризис... Я ведь вы знаете, даже менее чем при шестидесяти процентах...

Или:

— Полную распродажу вашей книги? Прикажу произвести, прикажу. Но вы должны быть готовы, что распродадут мало, совсем мало. Дела идут плохо. Покупатели, сами знаете...

Нужно было "довериться" дону Фернандо. Разве не заметил Бенаvente<sup>1</sup> в одной из своих первых и особенно забавных сатирических пьес, что "литература в Испании была делом... Веры"\*?

\* \* \*

Дело в том, что и местные, и заезжие писатели всем книжным лавкам в Мадриде предпочитали эту, принадлежащую такому

\* "Фе" по-испански означает: вера (Fe).



обаятельному человеку. Лавка на шоссе Сан-Херонимо была уж совсем тесной, казалось невероятным, как там помещаются все эти писатели, которые приходили поболтать друг с другом, поговорить о том о сем с доном Фернандо, посмотреть, как входят и выходят покупатели, а если какую-нибудь книгу покупали, то автор расцветал от радости и с притворной скромностью соглашался ее надписать. Приходили они и взглянуть — нет, не взглянуть, они приходили просмотреть книжные новинки и журналы из Франции, разложенные на маленьком прилавочке посредине узкой лавки. Дон Хуан Валера<sup>2</sup>, находясь в Мадриде, никогда не отказывал себе в удовольствии завернуть в "дом Веры", так же поступал и житель гор Перреда<sup>3</sup>, и астуриец Кларин<sup>4</sup>. Среди авторов, которых я назову мадридцами по праву их постоянного места жительства, захаживали сюда Перес Гальдос<sup>5</sup>, Пардо Басан<sup>6</sup>, Октавио Пикон<sup>7</sup> и Эухенио Сельес<sup>8</sup>.

Бласко Ибаньес<sup>9</sup> застал еще старую лавку на шоссе; он желал один занимать ее маленькую витрину, у него как раз вышли "Собор", "Непрошенный гость", "Орда"... То был бородатый Бласко Ибаньес второго, мадридского, периода своего творчества; валенсийский, лучший, остался позади, а впереди его ждала жизнь в Париже, Америке, на Лазурном берегу.

Фелипе Триго<sup>10</sup> после успеха своих "Простодушных девиц" тоже захаживал в модный книжный магазин, хотя его книгами гораздо успешнее торговал другой книгопродавец, дон Грегорио Пуэйо, обосновавшийся в каком-то чулане на улице Месонеро Романос, там была колыбель модернистской литературы. Как-нибудь я расскажу и о доне Грегорио Пуэйо, он происходил из большой, густоветвящейся семьи книготорговцев; в наши дни они владеют роскошными магазинами.

Всякий раз, как на продажу выставлял один из томов "Национальных эпизодов" дон Бенито, крохотная витринка доня Феррасивчалась — скажем так — праздничными флагами. Экземпляры книги в желтой с красным обложке заменяли флажки. Книги Бласко Ибаньеса, появлявшиеся в витрине, были толстые, в гороховых переплетах, с излишне яркими заголовками. Рекламиривала витрина и Эмилию Пардо Басан, хотя "она никогда не шла хорошо", что, надо сказать, не делает чести нашим читателям. Вообще-то все авторы — кто особенно страстно, а кто не очень — жаждали выставиться в витрине доня Фернандо, а ее микроскопические размеры предписывали суровый отбор, при котором и о меркантильных интересах тоже нельзя было забывать.

Если вы, начинающий писатель, подходили к книготорговцу и просили выставить в витрине свою "книжонку", он по-отечески клал вам на плечо свою изящную руку и тихонько говорил:

— Скажите об этом Вивесу.

Вивес, этот коротышка с крошечными глазками, был "metteur en scène"\* книжного театра. Молодой, любезный, он хотел

\* Режиссером (фр.).

угодить всем на свете. — Как же быть? Ведь этот книжный магазин — игрушечный, — сетовал он. — Да когда же мы переберемся на Пуэрта дель Соль?

Еще до того, как они перебрались на Пуэрта дель Соль, автор этих воспоминаний (в те времена он еще не писал книг, но всей душой надеялся написать и запоем читал чужие) как-то раз вечером вошел в лавку дона Фе вместе с Бласко Ибаньесом, а там, в эдакой тесноте, возвышалась уже элегантная и весьма дородная фигура Переса Гальдоса. Дон Бенито находился тогда в зените славы, Бласко — на вершине своего политического успеха. Они раскланялись, обнялись и вступили в беседу. Валенсийский романист говорил с присущим ему неудержимым многословием, жестикулируя по привычке, как на митинге. Автор "Действительности"<sup>11</sup> — со сдержанностью и спокойствием, свойственной простоте обращения великого писателя и его обычной созерцательности. Но Гальдос, хоть и едва приметно, улыбался шуткам Бласко, а дон Фернандо из-за своего пюпитра ласкал взором эту пару, знаменитую и... плодоносную — который из них "шел" лучше? — и вот тут-то по мостовой застучали железные ободья и заскрипели колеса допотопного ландо, в котором донья Эмилия возвращалась с прогулки по Прадо и бульвару Кастильяна... Бласко и Гальдос в один и тот же миг услышали этот грохот и переглянулись с комическим ужасом, невероятно картинно.

— Сама прославленная! — вскричал Бласко Ибаньес.

А Гальдос, *Sotto voce*\*:  
— Она.

И оба кинулись в комнату за лавкой, сопровождаемые сочувственным взглядом дона Фернандо и растерянным моим: ведь у нас на глазах два литературных магната, спасаясь бегством, превратились в мальчишек, ожидающих головомойку. Покусывания и раздоры совсем не редкость среди литераторов, а у доньи Эмилии язычок был как бритва... Может, Гальдос и не убежал бы из лавки, но Бласко тащил его в укромное убежище, подталкивая и смеясь над своей озорной проделкой. Служащие переглядывались.

Видавшее виды ландо остановилось у двери, и знаменитая писательница, дама весьма плотной комплекции, покинула его, отчего ландо накренилось на один бок и жалобно застонало. Она проворно вошла в лавку, поднесла к глазам лорнет, сказала "добрый вечер", едва разжав губы, и сразу же направилась к прилавку с книжными новинками и журналами. Дон Фернандо слез со стула, словно с епископской кафедры, и принялся раскланиваться и говорить любезности автору романа "Родовая усадьба Ульоа". А она, поверх книг, которые рассматривала, поверх его головы, говорила в пространство, что ей нужно что-то "совсем другое"... В комнате за лавкой царил тишина. Но мы видели две ноги и

\* Громким шепотом (*ит.*).

нарочно высовывающуюся из-за занавески руку. И ноги, и рука принадлежали не Гальдосу... Величественная донья Эмилия снова уселась в свой доисторический экипаж, и оба писателя вышли из убежища: валенсиец с веселым смехом, а Гальдос несколько смущенный, словно бы сожалел в душе о разыгранном спектакле.

\* \* \*

Я уже говорил, что лавка на Пуэрта дель Соль была не на много просторнее, чем на шоссе. Но, переменяв адрес, лавка несколько "модернизировалась", и витрина у нее стала попросторнее. Вивесу стало куда легче угодить всем писателям... К этому времени в Мадриде было несколько солидных книжных магазинов. На той же самой площади Пуэрта дель Соль, чуть ли не напротив лавки дона Фе, торговал книгами дон Алехандро Сан Мартин; лавка его тоже пользовалась большой известностью, ее предпочитал Паласио Вальдес<sup>12</sup>. Лавка располагала двумя витринами: одна, обширная, представляла читателям образцы отечественной литературы, в другой, поменьше, выставляли иностранные томики. Когда как-то в полдень в один из осенних дней тысяча девятьсот двенадцатого года эти витрины рассматривал председатель Совета Министров дон Хосе Каналехас – он любил ходить пешком, без охраны, – некий анархист дважды в упор выстрелил ему в затылок.

Несмотря на эту непредвиденную трагическую "рекламу", книжная лавка дона Алехандро не переманила писателей, преданных "дому Веры". Молодые и очень славные преемники дона Пуэйо расставили свои книжные полки в магазине на улице Ареналь. Но старый дон Фернандо, восседавший за своим сверкающим обновленным пюпитром, по-прежнему оставался чемпионом мадридского состязания книготорговцев.

Я считал себя уже известным писателем, наши отношения с дном Фернандо стали более тесными. Он распорядился, и Вивес заполнил заветную витрину томиком моего последнего романа. "Вы не пожалеете", – говорил дон Фернандо. Редко случалось, чтобы, возвращаясь из Атенея<sup>13</sup> или с заседания Кружка любителей изящных искусств, я не зашел бы позжать руку почтенному книгопродавцу и перекинуться словечком с Франсиско Бельтраном, библиографом и библиофилом, открывшим позднее собственную торговлю на улице Принсипе. Этот самый Бельтран как-то раз вечером очень взволнованно сказал мне:

– Знаете, кто отсюда только что вышел? Анатоль Франс! Да, сам Анатоль Франс, – повторил он, ему показалось, что я не верю. – Вижу, в лавке какой-то господин, в возрасте, борода с проседью, манеры изысканные, рассматривает новинки. Тут мне в душу и запало... нет, вы не представляете себе, как я был потрясен, напуган... в душу запало, что это он. Я подошел и встал рядом. Он указал на "La pâtisserie de la reine Pédauque"\* в переводе Руиса

\* "Харчевня королевы Гусиные Лапки" (*фр.*).

Контрераса<sup>14</sup> и спросил меня по-французски, интересуются ли в Испании этим автором, а я ему на его родном языке: "Oui, monsieur France, vos livres plaisent beaucoup en Espagne"\*.

– А он что сказал? – спросил я Бельтрана.

– Ничего. Промолчал. Гладил рукой книгу, улыбался, потом книгу положил на прилавок, поблагодарил и распрощался... "Merci... Bonsoir..."\*\* ... И ушел.

– Какая жалость! Вы бы хоть представили его дону Фернандо.

– Но дон Фернандо едва-едва знает французский, – возразил Бельтран.

– Какое это имеет значение! "Le français tel qu'on le parle"\*\*\* в Севилье. Уверен, что, взявший себе псевдоним Франс, сын книгопродавца Анатоля Тибо, уж как-нибудь бы сумел найти выход из положения и объяснился бы с доном Фернандо. Зря вы так...

Анатоль Франс дорожил своим инкогнито в Мадриде. Оно избавило его от торжественных речей и банкетов. Это была эскапада Monsieur Bergeret\*\*\*\*<sup>15</sup>. И, кто знает, может быть, самым интересным в этом тайном бегстве и был бы тот произнесенный диалог – диалог, не состоявшийся из-за Бельтрана, – между двумя людьми, которые прожили жизнь среди книг; один дышал этой атмосферой, наслаждаясь ею эстетически, другой – обладая острым нюхом негодянта.

Франс никогда не отрицал, что, кроме духовной ценности, у книг есть продажная цена. Ведь это ему принадлежит фраза: "J'ai toujours écrit mes livres poussé par un besoin d'argent"\*\*\*\*\*.

\* \* \*

У Фернандо Фе не было биографа. А он этого вполне заслуживает. Полвека управлял испанской литературой под знаком Меркурия прославленный книгопродавец, постигший сложную науку, как лишь с помощью улыбки или дружеского похлопывания по плечу удовлетворить тщеславие и самолюбие писателей, книгопродавец, сумевший заставить их забыть злую шутку Бенавенте.

Фернандо Фе умер, писатели расползлись по разным лавкам. Или же вовсе нигде не прижились. И тем почтили память несравненного книгопродавца.

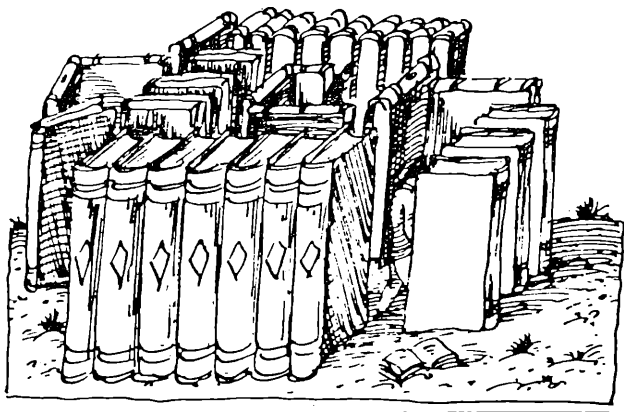
\* Да, месье Франс, ваши книги очень любят в Испании (*фр.*).

\*\* Спасибо... До свидания... (*фр.*).

\*\*\* Французский такой как говорят (*фр.*).

\*\*\*\* Месье Бержерс (*фр.*).

\*\*\*\*\* Я всегда писал книги, подстрегаемый безденежьем (*фр.*).



*Педро Салинас*

### ЗАЩИТА ЧТЕНИЯ

Сначала были чудовища. Природа еще только училась, она репетировала: творческая прихоть породила динозавров; первенцы безумно разрослись, достигли гигантских размеров, ужасающих габаритов.

Ныне Земля вновь заселяется чудовищами. Но создает их не природа, а человеческие руки: эти чудовища — машины, все механизмы мира. Да, нынешние чудовища, общение с которыми сулит человеку отдых и радость, в отличие от тех, доисторических, времен плейстоцена — создания рук человеческих. Рук человека. Человека. Homo sapiens. Человека разумного. Скажем прямо: создания разума, этого светоча, главного героя на сцене Великого театра современного мира. Вот вам и величайшая нелепость наших дней: разум, изобретатель соразмерности, самодовольный создатель упорядоченности, специализируется на выпуске чудовищ! Ведь только что наиточнейший и бесспорнейший метод мышления — научный! — преподнес нам самый поразительный подарок, какого еще не получали дети Адама: атомную бомбу, большущее яблоко первородного греха в нашем современном раю.

На Олимпе этих чудовищ есть одно, которое вовсе даже уже и не чудовище, а божество: божество количества. Оно влечет нас к катастрофе, к ложному уравниению: понятие "больше" равнозначно "лучше". Стоит человечеству попасть в эту западню, как "увеличение" заменит "улучшение", "приумножение" — "совершенствование". Дон Жуан против Дон Кихота, список покоренных женщин, только число, имен не надо, все равно каких, каких-нибудь... против совершеннейшей, против единственной,

Суперальдонсы, Дульсиней<sup>1</sup>, а ведь она могла бы спеть куплет из сарсуэлы<sup>2</sup>: "Я не какая-нибудь...", да не сочтут это за дерзость с моей стороны. Современное человеческое существо стремится реализовать себя через число любым путем и в чем угодно; вместо борьбы с роком, битва с числами. И вот, когда такое существо в поисках высокой культуры попадает в один из великого множества подстерегающих его тупиков, оно оказывается среди своих собственных творений, и блуждает, сбившись с пути среди великого множества книг. То есть среди всего, что книги в себе содержат: среди идей, теорий, поэм, прозы, среди всего, запечатленного на бумаге, — среди творений мудрых, изысканных, среди свидетельств человеческого опыта и культуры. Человек заблудился, затерялся в дебрях культуры. Как никогда прежде, он — чудовище в Лабиринте<sup>3</sup>, в лабиринте чудовищного. Вполне возможно, что человека, отважившегося только наметнуть, будто сверхизобилие книг само по себе так же гибельно для культуры, как и их нехватка, назовут варваром. Посоветуйте в этом случае счесть за прецедент нашего варварства не что иное, как высказывание Эдгара Аллана По, из его "Маргиналий"<sup>4</sup>, написанных лет сто назад: "Непомерное приумножение книг по всем отраслям знания — одно из величайших зол нашей эпохи". И ведь это факт, что все растущее изобилие печатной продукции, ежедневно влекущей нас к себе, громко зазывающей с витрин кричащими, яркими обложками, ставит современного образованного человека в затруднительное положение: как разобратся в таком великом множестве? Если мы постараемся вдуматься в создавшуюся ситуацию, то поймем что решать надо вопрос о распределении, а распределять надо — время. Дело в том, что сегодня человеку необходимо прочитать куда больше книг, чем в тринадцатом веке читал клирик, в семнадцатом — человек просвещенный, в девятнадцатом — осведомленный, и все за те же крохи времени, краткие отрезки, которые отпускает человеку для чтения его жизнь, все те же сутки, те же двадцать четыре часа. Потому что и в вопросе о чтении, о книгах человек также оказывается лицом к лицу с великим протагонистом современной трагедии — временем. Значит, при беглом взгляде проблему можно было бы обозначить таким образом: как человеку скомпоновать сегодня эти миги, эти отрезки, чтобы прочитать так много книг за столь малое время? Но, пожалуй, прежде чем принять *prima facie*\* эту формулировку вопроса, следует сделать оговорку. И прежде всего: верна ли сама эта презумпция занятости, которая заставляет сегодняшнего индивидуума хвастаться недостатком времени, тем, что ему буквально дохнуть некогда, а, следовательно, индивидуум этот очень занят, и множество проблем всемирного значения дожидаются, покуда он их решит? Такое хвастовство одно из самых распространенных, и

\* С первого взгляда (лат.).

все люди, значительные и ничтожные, твердят, что у них нет времени, словно это пароль, пропуск, позволяющий проникнуть в общество государственных мужей. Признаюсь, я человек по натуре подозрительный и недоверчивый и не могу не позлорадствовать хоть немного, когда кто-нибудь из близких, заведомо неспособный ничего сделать, уверяет меня, что у него нет времени сделать что-то.

Я осмелился бы предложить в этой ситуации только одно: будьте хоть немного более искренними, скажите внятно, что человек, который, по всей видимости, считает, будто у него нет возможности читать из-за недостатка времени, жалко обманывает себя, если только, конечно, не предположить, что он хочет обмануть нас; не времени ему недостает, а желания читать.

Где же выход? Человечество страстно ищет его, но способы и пути поисков таковы, что все еще больше запутывается, возникает сплошная несуразица.

Для борьбы с чудовищным книжным ростом предлагаются самые разнообразные выходы, способы, решения.

Я думаю, что современный человек должен сам регулировать свое чтение, поставив пределы необузданному аппетиту к книгам, который некоторые изображают как знак своего интеллектуального превосходства. Пора смириться с тем, что нельзя знать все обо всем.

А решение драматической ситуации с чтением, по-моему, надо искать в правильном обучении чтению. В формировании читателя.

Кем и с какого времени? Школой и с того времени, как будущий читатель вступает в контакт с книгой, начинает учить буквы.

Нет более серьезного и радикального метода, чем вернуться к обучению навыкам чтения в школе. К навыкам, которые достигаются не таинственными и сложными правилами техники чтения, а тем, что ученик общается в школе с лучшими учителями — с хорошими книгами. При этом преданным и убежденным посредником между учащимся и текстом должен стать учитель. Читать можно научить, читая с учениками настоящую литературу, умно направляя их, осторожно поднимаясь по крутой лестнице. В конце этого пути — сформированный ум, собственный вкус, читательское сознание, индивидуальное и свободное, а ведь только благодаря этому и можно сделать удачный выбор и в книжном мире, и в мире любых других предметов. Искусственно разделенные проблемы — что читать и как читать — при правильном обучении всегда решаются вместе. <... >

Какую же службу служат в этом книжном Вавилоне, где человек не знает, как ему выбраться на правильный путь, библиотеки, и как они ее несут: во зло или во благо?

Я вспоминаю, какое занятное смешение чувств охватывало меня, испанского мальчика начала века, когда я проникал в эти отгородившиеся от мира учреждения, в библиотеки моей родины. Меня непреодолимо влекли к себе беззвучные голоса тысяч

книг — в воображении моем они превращались в миллионы, — которые, по моим представлениям, там хранились и дожидались меня, чтобы порадовать самыми разными радостями. Но едва только жаждущее чтения существо входило в негостеприимные библиотечные залы, его словно из ушата обливали холодной водой: некая всепроникающая холодность, исходившая от стен, потолков, людей, сковывала его и давала понять, что он здесь — инородное тело. Все чуждо, замкнуто, враждебно в мире, где он искал непринужденного, открытого, щедрого общения.

Прежде всего нужно было добиться, чтобы служитель дал тебе билет на вход; он протягивал его молча, с явным выражением недоверия и подозрительности на лице, а глаза его как будто спрашивали: "И что этот парень забыл в этих отрешенных от мира стенах, если в такой чудесный весенний день, как сегодня, когда все манит пойти пошататься по улицам и площадям, он приходит сюда и нарушает величественную тишину, мешает почтенному спокойствию хранителей и сторожей?" Сраженный, с краской на лице и раскаянием в сердце — их не могли не вызвать молчаливые обвинения, которые пожилой сеньор, пронизательный и почтенный, формулировал без слов, — ты вписывал четкими буквами, все точно и подробно, свое имя, фамилию отца и матери<sup>5</sup>, адрес и так далее... и все сведения о книге в эту памятку; листочек исчезал, уносимый рукой другого служащего, чтобы начать странствие по таинственному казенному пути, должно быть, полному препятствий, если судить по затраченному времени. Иной раз листочек возвращался с уловом — желанной книгой, иной — и не редко — пустым, безо всякой прибыли, потому что в просимой книге было отказано на основании какого-нибудь из многочисленных запретов и ограничений.

Если же вас охватывало искушение — а в Испании, стране искаателей приключений, всегда находились увлекающиеся люди — извлечь какой-нибудь роман Бальзака, Достоевского, Диккенса, и вы так и писали в карточке, то служащий с внушительным, цензорским видом — глаза и голос полны упрека — изрекал священную формулу: "Романы не выдаются". Происходило это — не забудьте! — в отечестве Сервантеса, этого Христофора Колумба романного Нового Света. Ради справедливости следует сказать, что бывали исключения: сам Сервантес, Фернан Кабальеро<sup>6</sup>, Переда<sup>7</sup>, падре Колома<sup>8</sup> и донья Мария дель Пилар Синус<sup>9</sup>. Из иностранных — Вальтер Скотт и Эркман Шатриан<sup>10</sup> удостоивались иногда сравнительно свободного режима, но под пристальным наблюдением. Были авторы доступные, если вы просили что-то из их добродетельных произведений, и железно отмечаемые, если речь шла о других, сатанинских: так обстояло дело, например, с Гальдосом, разрешалось брать некоторые романы из серии "Национальные эпизоды", но даже речи быть не могло о непристойном романе "Фортуна" или о вредных глупостях "Назарина"<sup>11</sup>. Однажды я выдержал самый яростный взгляд, какой



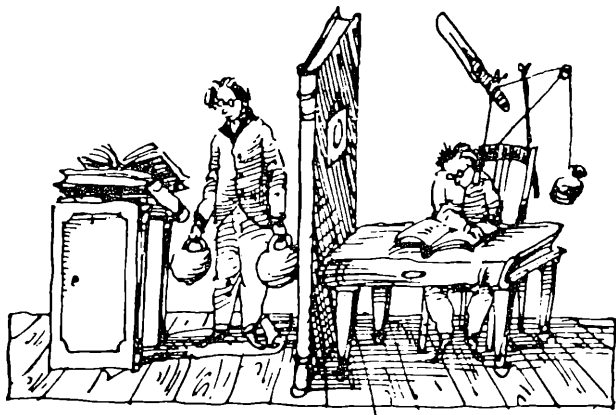
только смог метнуть в меня библиотекарь: заработал я его, отважившись спросить, робко и уже предвидя, что меня ждет, выдаются ли романы Золя. Если в какое-нибудь утро надежды получить пропуск совсем рушились, то испытанное разочарование все же бывало возмещено: ты избавлялся от тяжести настояренных, подозрительных взглядов, которые все время, стоило тебе только войти в библиотеку, цепко следили за тобой; ты выходил на улицу и мгновенно переносился в привычный тебе, уютный, обжитой мир, где даже холодный ветер с Гуадаррамы, осыпавший прохожих снежными приветями с гор, казался тебе — все познается в сравнении! — напоенным дружеским теплом.

Библиотечарское мироощущение отчетливо проявлялось в жгучей неприязни к литературе, развивающей вкус и радующей душу: к стихам, романам, ко всем созданиям творческого воображения. Для читателей предназначались совсем другие творения, их называли высокопарно: "книги для образования". Тебя впускали гораздо скорее — вероятно, из ложного местного патриотизма и почтения к образованию, — если ты указывал, что идешь заниматься и тебе нужны тома "Библиотеки испанских писателей" Риваденейры<sup>12</sup>. Издание это считалось учебным, а для меня его благословенные тома играли роль контрабандистов, очень осторожных; прорвав заслоны библиотечарей, несли они мне свои ослепительные товары — все выдумки и безрассудства Лопе и Кеведо<sup>13</sup>, все "бесполезные" вымыслы Гарсиласо или Гонгоры<sup>14</sup>.

Развешанные повсюду на самом виду таблички указывали часы, отведенные для чтения, обычно не более шести. Таков был дневной рацион знаний или радостей, который Государство предоставляло своим гражданам; не очень-то густо при волчьем аппетите многих читателей, какой, например, был у меня в те времена. Когда отведенные нам часы истекали, а срок этот всегда забавно не совпадал с положением стрелок на циферблате и опережал их на несколько минут, приказ "освободить помещение" доводился до нашего сведения либо с помощью звонка, беспрестанно громко звеневшего до тех самых пор, пока враг не бежал с поля боя, либо иной раз, в очень заштатных библиотеках, звоном колокольчика, которым потрясал парень, выполнявший эту свою обязанность с рвением, редко встречающимся у наименее работников. Даже трех секунд промедления не допускалось, словно было получено известие о всепожирающем, губительном пожаре или о набегах казаков. Следовало тотчас же закрыть книгу, даже если оставалось дочитать несколько страниц, чтобы закончить комедию Кальдерона, и более или менее невидимая дама<sup>15</sup> уже совсем готова была развязать все хитросплетения интриги, но тайна оставалась нераскрытой, хоть и разгадка была совсем рядом, рукой подать, и сердце твое трепетало от горя. Сколько раз я выходил из библиотеки в расстроенных чувствах, с поникшей

головой, потому что меня не только изгнали из этого учреждения, но и оставили на пороге тайны, когда сладостное, радостное мгновение вот-вот должно было наступить, и я все бы узнал!

Простите мне этот набросок, сделанный по радостным и горестным воспоминаниям одного юного читателя, жившего в девятисотых годах в Испании. В последующие годы там, безусловно, произошли большие перемены, и все здесь написанное следует воспринимать лишь как рассказ о давно минувших днях.



*Рамон Гомес де ла Серна*

### ПОЗЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Как только мы научились читать, нас поразило количество книг, ожидавших там, за незримой завесой. Если бы это было возможно, мы, наверное, поспешили бы разучиться разбирать буквы, испугавшись множества библиотек и архивов, взывающих к нам. Из-за каждого книжного корешка раздавалась мольба, тома протягивали к нам руки, словно дети, умоляющие взять их с собой. Именно тогда мы испытали первую головную боль от чтения и почти лишились чувств в густом тропическом лесу литературы.

О, муки чтения в раннем детстве, когда с головой погружаешься в механизм зубчатого сцепления букв, всем существом отдаваясь изучению машины из бесчисленных мельчайших колесиков! Сколько детей унес неизлечимый недуг чтения, сгубивший также немало взрослых! И все-таки наибольшую опасность эта болезнь представляет для подростков: читательский тиф поражает подрастающее поколение, вынужденное, с одной стороны, бороться с природой, желаниями и богатым воображением, а с другой — с обильным принудительным чтением. Существующее "Руководство к чтению" — не менее неприятное, чем сам процесс, — нисколько не помогает делу. Оно сродни таблеткам от морской болезни, только усиливающим тошноту.

Читателю приходится преодолевать отвращение к чтению и учебе. Необходимость продолжать читать через силу порождает бесчеловечные орудия пыток, а также разного рода лямки и подпруги. Вот, например: палка с привязанным к ней камнем представляет собой рычаг, и как только читающий отвлекается

или засыпает — бах! — камень падает ему на голову, образуя на ней шишку, как бы для того, чтобы увеличить возможности приобретения и усвоения знаний.

Большое распространение получил также умывальный таз с ледяной водой, в который плюхается голова задремавшего читателя. И уж поистине легендарными стали студенты, читающие с двумя зажатыми в руках гириями, которые — стоит их хозяевам приклонить — со страшным грохотом падают на пол, где частенько предусмотрительно постелен кусок листового железа.

Истории известен студент, который так рьяно боролся со сном, что читал под неким подобием гильотины: подвешивал над головой опасную бритву, призванную покарать его, если он заснет.

Благодаря всем этим рулям и ветрилам корабль сна, направляемый умелым кормчим, проплывает мимо стола, и чтение идет без помех.

О страшные ночи, когда текст рябит и сливается перед глазами, "в" укладываются плашмя, "о" взлетают, как пузырьки воздуха, "е" попросту исчезают, "а" испаряются! О первые кубистические каракули, представшие нам в сновидениях, причудливо искаженные, расплывшиеся!

Мучительное чтение! Все трудности сможет преодолеть лишь тот, кто нашел для себя идеальную позу, позу предпочтительную всем прочим.

Состав, густота и разжиженность крови каждого отдельного читателя определяют ту или иную избираемую им позу. Есть люди, всю свою жизнь посвятившие поиску наилучшей позы, люди, ставшие бы великими деятелями культуры, сумей они ее отыскать, но так и не нашедшие наиболее удобного и покойного положения.

Подобное исследование поз, удобных читателю, осуществляется впервые. Будь оно сделано в Германии, меня провозгласили бы "профессором поз" одного из многих неведомых университетов этой страны, но здесь, в Испании, на меня обрушится всякий, кто только способен поднять оружие.

Словно шведская гимнастика, на первый взгляд простая, но в действительности разработанная на сугубо научной основе, система удобных поз для серьезного чтения помогла бы сделать более удобоваримыми все виды литературы, включая те, которые переварить невозможно. Так и вижу таблицу, где пунктирами обозначены возможные положения, которые может принять изображенное на ней тело читателя. Как идеально переплеталось бы при этом чтение с ленью у самых отъявленных лодырей!

В настоящее же время искусство позы, брошенное на произвол читателя, остается явлением хаотическим и абсурдным, хотя отдельным индивидуумам порой все-таки удается найти наилучшее положение при чтении; — скажем, положив книгу на землю и удобно зацепившись ногами за ветку дерева, повиснуть вниз головой.



## ПРИМЕЧАНИЯ\*

*Диего Сааведра Фахардо\*\**  
1584–1648

Испанский писатель, с юношеских лет стал дипломатом: был прокуратором королевства Кастилии при римском дворе и Неаполе, посланником в Баварии, получил титул советника по делам Индии и каноника ордена Сантьяго; написал сочинения "Трактат о положении в Европе" (1637), "Готическая, кастильская и австрийская короны" (1645). Важнейшим из них автор считал "Политические девизы". Сочинения Сааведра Фахардо отличаются широкой эрудицией, художественной изобретательностью, острой полемичностью, высоким гражданским пафосом и патриотизмом.

Точная дата написания "Литературного государства" неизвестна. Вероятно, автор создал его около 1612 г. и вновь обратился к нему после 1640 г. Все это время сочинение странствовало по Испании в многократно переписанном виде. Автор не поставил под ним своего имени, и при жизни Сааведра Фахардо "Литературное государство" опубликовано не было (впервые напечатано в 1655 г.). Но именно оно принесло автору истинную славу.

В анонимности, в нежелании публиковать была веская причина. Сааведра Фахардо не хотел включаться в тот поток сатирических, критических и просто пасквильных сочинений, который наводнил Испанию в первой половине XVII в., когда в стране в связи с расцветом книгопечатания произошел своего рода "литературный взрыв", сложилась уникальная ситуация, при которой литература проникла во все социальные слои, и казалось, что писателем может стать всякий грамотный человек, когда разгорелись литературные баталии и Испания разделилась на множество враждующих между собой авторов и групп.

"Литературное государство" современники воспринимали по-разному, одни честили на чем свет стоит, считая его издевательством над культурой вообще и испанской в частности, другие восторгались, находя в нем своих врагов в осмеянном виде. Но не было никого, кто понял бы одну из главных, волнующих автора, мыслей: книги должны просвещать, быть полезными, служить нравственности, миру; наращиванию нужных обществу знаний, более разумному государственному устройству, они не созданы быть ненужным хламом, они не должны отягощать жизнь человека.

Написано "Литературное государство" под сильным влиянием анти-

\* Кроме особо отмеченных случаев, примечания составлены В.А.Эльвовой. В примечаниях не даются справки о всемирно известных писателях и ученых (Гомер, Вергилий, Гораций, Цицерон, Данте, Петрарка, Шекспир, Декарт, Ньютон...), часто упоминаемых мифологических персонажах (Зевс, Гера, Купидон, Аполлон, Ахиллес...). Географические названия комментируются, когда это необходимо для понимания смысла текста.

\*\* Примечания А.Науменко.

схоластического сатирического трактата великого испанского философа Луиса Вивесса (1492–1540) "Приукрашенная истина, или Насколько писателям дозволено от истины отступать" и во многом совпадает с ним по фактуре и юмористической тональности.

Прозрачный и изящный стиль, сочетание изобретательности и простоты, точность и глубина суждений характеризуют Сааведру Фахардо как одного из лучших испанских прозаиков.

На русский язык сочинения Сааведра Фахардо не переводились. Фрагменты "Литературного государства" переводятся по изданию: Diego Saavedra Fajardo. República literaria. Madrid, Ed. de "La Lectura", 1922.

1 *Марк Теренций Варрон* (116–27 до н. э.) – римский писатель, ученый-энциклопедист, автор исторических, философских, научных сочинений, основатель первых публичных библиотек в Риме.

2 *Полидор*, Вергилий (ок. 1470 – ок. 1555) – итальянский гуманист, историк и писатель, автор сочинения "Об изобретателях вещей", свособразного энциклопедического собрания курьезов из всех областей жизни. Эта книга послужила главным источником для "Литературного государства". И не случайно Полидор в качестве вожатого сменяет Варрона.

3 ... *великим флорентийским мастером* – речь идет о Лоренцо Гиберти (1378–1455), выдающемся скульпторе, живописце, архитекторе и литейщике, создателе восточных ворот баптистерия св. Иоанна во Флоренции ("Ворота Рая"), пародией на которые и являются ворота в "Литературном государстве".

4 ... *видишь... толпу людей с суровыми и мрачными лицами, на которых начертано презрение ко всем чувствам и обстоятельствам человека... те люди – философы-стоики* – иронический перифраз ситуации, сложившейся в Испании в XV–XVII вв. и широко отраженной в литературе. Речь идет о господствующем в те времена влиянии идей стоицизма. При этом и сам Сааведра Фахардо придерживался стоических воззрений.

5 ... *испанский мастер, обязанный своим именем берегам реки Сегура* – речь может идти о Хуане де Сегура, известном испанском чеканщике и скульпторе XV в., работавшем в Севилье; об Антонио де Сегура (?–1605), живописце, скульпторе, архитекторе. а также о Бартоломе Сегура, знаменитом испанском печатнике XV в.

6 *Вера* – здесь персонифицированный образ знания и гуманизма вообще, считавшихся в Испании в средние века и Возрождение тождественными христианству, то, что Вера обретает Испанию как родину, – символ Испании как европейского светоча духовной культуры.

7 *Тахо* – крупнейшая река и крестильная вода Испании, частый в испанской литературе образ Испании.

8 *Халдеи* – семитские скотоводческие племена, жившие в первой половине 1-го тысячелетия до н. э. в юж. Месопотамии. В античности халдеями называли жрецов, гадателей, астрологов вавилонского происхождения, бывтал миф о том, что халдеи изобрели письменность по конфигурациям созвездий. В эпоху Возрождения халдеи отождествлялись с вавилонянами вообще, которые пользовались арамейским письмом, содержащим, по последним данным (синаяская стела XV в. до н. э.), 29 букв.

9 *Ассирийцы и финикийцы* – ассирийцы здесь традиционно отождествлены с вавилонянами; финикийцы – древние семитские племена; к финикийскому алфавиту, содержащему 22 буквы, восходят почти все буквенно-звуковые системы письма, от него образовалось и греческое письмо.

10 *Паламед* – персонаж греч. миф., участник троянского похода, традиция приписывает ему изобретение букв, чисел, астрономии и пр. Действительно, в архаическое греческое письмо, почти полностью совпадающее с финикийским, позднее было введено несколько новых букв.

11 *Симонид Кеосский* (556–468 до н. э.) – один из крупнейших греческих хоровых лириков, считался преобразователем греческого алфавита, в который он якобы ввел четыре буквы для обозначения двойных согласных и долгих гласных.

12 *Кадм* – в греч. миф. сын финикийского царя Агенора, основатель Фив, ему было приписано традицией изобретение греческого письма, возникшего из финикийского в кон. IX – нач. VIII в. до н.э.

13 *Клавдий Цезарь* – римский император в 51–54 гг., в его правление была проведена реформа орфографии, введены новые буквы, которые в латинском алфавите не сохранились.

14 *Юстиниан* (482–565) – византийский император с 527 г., завоевал часть Сев. Африки, Сицилию, Италию, часть Испании, провел кодификацию римского права, покровительствовал наукам и искусствам.

15 *Корнелий Тацит* – Публий Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120), римский историк, оратор, политический деятель. Его главные сочинения: "Анналы" (история Рима в 14–68 гг.), "История" (события 69–96 гг.), "Германия". В средние века и Возрождение они породили огромное количество комментариев.

16 ... *моим "Политическим девизом"* – принятое краткое название сочинения Сааведры Фахардо "Идея о христианском политическом государстве, представленная в ста девизах" (1640). Размышляя об аллегорических рисунках (эмблемах) итальянского гуманиста Андреа Алсеата, Сааведра Фахардо выступает против "Государя" Маккиавелли, против дипломатического интриганства, провоцирующего войны, говорит о религиозных распрях, оторванности королевского двора от народа, засилии знати, непомерных налогов и т.п. Книга вызвала неудовольствие испанского двора; сохраняла актуальность для Испании вплоть до XX в.

17 *Антонио де Небриха* – также Лебриха, наст. имя Мартинес де Кала, (1444–1522), испанский гуманист, реформировал преподавание латыни в духе итальянского гуманизма. Его сочинение "Испанская грамматика" – первая научная грамматика современных европейских языков; "Введение в латынь", латинско-испанский и испанско-латинский словари были ценными пособиями для изучения латыни вплоть до XIX в.

18 *Мануэль Альварес* (1526–1582) – португальский литературовед, лингвист и педагог, монах-иезуит, автор фундаментального труда "Об образовании грамматистов", много раз переиздававшегося и переведенного на многие языки.

19 *Санчес Бросенсе* – Франсиско Санчес де лас Бросас (1523–1601), испанский лингвист, философ, педагог, гуманист, ученик Антонио де Небрихи. Прославился своей энциклопедической образованностью и своей грамматикой латинского языка – "Минерва", первой научной грамматикой, в которой сделана попытка показать стройную систему языка. Бросенсе отстаивал в ней чистоту классической латыни против утвердившейся в средние века упрощенной, контаминированной национальными языками Европы, вульгарной латыни. В 1599 г. "Минерва" была внесена инквизицией в список запрещенных книг. Он создал также ряд трудов по античной философии, исследований по латинской грамматике и риторике, среди них особой популярностью пользовалось руководство "Искусство говорить по-латыни", написанное на испанском языке.

20 *Гаспар Циопий* – Шопп (1567–1649), немецкий филолог и богослов, реформатор преподавания латыни, один из издателей и пропагандистов "Минервы", автор многих трудов по лингвистике.

21 *Авл Геллий* (ок. 130–180) – римский писатель, автор сочинения "Аттические ночи", в котором собраны заметки о прочитанных книгах, выписки из книг с комментариями, литературные анекдоты и пр., приведены цитаты более чем из 250 античных писателей.

22 *Диоскурид Педаний* (I в.) – греческий врач в Риме, чья книга "О лекарственных веществах" была бессменным учебником фармакологии в средние века и Возрождение.

23 ... *почиталось за добродетель воровство под предлогом подражания* – шуточный перифраз испанской ренессансной литературной "доктрины подражания", согласно которой автор не только мог, но и должен был

заимствовать у античных, средневековых и современных авторов образы, метафоры, сюжеты, целые пассажи, чтобы показать свое мастерство и сделать свое произведение интересным даже на известном материале. Это способствовало популяризации книжной и литературной культуры, расцвету литературы и языка.

24 *Тит Ливий* (59 до н. э. – 17 н. э.) – римский историк, автор "Римской истории от основания города" в 142 книгах.

25 *Дион Кассий* (ок. 155 – после 229) – греческий историк, его главное сочинение – "Римская история" в 80 книгах.

26 *Септиан* (? – 70-е II в.) – римский историк, автор "Римской истории" в 24 книгах.

27 *Веллей Патеркул* (ок. 20 до н. э. – ?) – римский патриций, был префектом в Германии, сенатором, квестором и претором, создал очерк римской истории в 2 книгах.

28 *Аммиан Марцелин* (IV в.) – римский историк и военный. Его сочинение – "Военные деяния" в 31 книге.

29 *Полибий* (ок. 200 – ок. 120 до н. э.) – греческий историк, автор "Истории" в 40 книгах (Греции, Македонии, Азии, Рима и др. стран).

30 *Диодор Сицилийский* (ок. 90–21 до н. э.) – греческий историк, автор "Исторической библиотеки", где излагается история Др. Востока, Греции и Рима от мифологических времен до середины I в. до н. э.

31 *Мела Помпоний* (I в. до н. э. ? – I в. н. э. ?) – римский географ, автор сочинения "О хронографии" (3 кн.), старейшего из дошедших до нас описаний античного мира.

32 *Страбон* (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.) – греческий географ и историк, автор "Географии" в 17 книгах, важнейшего описания античного мира.

33 *Светоний Транквила* (ок. 70 – ок. 140) – римский историк и писатель, главное сочинение – "Жизнь двенадцати цезарей".

34 *Меценат Гай Цильний* (между 74 и 64 – 8 до н. э.) – приближенный римского императора Августа. Имя его стало нарицательным.

35 *Мальквин* (или Мальтусий – в других изданиях "Литературного государства") – вымышленный персонаж или искаженное имя известного деятеля, установить не удалось.

36 ... на рывке осле прогуливался Апулей... обзывали его скотокрадом – Апулей (II в.) – римский писатель, автор сочинения "Метаморфозы" ("Золотой осел"). Здесь обыгрывается известный намек на то, что историю превращения в осла Апулей якобы заимствовал у греческого писателя Лукиана (ок. 117 – ок. 190), которому приписывали повесть "Лукий, или Осел". Как авторство Лукиана, так и факт заимствования не доказаны.

*Лодовико Антонио Муратори\**  
1672–1750

Выдающийся итальянский историк и филолог. Главные его труды: "Историки Италии" (1723–1738), многотомное собрание источников по истории Италии с VI по XVI в., до сих пор представляющее огромную ценность; "Древность средневековой Италии" (1738–1742), монументальное сочинение, положившее начало изучению итальянской истории и культуры; "Анналы Италии" (1744–1749), летопись крупных и мелких событий итальянской истории вплоть до 1749 г., включающая описание обычаев, нравов, развлечений, быта, рынков и т. п. Кроме исторических трудов, Муратори опубликовал несколько томов ранее не изданных произведений античных и итальянских писателей, трактаты о поэзии, о нумизматике, о литургии, об усовершенствовании гражданской жизни; от него

\* Примечания Г. Муравьевой.



осталась обширная переписка с крупнейшими европейскими учеными его времени. Муратори отличала страсть к знанию, характерная для людей XVII–XVIII вв., огромное усердие, которое давалось ему вовсе не легко, — с обычным для него юмором он писал, что работать ему трудно, потому что летом его лишает сил сирокко, а зимой мысли стынут у него в голове, — но более всего — любовь к архивному документу. Его архивные разыскания по истории Италии дали богатейшие плоды; бывали особые находки — в одном из кодексов он обнаружил листок со списком книг Нового Завета, составленным в Риме около 190 г., по-видимому, самым ранним (т. н. Канон Муратори). "Анналы" Муратори были написаны не для ученых, а для читателей: в них нет значительных исторических концепций — более всего Муратори желал рассказать "как было дело", опираясь на документы и здравый смысл, соединяя важное с забавным и живописным. О простоте жизни и скромности Муратори рассказывают все его биографы, о них свидетельствует и следующее: получив среди других ученых и литераторов предложение от графа ди Порчия описать свою жизнь (1721 г.), он отозвался на просьбу письмом — отрывок из которого печатается в этой книге — но не разрешил публиковать его до конца своей жизни.

Перевод выполнен по изданию: Muratori Lodovico Antonio. Opere. Milano—Napoli, Ricciardi, 1964.

1 *Джованни Артико* (1682–1743) — граф ди Порчия, литератор, автор нескольких трагедий, с 1736 г. кондотьер Венецианской республики.

2 ... *путем перипатетиков* — т. е. путем Аристотеля и философов его школы.

3 *Тезауро Эмануэле* (1592–1675) — туринский граф, иезуит, автор ученых трудов и трагедий, теоретик барокко.

4 *петраркисты* — поэты — последователи Петрарки.

5 *Джованни Рангони* (?–1730) — поэт, переводчик Корнеля и Расина, посол герцога Модены в Париже.

6 *Джованни Кариссими* (?–1694) — поэт, сохранились только стихи, переписанные рукой Муратори.

7 *Пьетро Антонио Бернадони* (1672–1714) — поэт, несколько лет жил при венском дворе.

8 *Карло Мариа Маджи* (1630–1699) — поэт, автор комедий на миланском диалекте.

9 *Франческо де Лемене* (1634–1675) — поэт, отошедший в своем творчестве от маньеризма.

10 *Квинтилиан Марк Фабий* (35 — ок. 95) — автор знаменитого сочинения по педагогике и риторике "Об образовании оратора", воспитатель наследников римского императора Домициана.

11 *Либаний* (314 — ок. 398) — греческий писатель, автор речей и посланий, учитель Иоанна Златоуста и Юлиана Отступника.

12 *Сенека старший* (55 до н. э. — ок. 37 н. э.) — автор трактатов об ораторском искусстве.

13 *Сенека философ* — Луций Анней Сенека (3 до н.э. — 65 н.э.) — римский философ, стоик, воспитатель императора Нерона.

14 *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 130) — греческий философ-стоик; свое нравственное учение излагал только в беседах и спорах.

15 *Арриан Флавий* (ок. 96 — ок. 180) — греческий историк и философ, ученик Эпиктета, записавший высказывания своего наставника ("Руководство Эпиктета").

16 *Зенон* (ок. 336 — 264 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы стоицизма. Сочинения Зенона дошли до нас только в отрывках.

17 *Юст Липс* (Липсий Юстус) (1547–1606) — фламандский филолог — латинист, издатель и комментатор Сенеки и Тацита.

18 *Клаейнарт Николас* (1495–1542) — голландский филолог, профессор греческого и древнееврейского языков, автор популярных в свое время грамматик.

19 *Бенедетто Баккини* (1651–1721) – бенедиктинский монах, филолог, историк, ведавший библиотекой Эсте. Основатель Академии словесности в Модене.

20 *Кассино* – монастырь, основанный св. Бенедиктом в 529 г., положивший начало ордену бенедиктинцев.

21 *дом Эсте* – древний знатный род, правивший в Ферраре, Модене и других североитальянских государствах; к его германской ветви принадлежали герцоги Баварский, Саксонский и др.

22 *Бароньо* Чезаре (1538–1607) – кардинал, автор истории церкви (“*Анналов*”), доведенной до 1198 г.

23 *Джованни Джузеппе Орси* (1652–1733) – автор сочинений в защиту итальянских литераторов от французской цензуры; оказывал поддержку молодому Муратори.

24 *Амброзианская библиотека* – знаменитая библиотека в Милане, была открыта кардиналом Федерико Борромео и названа им в честь св. Амвросия, покровителя Милана, в 1609 г.

25 *Карло Сигоньо* (1523–1584) – филолог, историк, уроженец Модены. Муратори оставил его жизнеописание.

26 *Фабретти* Рафаэле (1618–1700) – итальянский археолог, автор нескольких трудов по археологии.

27 *...война, охватившая всю Ломбардию* – война за испанское наследство, в ходе которой французы оккупировали Модену с 1702 по 1707 г.

28 *... из шишковидной железы* – шишковидная железа долгое время считалась вместилищем души.

29 *Бернардо Тревизани* (1652–1720) – венецианский философ, последователь Декарта.

30 *...республики Платона или мудрого Фенелона, архиепископа Камбрейского* – Платон – великий греческий философ, в трактате “Республика” создал образ идеальной республики, управляемой учеными. Фенелон (1651–1715) – архиепископ Камбре, богослов в дидактическом романе “Приключения Телемака” (1699) изображает идеальное государство.

31 *... спор о Комаккьо* – спор между домом Эсте и папой за города Феррару и Комаккьо. Защита прав Эсте была поручена Муратори.

32 *Орlando* – герой знаменитой поэмы Лодовико Ариосто (1474–1533) “Неистовый Роланд”.

33 *Георг I* (1660–1727) – английский король Ганноверской династии, связанной родством с домом Эсте.

34 *Пьетро Эрколе Герарди* (1684–1752) – ученик Баккини, хранитель библиотеки Эсте, помогавший Муратори в его работе.

### *Георг Кристоф Лихтенберг* 1742–1799

Немецкий писатель и ученый, математик, физик, астроном, выдающийся просветитель. Был иностранным почетным членом Петербургской Академии наук. Большую часть его произведений составляют научные и научно-популярные труды. Писал он также публицистические злободневные статьи, которые публиковал в популярных журналах. Многие годы сам издавал два таких журнала: “Геттингенский карманный календарь” и “Геттингенский журнал науки и литературы”, почти все статьи в них написаны им самим. Сохранились наброски сатирических романов и памфлетов. Наиболее ценная часть его литературного наследия – “Подробные объяснения к гравюрам по меду Хогарта” (Уильям Хогарт (1697–1764) – английский живописец, график, теоретик искусства, основоположник социально-критического направления в европейском искусстве) и собрание афоризмов.

“Подробные объяснения...” интересны тем, что это не простые комментарии, а своеобразное художественное произведение, где описание и

толкование каждой гравюры превращается как бы в законченную главу сатирического бытового романа. Афоризмы Лихтенберга – это дневник писателя, его записная книжка, в которую он вносил не только свои мысли, наблюдения, экспромты, но и набетки будущих произведений. Диапазон афоризмов очень широк – современная жизнь, наука, философия, религия, культура, литература, наблюдения бытового, социально-политического характера, в которых ясно ощутимы его взгляды: протест против деспотизма, сословного неравенства, засилия церкви, политической раздробленности Германии, мешанской ограниченности.

"Не дай мне бог написать книгу о книге", – сказал Лихтенберг, однако даже небольшая подборка его афоризмов о книге и читателях свидетельствует о том, как много разных сторон этой темы он отразил. Лихтенберг не публиковал свои афоризмы. Небольшая их часть стала известна лишь только после его смерти, более полное издание вышло в начале XX в., но к тому времени уже были утеряны или уничтожены многие тетради его записей. Первое издание Лихтенберга в России вышло в 1899 г.

Текст печатается по изданию: Георг Кристоф Лихтенберг. Афоризмы. 2-е изд., М., Наука, 1965.

1 "Беседы" Ланге – имеется в виду книга "Латинские беседы" немецкого протестантского теолога Иоганна Иоахима Ланге (1670–1744). Лихтенберг иронически относился к проповедываемому автором "внутреннему благочестию", примитивным наставлениям и к форме "Бесед".

2 Часы Гаррисона – речь идет о морских корабельных часах, хронометре, которые создал английский механик-самоучка Джон Гаррисон (1693–1776). Описание их было опубликовано под названием "Принцип часов Гаррисона".

*Иоганн Вольфганг Гете*  
1749–1832

В нашу публикацию включены фрагменты нескольких произведений величайшего немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете: 1. Два отрывка из его биографической книги "Из моей жизни. Поэзия и правда". Гете начал ее в 1809 г. и писал до конца своих дней. События в книге доведены до 1775 г. Первая часть сочинения была опубликована в 1811 г. Отрывки печатаются по изданию: И.В.Гете. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3. М., Худож. лит., 1976; 2. Фрагмент речи "Ко дню Шекспира". Речь написана в 1771 г. ко дню Уильяма (Вильяма) – 14 октября. Гете подготовил ее для своих страсбургских друзей по литературному движению "Буря и натиск", которые торжественно отмечали этот день, но прочитал ее в доме отца во Франкфурте, где оказался в этот день и где эта дата также торжественно отмечалась. Речь опубликована посмертно в 1854 г. Печатается по указанному выше Собранию сочинений. Т. 10. 1980; 3. Отрывок из заметки "Лоренс Стерн", опубликованной в 1827 г. в журнале "Искусство и древность". Печатается по указанному выше Собранию сочинений. Т. 10; 4. Отрывки из статьи "Литературное санкюлотство", опубликованной в 1795 г. в журнале Ф.Шиллера "Оры" как ответ на статью писателя Даниэля Иенниша (1762–1804), который в журнале "Берлинский архив" в марте того же года подверг уничижительной необоснованной критике многих передовых писателей Германии. Печатается по указанному выше Собранию сочинений. Т. 10; 5. Статья "Новейшая немецкая поэзия", опубликованная в 1827 г. в журнале "Искусство и древность". Печатается по изданию: И.В.Гете. Об искусстве. М., Искусство, 1975; 6. Отрывок из рецензии на четырехтомное собрание прозы немецких романтиков, переведенное и изданное в 1827 г. в Эдинбурге в издательстве Тейта Томасом Карлейлем (1795–1881), выдающимся английским писателем и мыслителем, много сделавшим для знакомства своих соотечественников с немецкой

литературой, с жизнью и творчеством немецких писателей. В собрание вошли произведения И.К.Л.Музуса, Э.Т.А.Гофмана, Л.Тика, Жана Поля (Рихтера), Гете и других. Каждой публикации предшествовала большая библиографическая справка. Рецензия была опубликована в 1828 г. в журнале "Искусство и древность". Публикуется по упомянутому выше Собранию сочинений, Т. 10; 7. Отрывок из статьи "Дальнейшее о всемирной литературе", написанной в 1829 г. и опубликованной посмертно. Печатается также по т. 10 Собрания сочинений.

1 ... *тысяченогий королевский поезд* – речь идет о торжественном въезде во Франкфурт в 1770 г. Марии-Антуанетты, ставшей французской королевой, и ее свиты в многочисленных каретах, который восторженно наблюдали толпы горожан.

2 *Книга Додда "Beauties of Shakespeare"* ("Красоты Шекспира") – двухтомная хрестоматия произведений Шекспира в отрывках, изданная в Лондоне в 1752 г. английским писателем Уильямом Доддом (1729–1772). Хрестоматия была широко распространена не только в Англии, многократно переиздавалась, выходила до конца XIX в. Интересно, что даже в библиографических справочниках указывается, что этой хрестоматией восторгался Гете.

3 *перевод Виланда* – выдающийся немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд (1743–1813) перевел прозой 22 пьесы Шекспира. В течение 4-х лет, в 1762–1766 гг. он издал их в 8-ми томах.

4 *Эшенбург* Иоганн Иоахим (1743–1820) – немецкий историк литературы и переводчик. Издал в Цюрихе в 1775–1782 гг. первый полный перевод произведений Шекспира.

5 ... *о Лютером переводе Библии* – Мартин Лютер (1483–1546), один из ведущих деятелей Реформации в Германии, основатель протестантизма (отсюда лютеранство), завершил перевод Библии в 1534 г. Немецкая Библия, существовавшая с середины средних веков, была переведена с искаженного латинского текста тяжелым и неясным языком. Лютер перевел с древнееврейского, простым и ярким слогом. Его перевод сыграл важную роль в истории формирования общенемецкого национального языка.

6 *Книга Иова* – одна из книг Ветхого Завета. Состоит из трех основных частей – пролога в прозе, поэтического диалога праведника Иова с друзьями, написанного свободным стихом, и эпилога. Книга Иова считается величайшим шедевром библейской литературы.

7 ... *в нашем страсбургском кругу* – Гете жил в Страсбурге в 1770–1771 гг. и учился в Страсбургском университете. "Страсбургским кругом" он называет своих друзей по литературному движению "Буря и натиск".

8 ... *эпохи благородной терпимости и нежной любви* – так Гете называет направление в литературе и искусстве второй половины XVIII в., получившее название "сентиментализма". Представители его провозгласили чувства, а не разум главным в человеке. Для литературы этого направления характерна меланхолическая созерцательность, идеализация патриархального быта, описание счастья на лоне природы. Преобладающими жанрами в поэзии были элегия, послания, в прозе – эпистолярный роман, путевые заметки, дневники. Виднейшим представителем этого направления был английский писатель Лоренс Стерн (1713–1768), романы которого "Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена" и "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" очень любил Гете.

9 ... *политический строй раздробляет ее* – речь идет о том, что в период, о котором пишет Гете, т. е. в конце XVIII в. Германия состояла из территориальных княжеств, светских и духовных (около 300), политически разобщенных и экономически отсталых, включенных в состав Священной Римской империи.

10 *Смельфонги* – от Смельфунгус. Имеется в виду ученый Смельфунгус, персонаж романа Лоренса Стерна "Сентиментальное путешествие..."

”Он отправился в дорогу, – пишет Стерн, – страдая сплином и разлитием желчи, отчего каждый предмет, попадавшийся ему на пути, обесцвечивался или искажался”. Под этим именем Стерн вывел английского писателя Тобиаса Джорджа Смоллетта, опубликовавшего в 1766 г. свои впечатления о путешествии по Франции и Италии.

<sup>11</sup> *Литературное санкюлотство* – Гете использует этот термин для определения крайних взглядов своих литературных оппонентов. Санкюлотство – от ”санкюлот”, слова, возникшего в период Великой французской революции (sans – без, culotte – короткие штаны). Так аристократы, носившие этот вид одежды, называли горожан, представителей городской бедноты, своих политических противников, носивших длинные брюки. В период якобинской диктатуры санкюлотами стали называть себя приверженцы самых жестоких мер.

*Адольф (Франц, Фридрих, Людвиг) Книгге*  
1752–1796

Немецкий писатель, прозаик и драматург, представитель позднего Просвещения. Его многочисленные романы и драмы, сатирические путевые заметки, морально-философские, утопические сочинения пользовались в свое время большой популярностью. Один из его романов – ”Немецкий Жиль Блаз, или Приключения Петра Клаудия” – в переводе с французского был издан в 1797 г. в Петербурге. Книгге занимался и публицистической деятельностью, его демократические взгляды, симпатии к Французской революции были известны, он ратовал за введение в Германии парламентаризма. Его знали и как переводчика, в частности он перевел на немецкий язык ”Исповедь” Жан-Жака Руссо. В 1793 г. издал сочинение ”О писателе и писательстве” – о писательском призвании, писательском труде, о славе писателя и влиянии некоторых произведений на общество, о стиле и художественных особенностях произведений различных жанров. Отдельные главы посвящены переводчикам, издателям, типографам, книгопродавцам. Наиболее известное произведение Адольфа Книгге – двухтомный дидактический трактат ”Об обхождении с людьми” – написан в 1788 г. Его называли ”сводом законов практической жизненной мудрости”. Среди прочих правил обхождения людей всех сословий и положений Книгге выделяет взаимоотношения писателя и читателя и рассматривает их с разных сторон.

Трактат многократно переиздавался, в наши дни сочинения Книгге выходят у него на родине факсимильными изданиями, его жизни и деятельности посвящено несколько монографий. В России первый перевод трактата был опубликован в 1820–1823 гг.

Глава ”О взаимоотношении писателя и читателя” переводится по изданию: А. Книгге. *Über den Umgang mit Menschen*. Hanover, 1853.

*Фридрих Максимилиан Клиггер*  
1752–1831

Немецкий писатель, драматург и прозаик, один из активных и видных участников литературного движения ”Буря и натиск”, в которое входили И. Г. Гердер, И. В. Гете, Ф. Шиллер, Я. М. Ленц и др. Молодые немецкие писатели выступили за свободу человеческой личности, против любого ее угнетения, против гнета бюргерской морали, государства, церкви, золота, против власти разума над чувствами человека. Их героями стали бунтари, люди несгибаемой воли и сильных страстей. Наименование движению дало заглавие драмы Клиггера – ”Буря и натиск”. С 1780 г. до конца своих дней Клиггер жил в России. Он начал свою службу с должности чтеца при будущем императоре Павле, в дальнейшем вел многогранную деятельность на поприще народного просвещения, возглавлял военные учеб-

ные заведения, участвовал в комиссиях по выработке проектов организации народного просвещения, был попечителем Дерптского учебного округа и Дерптского (ныне Тартуского) университета. Умирая он завещал свою большую библиотеку университету, где и поныне хранятся его книги, — специальный клингеровский фонд. Все это время Клингер продолжал литературную деятельность. Только за первые десять лет жизни в России он написал 11 пьес, начал цикл социально-философских, остросатирических романов, первым из которых был "Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад", опубликованный в 1791 г. Судьба произведений Клингера этого периода весьма драматична. Скрывая в России свои антифеодалные, антиклерикальные взгляды, одновременно пытаясь обойти немецкую цензуру, он издавал свои книги в Германии анонимно, указывая местом издания Петербург и ставя фамилию несуществующего издателя. В действительности первое издание "Фауста" вышло в Лейпциге у издателя Якобеера. Издание очень быстро разошлось, появилось несколько незаконных перепечаток. На титульном листе 2-го издания в 1794 г. также стояло "Петербург", и только на третьем было указано — "Лейпциг", но фамилии автора не было. Клингер все это время работал над романом, вносил в него дополнения, кроме того, боясь слишком точных фактических деталей, он вычеркнул большую часть собственных имен. Еще при жизни автора роман был переведен на английский, французский, шведский, голландский языки, Клингера всюду стали называть "немецким Вольтером". На русском языке книга вышла в 1913 г. в переводе приват-доцента Московского университета Артура Лютера. Этот же перевод под редакцией О.А.Смолян был переиздан в 1961 г. Фрагменты первой книги романа печатаются по изданию: Ф.М.Клингер. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. Л., Гослитиздат, 1961.

1 *Фауст* — Иоганн Георг Фауст (ок. 1480—1540), бродячий ученый, астролог и алхимик, которого многие считали шарлатаном. В народе бытовала легенда о том, как Фауст, маг и чернокнижник, не сумев проникнуть в сущность вещей и овладеть тайнами вещества, заключил союз с дьяволом. В 1587 г. была издана "Народная книга о докторе Фаусте". Существовала версия о Фаусте — изобретателе книгопечатания, но в XVII—XVIII вв. ученые считали ее вымыслом монахов, которых книгопечатание лишило заработка. Образ мятежника, восставшего против всех ограничений свободного духа, против божественной власти, вдохновлял многих писателей. В XVIII в. легенда о Фаусте стала одной из излюбленных тем в немецкой литературе. Клингер делает своего Фауста первопечатником, т. е. ученым, воплотившим в себе самые прогрессивные стороны человеческой деятельности. Он отождествил чернокнижника Фауста с типографом Иоганесом Фустом (1400—1468) из Майнца. Богатый горожанин немецкий типограф Иоганес Фуст был компаньоном Иоганна Гутенберга, потом стал его кредитором, завладел типографией и секретом печатания при помощи передвижных литер и продолжал работать. Эта печатня существовала и после смерти Фуста.

2 ... *обнимал облако вместо супруги громовержца* — намек на древнегреческий миф об Иксионе и его печальной судьбе. Иксион, царь лапифов, народа, живущего в Фессалии, был взят Зевсом на Олимп и тем спасен от безумия, грозившего ему из-за совершенного им убийства родственника. Но на Олимпе Иксион домогается любви Геры, супруги Зевса. Зевс наказал его, послав ему под видом Геры облако. Иксион же был прикован Зевсом к огненному колесу.

3 ... *покинул Майнц ... соседний имперский город ... напечатанную им латинскую Библию* — в г. Майнце на р. Рейн, бывшем до XIX в. центром курфюршества Майнцского, жили Иоганн Гутенберг и Иоганес Фуст; ... *соседний имперский город* — имеется в виду Франкфурт; ... *напечатанную им латинскую Библию* — именно Библию, так называемая 42-строчная Библия была напечатана в типографии, оборудованной Гутенбергом, на деньги, взятые в долг у Фуста.

4 *Капитул* – в католической и англиканской церкви – совет из высших духовных лиц при епископе, участвующий в управлении епархией. Здесь автор намекает на реальные события, происшедшие в середине XV в., – на конфликт архиепископа Дитера фон Изебурга с майнцским капитулом.

5 *Доминиканский монах* – монах нищенствующего католического ордена, основанного в начале XIII в. проповедником Гусманом, взявшим имя Доминик. В описываемое время в ведении Доминиканского ордена была инквизиция. В XVI в. после основания ордена иезуитов значение Доминиканского ордена уменьшилось.

6 *Казуисты* – ученые, рассматривающие вопрос о пределах и мерах греха в различных ситуациях.

*Жан-Поль (псевд., наст. имя Фридрих Рихтер) \**  
1763–1825

Немецкий писатель, выходец из бедной бюргерской семьи, самоучка, не имевший никаких связей с литературно-ученым миром Германии, для которого книги и литература стали не только целью выразить вечные истины и единство мира, пропущенные через личный опыт и опыт бюргерского быта вообще, но и средством борьбы за демократизацию литературы, и не в последнюю очередь – средством к существованию, адекватному его идеям. Жан-Поль – первый писатель Германии, сумевший существовать на гонорары. Всю жизнь он был гоним беспокойством о реакции публики и критики и, утверждая себя, львиную долю своей эссеистики, а частично и романов, посвятил теме писательства и книги. Помимо сатирической публицистики, получили широкую известность его романы "Жизнь преддогольного учителяшки из Ауэнтала" (1793), "Невидимая ложа" (1793); славу принесли "Геспер" (1795), "Зибенкез" (1796–1797), философский роман "Титан" (1800–1803), "Озорные годы" (1804–1805). Пересказу они, как и эссе, не поддаются: сюжетные линии изломаны, перепутаны причудливым образом, словно во сне, и неподвижны и динамичны одновременно. Но сочинениями Жан-Поля зачитывались и короли, и бюргерские девушки, и мечтательные юноши, и купцы, и мастеровые.

Его произведения называли "энциклопедией духовной жизни гениального индивида" (Ф.Шлегель). И в самом деле – более начитанного немецкого писателя, блестящего знатока родного языка, пожалуй, не было. Его память хранила бездну материала, и из книг он переносил в свои произведения невероятно много. Его уникальная по стилю и содержанию проза буквально напичкана сведениями из самых различных областей знания, изобилует неожиданными сравнениями, метафорами, развернутыми и наслаивающимися друг на друга соединениями самых разнородных понятий, учеными образами и терминами, иносказаниями и намеками, что выдает погоню за емкостью мысли, главная движущая сила которой – парадокс. Парадокс как склад ума, как средство достижения универсальности.

После смерти автора произведения его оказались надолго забытыми, считались только хорошей мастерской для писателей. Вновь современным он оказался в XX в.

Эссе переводится на русский язык впервые. Перевод выполнен по изданию: Jean Paul's Sämtliche Werke. Bd. 1–31. Brl., Reimer, 1840–1842. Bd. 9.

1 "Опыт о романе" Кристиана Фридриха фон Бланкебурга (1744–1796) – литературоведа, искусствоведа и философа-популяризатора. Одно из наиболее известных литературоведческих сочинений XVIII в. Для него характерна категоричность и механистичность эстетических предписаний.

\* Примечания А.Науменко.

2 ...*венец, который остался только в Нюрнберге* – намек на то, что в Германии к концу XVIII в., переживавшей процесс укрупнения многочисленных княжеств, Нюрнберг оставался единственным вольным имперским городом. Ирония Жан-Поля построена на том, что Нюрнберг управлялся императором, а другие немецкие государства – князьями.

3 ...*суринамские носатки, которые светят только головой* – речь идет о насекомом семейства цикадовых, немецкое и латинское название которого свидетельствует о том, что оно излучает свет, имеет между глазами килеобразный, напоминающий фонарь вырост. Немецкая художница Мария Сивилла Мериан (1647–1717) на одной из своих гравюр изобразила этот вырост светящимся; из чего распространилось ложное мнение, будто этот вырост светится, отсюда и название гигантской цикады.

4 ...*подобно некоей индийской лисе (искеполту)* – вероятно, имеется в виду т. н. афганская лисица (*vulpes сапа*). Что за название в скобках и из какого языка, установить не удалось.

5 ...*как люди Давида – крайнюю плоть побежденных ими филистимлян* – филистимляне – народ, поселившийся в XII в. до н. э. в юго-западной части Ханаана и начавший экспансию в глубь этой территории, вплоть до Иордана. Завоевание иудейских земель было остановлено царем Давидом около X в. Эти события нашли отражение в Библии (1-я Книга Царств, 18; 27).

6 ...*большинство гласных словно пыль липнет к подошвам согласных* – речь идет о том, что в ивритской письменности имеются только согласные, огласовка которых обозначается значками в виде точек и черточек под согласными.

7 *Паррасий* (460 – ок. 390 до н. э.) – греческий живописец из Эфеса, наряду с Зевксисом – крупнейший художник классической эпохи. Плиний Старший в своей "Естественной истории" (31, 61–64) рассказывает о соревновании между Паррасием и Зевксисом; Зевксис изобразил виноград так правдоподобно, что птицы слетелись поклевать его, но при этом не боялись мальчика, несшего на картине корзину с виноградом; Паррасий же изобразил занавеску, будто бы закрывающую картину, при виде которой Зевксис воскликнул нетерпеливо: "Отдерни же скорее занавеску!"

8 ...*сродни ивритским буквам, которые являются одновременно и изображением, и именем вещи* – речь идет о том, что в основе начертания букв иврита лежат идеограммы, т. е. схематическое изображение вещи. Так "алеф" значит бык, коренник, вожак, мощный, сильный, "бе (й)т" – дом, ограниченное пространство и т. д. Особенно хорошо это видно в финикийском алфавите, которым иврит пользовался до VI в. до н. э.

9 *Гален Клавдий* (129–201?) – выдающийся римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины. Оказал огромное влияние на всю европейскую медицину.

10 ...*Монтень посвятил большому пальцу руки* – См.: Монтень М. Опыты. Т. 1–3. М.; Л. 1960. Т. 2, гл. XXVI – "О большом пальце руки".

11 *Плиний Старший* (23–79) – знаменитый писатель и ученый. Имеется в виду его сочинение "Естественная история".

12 *Лия... ставить выше Рахили* – Лия по Ветхозаветному преданию (Бытие, 29; 16, 17, 32, 35, а также 30; 17–21) – старшая дочь Лавана. Лаван обманным путем подменил ею на брачном ложе свою младшую дочь Рахиль, обещанную им в жены Иакову. Лия была слаба глазами и уступала в красоте Рахили, но отличалась от Рахили плодовитостью. По традиции Лия, как незрячая, но плодовитая, наделяется, в отличие от Рахили, даром углубленной внутренней жизни.

13 *Утверждающей свою красоту отнюдь не плодовитостью* – в агадических толкованиях ("Вавилонский Талмуд") предпочтенье нередко отдается Лии перед Рахилью, на что и ссылается Жан-Поль.

14 ...*кольцом, объединяющим палец с мыслью посредством буквы Д* – имеется в виду традиционное еще в XVIII в. кольцо, свидетельствующее о том, что носитель его – доктор.



15 *Гаснер Иоханн Йозер* (1727–1779) – знаменитый в свое время немецкий “экстрасенс”, якобы излечивающий все болезни только прикосновением рук; автор “Руководства к превозмоганию дьявола”.

16 *Лафатер Иоханн Кашпар* (1741–1801) – немецкий писатель, богослов и философ; представитель движения “Бури и натиска”; прославился как спирит и мистик; его “Физиогномические фрагменты на службе человеческого знания и человеколюбия” (Т. 1–4, 1775–1778) оказали значительное влияние на многих европейских писателей. Лафатер считается основателем графологии.

17 ... согласно одному античному писателю – имеется в виду Фсодосий Макробий, римский писатель конца IV в. и его “Сатурналии” (VII, 13).

18 *Бейль Пьер* (1647–1706) – известный французский писатель – биограф и библиограф, философ-рационалист.

19 *Себастьян Макций* (?–1615?) – итальянский поэт и историограф.

20 “Убивают публично любого, на кого народ укажет поднятым кверху большим пальцем” (лат.).

21 *Статий Публий Папиний* (ок. 40–96) – римский поэт и педагог; Жан-Поль ссылается на его сборник стихотворений “Леса”.

22 *Штурц Хельферих Петер* (1736–1779) – немецкий писатель и государственный деятель; особую известность получили его письма о путешествии в Англию и Францию.

23 *Мильтон... потерял в Челси руку* – речь идет, вероятно, о том, что Джон Мильтон (1608–1674), классик английской литературы, поэт, публицист, политический деятель, философ и лингвист. в начале 50-х гг. пережил серьезный кризис. Он совершенно ослеп, а в 1653 г. скончалась его горячо любимая жена Мария Повелл. После падения правительства Кромвеля, поддержкой коего он пользовался, и с наступлением Реставрации звезда писателя, казалось, закатилась, он даже сидел в тюрьме. Так, возможно, следует понимать утрату руки в Челси (лондонском предместье, где жили художники и поэты). Но в 1667 г. он закончил “Потерянный рай”, стяжав подлинно великую славу, создав еще много произведений. В сочинениях Х.П.Штурца упоминается имени Мильтона в этой связи обнаружить не удалось.

24 ...нет потомков у единорога – речь идет о мифическом животном с телом быка, лошади или козла. Плиний Старший в “Естественной истории” рассматривал единорога как реальное животное. В средневековых христианских сочинениях единорог олицетворяет символ чистоты и девственности.

25 ...новый orbis pictus, который г-н Лихтенберг предложил... в геттингенском журнале – новый orbis pictus – иронический перифраз “Геттингенского журнала для наук и литературы”, издававшегося известным физиком и писателем Георгом Кристофом Лихтенбергом (1742–1799) в 1780–1785 гг. с претензией на полноту сведений. В перифразе использовано название “Orbis sensualium pictus” – “Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение и наименование всех главных предметов в мире и действий в жизни”, учебник великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670).

26 *Gradus ad Parnassum* – (лат.); досл.: ступень к Парнасу. Словарь по технике поэтического творчества; содержал данные о количестве (долготе или краткости) каждой гласной, а также синонимы, принятые сравнения, метафоры и т. п. Первый латинский “Градус ад Парнассум” издан в Кёльне немецким иезуитом Паулем Алером в 1702 г.

27 *Formula concordiae* – формула согласия (лат.); текст обета, даваемого священником при принятии сана.

28 *Пермесса* – божество в греч. миф. и река его имени, стекающая с Геликона.

29 *Уолпол Роберт* (1676–1745), лорд – английский политический деятель, депутат нижней палаты вигов, затем – канцлер.

30 *Полтни Уильям* (1684–1764) – английский политический деятель, депутат нижней палаты – ярый враг Уолпола, изгнания которого из парламента он добился ценой потери собственного политического влияния.

31 *Фамы* – в греч. и рим. миф. персонификация Молвы; поэты ее изображали прекрасной женщиной, трубящей в трубу; вторая труба Фамы – это собственно слава. Перифраз автора: первая труба заявляет о писателе, вторая прославляет его, но голодному писателю не до славы.

32 *Specimen novi medicinae conspectus* – “Обзор идеала новой медицины”, анонимно вышедшая книга, приписывается французскому врачу и физиологу Луи де Лаказу (1703–1765). Издана в Париже в издательстве Грсна в 1751 г.

33 *Гипнокрена* (букв.: “лошадиный источник”) – в греч. миф. источник вдохновения, возникший от удара копыта Пегаса на горе муз Геликоне.

34 *...моих песен бардов* – Жан-Поль иронически отождествляет себя с немецким переводчиком Оссиана поэтом Иоханнесом Непомуком Денисом (1729–1800), выпустившим “Песни бардов и духовные песнопения” (Вена, 1774).

35 *Кампер Адриан Жиль* (1759–1820) – голландский врач, анатом, антрополог и зоолог; здесь ссылка на его работу “Трактат о болезнях, свойственных как людям, так и животным: о болезнях бедняков, богачей, художников, ученых и духовных лиц”, опубликованную в 1787 г. в № 22 “Немецкого музея” (см. ниже).

36 “Немецкий музей” – общественно-политический и научно-популярный журнал, издававшийся с 1776 по 1788 г. Х.К.Бойе (1744–1806) и К.В.Домом (1751–1820); с 1789 по 1791 г. выходил как “Новый немецкий музей” – трибуна поэтов и писателей “Бури и натиска”. В 1812 г. возобновлен Фридрихом Шлегелем как литературный журнал вновь под назв. “Немецкий музей”.

37 *Блюменбах Иоханн Фридрих* – выдающийся немецкий естествоиспытатель и врач-физиолог; ввел в зоологию сравнительно-анатомический метод. Речь идет о его книге “Справочник по естественной истории”.

38 *Коловратки* – класс червей подтипа первично-полостных; желудок занимает почти всю их полость; сердце отсутствует.

39 *Сведенборг Эмануэль* (1688–1772) – шведский философ-мистик. Создал теософское учение о потусторонней жизни и о поведении бесплотных духов. Здесь намек на увлечение романтиков Сведенборгом.

40 *Тит Фламиний* (ок. 228–174 до н. э.) – римский полководец и политический деятель. В жизнеописаниях Плутарха (М.: 1963. II. С. 6) сказано: “Тит, насмехаясь над телосложением Филопемена, однажды сказал ему: “Какие у тебя прекрасные руки и ноги, а живота нет!”... Эта насмешка относилась скорее к войску Филопемена; у него были хорошая пехота и конница, а в деньгах он часто нуждался”. *Филопемени* (ок. 253–183 до н. э.) – древнегреческий стратег, глава ахейского союза; с конца III в. до н. э. вел политику независимости ахейцев от Македонии и Рима.

41 *Тора и антиторы*... – Тора (др. евр.) – букв. учение; в узком смысле – Моисеево пятикнижие, но также и весь Ветхий Завет Библии, Талмуд и все, что связано с еврейской религиозной традицией. Антитора – продукт еврейской смеховой культуры Европы XIV–XVIII вв., свод “истин наоборот”; здесь может идти речь о праздничном (чаще – в пурим) пародировании Талмуда или книг Ветхого Завета (кроме Пятикнижия).

42 *Раритеты руммельсбургского пономаря* – речь идет о книге Карла Фридриха Вегенера (1734–1782) – немецкого бульварного литератора и журналиста, книга представляет собой серию грубых и циничных авантюрных порнографических историй с потугами на сатиру.

43 *...судить, как ареопаг в темноте* – в Древних Афинах ареопаг был органом власти, осуществлявшим государственный контроль, суд и другие функции. Согласно греческому писателю-сатирику Лукиану (ок. 120 – ок. 190), судебные собрания ареопага проводились ночью в тумане, чтобы не испытывать влияния лица обвиняемого, хотя сведения из классических авторов, в частности из “Эвменид” Эсхила, не соответствуют этому мнению.

44 ...в "Генриаде" Вольтера – поэма Вольтера "Генриада" (опубл. в Лондоне, в 1728 г.), идеализированное восхваление Генриха IV. Ее художественная неполноценность была замечена уже современниками.

45 "Уши графа Честерфилда" – сатирическое произведение Вольтера (полное название: "Уши графа Честерфилда и капеллана Гудмана" 1775). Честерфилд Филип Дормер Стенхон (1694–1773) – английский государственный деятель и писатель, прославившийся остроумными эпиграммическими "Письмами к своему сыну" (1774).

46 *Клюворыл* – млекопитающее из подотряда зубатых китов.

47 *Фаринелли* (наст. имя: Карло Броши; 1705–1782) – прославленный на всю Европу итальянский певец (был кастратом).

48 ...*законах горы Синай* – на горе Синай в Аравийской пустыне, по библейскому преданию (Исход, 19–20), Бог явился Моисею, чтобы сообщить ему законы человеческого общежития и десять заповедей.

49 *Клопшток Фридрих Готлиб* (1724–1803) – выдающийся немецкий поэт, провозвестник движения "Бури и натиска". Здесь намек на знаменитую эпическую поэму "Мессиада" (1751–1773), тираноборческое сочинение в библейском ключе. Вызвало много подражаний.

50 ...*восьмую ...шестую заповедь* – восьмая заповедь: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего". Шестая заповедь: "Не любодействуй".

51 ...*Венера тешится с Фебом* – имеется в виду любовь Венеры к сыну Авроры и Цефала (или Тифона) Фазтону, отождествляемому то с Фебом (Аполлоном), то с Солнцем (Гелиосом или с сыном Гелиоса); по мифу, Фазтон-Феб взял как-то колесницу своего отца, но слишком высоко взлетел на небосвод, не удержался, упал и разбился; он превратился в вечернюю звезду, рано встающую и быстро исчезающую с горизонта в непосредственной близости от Венеры; одни отождествляют ее с Юпитером, другие – с Сатурном.

52 ...и *астрономического, и химического Меркурия* – здесь речь идет о том, что Меркурием называют и планету, и ртуть; в алхимии – это астральное тело материи, в котором зарождаются качества жизни; в алхимической "свадьбе" (получении золота, духовного и материального) Меркурий играет роль "жениха", т. е. фаллического начала. В астрономии это планета, ближайшая к Солнцу.

53 ...*люди делают людей в Параличе* – цитата из Гая Петрония (9–66 н. э.), римского писателя, автора романа "Сатирикон" и стихов.

54 ...*по Баку* – латинизированная форма имени Френсиса Бэкона (1561–1626), великого английского философа и естествоиспытателя. Цитируется "Новый органон".

55 *Аддисон Джозеф* (1672–1719) – английский писатель, публицист и политический деятель.

56 ...*Юпитера обратить... в животное* – по греч. мифу, Зевс (в рим. миф. – Юпитер), влюбившись в Европу, дочь финикийского царя Агенора, явился ей на берегу моря в образе быка и похитил ее на Крит, где Европа родила Зевсу Миноса и Радаманта.

57 ...*довольствуясь одним лишь сердцем* – зд. Жан-Поль сближает сердце и желудок, строя метафору на противопоставлении легендарной любвеобильности Геракла и мстительной ревности Геры, погубившей многих жен и подруг героя.

58 *Гриф* – в греч. миф. чудовищная птица с орлиным клювом и телом льва; его называют также "собакой Зевса" – он стережет золото в стране гипербореев.

59 *Курурурива* – южноамериканское земноводное, вокруг которого существует много легенд.

60 *Onomatologia historiae naturalis etc.* – энциклопедический словарь по естественной истории в семи частях. Авторы Филипп Фридрих Гмелин, Людвиг Рудольф Зайберт и Кристан Готтлоб Гмелин, вышел впервые в Ульме в 1758–1777 гг.

61 *Смердис* – персидский ученый и маг (VI в. до н. э.), брат царя Камбузеса; был выслен и тайно убит, когда царь находился в египетском походе (525–522 гг. до н. э.); под именем Смердиса престол захватил маг Гаумата, но вскоре был смещен Дарием.

62 *Гесснер Конрад* (1516–1565) – швейцарский ученый: естествоиспытатель, лингвист, физик, врач, литературовед, библиограф, поэт, переводчик; его сочинение "Митридат" (1555) – первая попытка сравнительного изучения языков; "Всеобщая библиотека" (1–4; 1545–1549) – первое универсальное библиографическое описание 15 000 книг на латинском, греческом и европейских языках; его зоологическая энциклопедия "История животных" (1–4; 1551–1558) – выдающийся научный труд Возрождения.

63 "*Сказка бочки*" – остроумная и злая сатира Д.Свифта на три вида христианства (опубл. анонимно в 1704 г.; написана в 1697 г.; рус. пер.: М.; Л., 1931). Умирающий отец оставил своим трем сыновьям: Петру (католическая церковь), Мартину (лютеранская церковь) и Джеку (англиканская церковь) по новому кафтану, которые обладали свойством сохраняться новыми при бережном обращении и изменяться с течением времени по размерам владельцев. Джек износил кафтан до лохмотьев; Петр нацепил на кафтан новые украшения, а Мартин сорвал с кафтана все украшения; в результате кафтаны утратили свои свойства, братья перессорились и, разбогатев, стали носить другую одежду.

*Иоганн Адам Бергк*  
1763 или 1769–1834

Немецкий писатель, журналист, публицист, популяризатор науки, переводчик, издатель. На рубеже XVIII–XIX вв. имя Бергка было широко известно. Он писал книги, которые теперь принято называть научно-популярными, по философии (в частности, о философии Канта), психологии, праву, по истории религии, книги общеобразовательного характера, знакомил публику с различными произведениями немецкой и европейской литературы, часть их подписывал псевдонимами Гейнихен, Юл.Фрей и многими другими. Адам Бергк был активным журналистом, он организовал 17 газет, публиковал в них свои статьи, откликался на острые проблемы своего времени, создал книжное издательство в Лейпциге. Бергк считал своей главной задачей просвещать, развивать малообразованную публику, поэтому многие его сочинения носят назидательный характер: "Искусство думать", "Искусство читать книги, некоторые замечания о сочинениях и писателях", "Книгопродавец, или Указание, как через книготорговлю к уважению и благосостоянию прийти", "Умные мысли о чтении лучших книг", "О чтении и покупке книг" и др.

"Искусство читать книги..." опубликовано в 1799 г. в Йене, неоднократно переиздавалось, в 1966 г. в ГДР вышло факсимильное издание. В книге 39 глав. Автор пишет о том, что человек получает от природы и каким образом он эти природные силы развивает, как читать книги, чтобы сформировать вкус, как надо читать сочинения различных жанров, какую пользу можно извлечь из чтения плохих книг, как читать научную литературу, книги древних авторов, газеты, в чем состоит цель чтения и т. п.

Отрывки из главы четвертой переводятся по изданию: J.A.Bergk. Die Kunst Bücher zu lesen. Jena, 1799. (Факс. изд., 1966).

*Людвиг Тик*  
1773–1853

Немецкий писатель, видный представитель немецкого романтизма. Писал романы, пьесы, в историю немецкой литературы вошел прежде всего как талантливый новеллист, создавший жанр романтической новеллы-сказки. Его профессиональная литературная деятельность началась чуть ли не со

школьной скамьи, когда гимназический учитель, посредственный литератор и издатель, привлек его к совместному сочинению романов и драм, для которых Тик писал самые ответственные куски.

Наиболее известные произведения Тика "История Вильяма Ловелля" – трехтомный философский роман в письмах, "Народные сказки, изданные Петером Леберехтом", куда вошли шуточные комедии "Кот в сапогах", "Рыцарь Синяя Борода", "Прииц Цербино", "Мир наизнанку", "Жизнь и смерть Красной Шапочки" и новеллы-сказки, переложения народных книг "Прекрасная Магеллона", "Белокурый Экберт" и др., романы "Странствия Франца Штернбальда" и "Виктория Аккомброн". Используя сюжеты народных сказок, Тик осовременивает материал, вносит в него зловещее содержание, выступает как обличитель немецкого филистерства, его пошлых вкусов. Бездуховной жизни бюргеров он противопоставляет чудесный, полный тайн мир природы. Его считают родоначальником одной из важнейших в романтизме тем – простой жизни и простого человека.

Современники вспоминают, что Тик был замечательным чтецом, на его чтения собиралась многочисленная публика. Деятельность его была многообразна: он издавал произведения миннезингеров и драматургов XVI–XVIII вв., опубликовал наследие Новалиса и Генриха фон Клейста, перевел на немецкий язык "Дон Кихота" и совместно со Шлегелем – драмы Шекспира, издал 2 тома "Старого английского театра", 2 тома критических статей, сочинение "Об искусстве и художниках. Размышления отшельника и любителя искусств", одно время руководил дрезденским театром. В России в XIX в. сочинения Тика много переводились.

Новелла "Старинная книга и поездка наугад" на русский язык переводится впервые. Переведены фрагменты новеллы. Перевод выполнен по изданию: Ludwig Tiecks gesammelte Novellen. Vollständige aufs neue durchgesehene Ausgabe. Bd. 8. Brll., 1853.

1 ...*Альберты...* Альберт 1774 года – имеется в виду герой романа Гете "Страдания молодого Вертера".

2 ...*во времена Ганса Сакса и школы мейстерзингеров...* – т. е. в XVI в. Ганс Сакс (1494–1576) – прославленный немецкий поэт из горожан-ремесленников, которые назывались мейстерзингерами. Оставил свыше 6 тысяч произведений – стихов, анекдотов-шванков, пьес для театра.

3 *Готшед* Иоганн Кристоф (1700–1766) – немецкий писатель и теоретик раннего Просвещения. Выступал против безвкусицы и пошлости, распространенной в современной ему немецкой литературе, за чистоту языка против шумных фраз и витиеватости. Его переводы сочинений Корнеля, Расина, Мольера, так же как его сочинение "Искусство говорить по-немецки" (1748), сыграли известную роль в формировании национального немецкого языка.

4 *Парацельс* (наст. имя Филипп Ауреола Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) – врач и естествоиспытатель, подвергавший критическому пересмотру идеи древней медицины. Писал и преподавал на немецком языке, а не на латыни, как было принято.

5 *Якоб Беме* (1575–1624) – немецкий философ-пантеист, его идеи оказали влияние на немецких романтиков.

6 Полное название упомянутых произведений Тика: "Странствия Франца Штернбальда" (1798) – философский роман в письмах, в котором изложены эстетические взгляды писателя; "Жизнь и смерть святой Генофефы" (1799) – пьеса из сборника "Романтические поэмы"; "Император Октавиан" (1804) – феерическая драма.

*Джакомо Леонарди*  
1798–1837

Выдающийся итальянский поэт и мыслитель. Главные поэтические сочинения: оды "К Италии", "К памятнику Данте", философская лирика, объединенная в сборнике "Песни". В его поэзии сочетается героический порыв,

свободолюбивые, патриотические чувства и скорбь отчаяния, разочарования, трагического ощущения безысходности жизни, музыкальность лирики и резкость сатиры, простота, ясность стиля и глубина философских рассуждений. Его называли "поэтом пессимизма", "поэтом мировой скорби", "итальянским Байроном". Известно, что в жизни Леопарди много и глубоко страдал от тяжелой болезни, от обстановки в родном доме, позже из-за одиночества и материальной нужды. Болезненный от природы, он рано увлекся чтением. У отца, страстного библиофила, была прекрасная библиотека, в которой были собраны сочинения за много веков: от античных авторов до современных просветителей. С восьми лет будущий поэт все время проводил в библиотеке отца. К двенадцати годам он уже знал латынь, древнегреческий и древнееврейский, в пятнадцать переводил с этих языков солидные ученые труды и трагедии. Когда в 1815 г. они были опубликованы, то сразу же обратили на себя внимание современников, их принимали за сочинения ученого старца. Месяцами прикованный к постели, он читал до потери зрения, почти до полной слепоты. С ранней юности вел дневники, куда записывал свои раздумья об исторических событиях, прочитанных книгах, свои научные изыскания в области эстетики и лингвистики. Позже он издал их под названием "Мысли". Главные его прозаические сочинения – "Нравственные очерки", "Переписка" со многими иностранными и итальянскими друзьями. "Нравственные очерки" считаются шедевром философско-художественной прозы. Написаны они в форме диалогов: "Разговор Геркулеса и Атланта", "Разговор моды и смерти", "Разговор Земли и Луны" и др. Создавались они в 1824–1832 гг., первое издание вышло в 1827 г., так что последующие дополнялись новыми диалогами. В русском переводе часть очерков была издана в 1888 г. Трактат "Парини, или О славе" написан в 1824 г., опубликован в 1827, первый русский перевод – в 1978 г. Фрагменты трактата печатаются по изданию: Д.Леопарди. Этика и эстетика. М.: Искусство, 1978.

1 *Парини* Джузеппе (1729–1799) – итальянский поэт, чье творчество считается одной из вершин итальянского классицизма, критик, публицист (был редактором "Миланской газеты"), прекрасный педагог. Трактат построен в форме наставлений Парини одному из своих учеников, избравшему путь литературного творчества.

2 *Автор "Придворного"* – имеется в виду Бальдассаре Кастильоне (1478–1529), итальянский писатель. Речь идет о трактате, в котором он создал тип придворного, соответствующего идеалу эпохи Возрождения.

3 *Лука* Марк Анней (39–65) – римский поэт. Сохранилась его историческая поэма "О гражданской войне, или Фарсалия", памятник декламационно-патетического стиля в римской поэзии.

4 *"Иерусалим"* – речь идет о поэме итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595) "Освобожденный Иерусалим" (1580).

5 *"Роланд"* – может идти речь о двух крупнейших произведениях итальянской и мировой литературы: "Влюбленный Роланд" – поэме Маттео Боярдо (1441–1494) и "Неистовый Роланд" – поэме Лудовико Ариосто (1474–1533).

6 *...как возродилось просвещение* – автор имеет в виду эпоху Возрождения.

7 *...по словам Цицерона* – имеются в виду слова из сочинения Цицерона "О государстве" (Кн. VI. Сновидение Сципиона, XXI, 23–XXII, 24): "Какое имеет значение, если имеющие родиться будут о тебе говорить, между тем как родившиеся прежде тебя о тебе ничего не сказали? А ведь их не меньше, и были они, конечно, лучшими мужами".

*Марьяно Хосе де Ларра (Ларра-и-Санчес де Кастро)*  
1809–1837

Испанский писатель, литературный критик и публицист, один из наиболее выдающихся представителей испанской литературы и обществен-

ной мысли первой половины XIX в. Его перу принадлежат исторический роман "Паж короля Энрике Слабого" по мотивам старинной легенды о любви бедного трубадура к знатной девушке и романтическая драма на тот же сюжет "Масиас". Драма легла в основу либретто оперы Верди "Трубадур". Наиболее значительная часть творческого наследия писателя — публицистика, сатирические очерки. Ларра издавал два периодических издания — "Сатирический оборотень современности" и "Простодушный болтун". Ранние очерки носили нравоописательный характер, в них с просветительских позиций обличались невежество, грубость нравов, праздное существование высших классов. Позднее Ларра переходит к социально-политическому памфлету. В первом журнале он выступал под маской "оборотня", всюду проникающего и все критикующего; в "Простодушном болтуне" — от лица наивного бакалавра Хуана Переса де Мунгия, живущего в стране Батуэкия. В Испании, на севере провинции Саламанка, есть Батуэльская долина, изолированная от остальной части страны горами, почти незаселенная. Жителей ее принято было считать дикарями, не затронутыми цивилизацией и просвещением, а слово батуэж стало олицетворением косности, темноты и невежества. После запрещения обоих журналов Ларра выступал в других периодических изданиях под псевдонимом "Фигаро". Он был также серьезным и остроумным литературным критиком.

"Письмо Андресу, написанное из Батуэкии простодушным болтуном" опубликовано в "Простодушном болтуне" в 1832 г., позднее вошло в пятитомное собрание сочинений, на русском языке появилось в 1898 г. в сборнике сочинений Ларры "Общественные очерки Испании". Печатается по изданию: Мариано Хосе де Ларра. Сатирические очерки. М.: Гослитиздат, 1956.

1 *М. де ля Гандара* — Мигель Антонио де ля Гандара (XVIII в.), испанский писатель-просветитель. "Заметки о благе и зле нашей страны" вышли в 1759 г.

2 ...*Омар, уничтоживший Александрийскую библиотеку* — имеется в виду Омар I (ок. 591 или 581 — 644), второй халиф в Арабском халифате. При нем арабы одержали крупные победы над византийцами и завоевали территории в Азии и Африке. Автор намскает на легенду, существовавшую на протяжении многих веков, о том, что арабы, захватив Александрию, сожгли библиотеку, основанную в начале IV в. до н. э. при Александрийском мусейоне, одном из главных научных и культурных центров античного мира. Александрийская библиотека была известнейшей библиотечкой древности. Древние ученые насчитывали в ней более 700 тыс. томов. По многим достоверным источникам часть библиотеки погибла еще в 47 г. до н. э., во время первой Александрийской войны, когда Юлий Цезарь захватил Александрию и, боясь восстания флота, стоявшего в Александрийской гавани, приказал поджечь корабли. Остальная часть погибла якобы в III в. при захвате Александрии римским императором Аврелианом.

3 *Унция... реал... дуρο* — унция называли испанский золотой дублон, существовавший до второй половины XIX в. Соотношение этих монет таково: унция равна 80 песетам, реал — четверти песеты, дуρο — пяти песетам.

4 *Фаха* — длинный широкий пояс, знак отличия военных и духовенства.

5 *Майорат* — зд. родовое дворянское поместье и родовой титул, переходящий к старшему сыну.

6 ...*быть профессором Алькалы или Саламанки* — т. е. двух крупнейших и старейших университетов Испании.

7 ...*ужасающий грохот знаменитых сукновален ламанчского идальго* — намек на сцену из части первой, главы XX "Дон Кихота", когда Дон Кихот услышал страшные удары, рев водопадов, которые оказались всего-навсего шумом сукновальных молотов.

8 *Рей де Артведа Андрес* (1549–1613) – испанский поэт и драматург.

9 *Газета* – имеется в виду "Официальная газета" или "Правительственный вестник".

10 *Наконец-то к нам идут французы* – издевательский намек на то, что французская армия, "сто тысяч сынов св. Людовика" во главе с герцогом Ангулемским, в 1823 г. вступившая в Испанию по решению реакционного Священного союза для подавления революции, все еще находилась в стране. Конституция была отменена, восстановлен абсолютизм, действовали так называемые очистительные хунты, тысячи людей были в изгнании.

11 ...этот грех (тщеславие) привел к крушению Вавилонской башни – намек на библейскую легенду (Бытие, II, 1–9), по которой дети Ноя захотели добраться до небес и принялись строить башню. Бог наказал людей за их высокомерные намерения, дав каждому свой особый язык вместо прежнего единого, люди перестали понимать друг друга и не смогли достроить башню.

12 *падение титанов* – в греч. миф. – титаны, боги доолимпийского периода, рожденные землей Геей и небом Ураном. Было шесть братьев и шесть сестер-титанид. Один из титанов был отцом Зевса. Когда Зевс стал во главе богов, титаны выступили против него, но завладеть Олимпом они не смогли и были низвергнуты в Тартар.

*Конрад Фердинанд Мейер*  
1825–1898

Швейцарский немецкий писатель, прозаик и поэт, автор баллад, поэм, романов и новелл на исторические темы. Сюжеты для своих сочинений Мейер черпал из истории средневековья, Возрождения, XVII в., углубленно изучая труды историков, биографии общественных деятелей и художников, мемуары. Его привлекали эпохи, насыщенные острой политической борьбой, люди большой энергии, воли и страстности. Он написал поэму об Ульрихе фон Гуттене, крупнейшем писателе и политическом деятеле эпохи Реформации в Германии, роман о Юрге Еначе, национальном герое Швейцарии, возглавившем борьбу против господства в стране Франции и Испании, новеллы о Томасе Беккете, епископе и канцлере английского короля Георга II, изобразил Италию эпохи Возрождения, Францию в период Варфоломеевской ночи.

Новелла "Плавт в женском монастыре" посвящена эпизоду из жизни выдающегося итальянского гуманиста, писателя, филолога, историка, политического деятеля Браччолини Поджо (1380–1459), автора "Книги фаяцетий" – сатирических и комических новелл-анекдотов, бытовых зарисовок часто антиклерикального содержания, "Истории Флоренции", многих научных трактатов. На века прославилась деятельность Поджо как страстного, неутомимого собирателя латинских рукописей, литературных памятников классической древности. Исторически достоверны главные события в новелле. Поджо действительно в 1414–1418 гг. сопровождал Оттона Колонну, будущего папу Мартина V в южногерманский город Констанц на вселенский собор – общецерковный съезд высшего духовенства католической церкви. Длился он четыре года. Главные вопросы, которые на нем обсуждались, – раскол церкви (одновременно правили три папы) и борьба с ересями. Через четыре года было принято решение казнить чешского реформатора Яна Гуса и его сподвижника Иеронима Пражского. Раскол церкви был ликвидирован, и папой избран Отто Колонна. Все свободное от дел Собора время Браччолини Поджо разъезжал по окрестным монастырям в поисках затерянных там рукописей. Он нашел в груде ненужного хлама некоторые речи, письма Цицерона, считавшиеся утраченными, извлек из груды ненужных бумаг сочинения римского оратора и теоретика ораторского искусства Квинтилиана,



известные ранее в отрывках, обнаружил произведения римских писателей I в. Лукреция, Силия Италика, Валерия Флакка, Авла Гелия, "Хронику" раннехристианского писателя Евсевия. В Базеле он нашел 12 комедий римского драматурга Тита Макция Плавта (ок. 255–184 до н. э.), ранее неизвестные. Все, что не удавалось приобрести, Поджо собственноручно переписывал. Исторические достоверны и другие биографические сведения, упомянутые в новелле. Первоначально новелла должна была называться "Неизданная фацетия Поджо", сам герой, от имени которого в духе итальянской новеллы Возрождения ведется повествование, называется "Находкой Плавта". Под нынешним названием новелла была опубликована в 1881 г. и тут же в Италии запрещена. На русском языке она вышла также в 1881 г. (харьковский журнал "Мир"), но названа она там "Два креста".

С незначительными сокращениями текст печатается по изданию: Конрад Фердинанд Мейер. Новеллы. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1958.

1 Козимо Медичи (1389–1464) – Козимо Старший, представитель богатейшей флорентийской семьи Медичи. С 1434 г., не приняв никакого титула и должности, стал полновластным правителем Флоренции. Был прозван "отцом отечества" за раздачу хлеба народу в голодный год. Покровительствовал ученым, литераторам, художникам.

2 ...варварских – здесь и далее имеется в виду – не итальянских. Употреблялось в подражании древним римлянам, которые называли варварами всех чужеземцев, говоривших на непонятных языках, особенно часто это относилось к германцам.

3 ...превратившейся в лернейскую гидру святой церкви – намек на "великий раскол" в католической церкви (одновременное правление трех пап). Лернейская гидра – в греч. миф. дочь Фетона и Эхидны, чудовище, похожее на змею, с девятью головами, у которого вместо одной отрубленной головы вырастали две.

4 ...привезенный из Кура... ретиец – г. Кур (Хур) – центр швейцарского кантона Граубюнден, расположенного в исторической области Ретия, бывшей римской провинции (охватывала также часть Италии). Жителей этой области называли ретийцами. Говорили они преимущественно на итальянском языке. Поэтому здесь и далее в тексте имена и названия населенных пунктов даны и на итальянский и на немецкий лад. Например: Анселино – Ганс, Спьюги – Сплюген и др.

5 ... родом она из *Abbatis Cella* и прозывается в народе "Бригиточкой из Трогена" – *Abbatis Cella* – старинное название швейцарского кантона Аппенцель с главным городом Троген.

6 Герольд – в средневековой Западной Европе глашатай, распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах, также церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов.

7 Турговия – швейцарский кантон Тургау.

8 Геральдическая птица – пренебрежительное название мелких дворян, имеющих фамильные гербы; "от геральдика" – "гербоведение".

9 Классический – здесь – итальянский, читай: потомков древних римлян.

10 алеманский – немецкий (ит. яз.).

11 Литературная тосканская речь – имеется в виду, что тосканский диалект (Тоскана – область в Италии с главным городом Флоренция) лег в основу итальянского литературного языка.

12 ...христианнейший доктор Жерсон и суровый Пьер д'Айи – имеются в виду французские богословы Жерсон (Жак Шарль, 1363–1429), прозванный за свои труды и деятельность "христианнейший", и Пьер д'Айи (1350–1420), активно выступавший на соборе против гуситской ереси.

13 Лидия и Гликера – часто встречающиеся в греческой и римской поэзии имена возлюбленных (Лукиан, Гораций и др.), ставшие нарицательными.

14 *Комедии умбрийца* – имеется в виду Плавт, он был уроженцем Умбрии, ныне области в центральной Италии.

15 *"Исповедь" блаженного Августина* – автобиографическое сочинение выдающегося христианского писателя, церковного деятеля, одного из отцов церкви Августина Аврелия (354–430), прозванного католическими богословами блаженным.

16 *Сангалленский монастырь* – бенедиктинский монастырь в швейцарском кантоне Санкт-Галлен, один из крупнейших культурных центров средневековья, имевший большое собрание рукописей. Здесь Поджо, действительно, удалось сделать несколько ценных находок.

17 *Диссехофен* – городок в кантоне Тургау, близ которого происходит события.

18 *Три судьи подземного мира* – в греч. миф. – сыновья Зевса Минос, Эак и Радамант, судившие умерших, попавших в Аид, царство мертвых.

19 *Весталка* – в Древнем Риме жрица Весты, богини домашнего очага, бравшая на 30 лет обет девственности.

20 *...на семи холмах встречались два авгура и, по крылатому слову древности, улыбались друг другу* – на семи холмах – т. е. в древнем Риме. авгуры – члены древнейшей почетной коллегии жрецов, которые толковали волю богов по полету или крику птиц. По свидетельству древних писателей, к I в. до н. э. образованные римляне уже не верили в эти предсказания и считали, что авгуры обманывают, но, обманывая верующих, они сами стараются сдержать смех. Выражение "улыбка авгура" применяется к обманщикам, узнавшим в собеседнике такого же обманщика.

21 *Преторские эдикты* – здесь в смысле безоговорочного предписания. Претор – высшее должностное лицо в Древнем Риме.

22 *Комедия о горшке* – или "Горшок".

23 *Лучший и величайший* – эпитеты, которые в Древнем Риме относили к Юпитеру.

24 *Plaudite amici! (Аплодируйте, друзья!)* – Аплодируйте, друзья! Комедия окончена! – обычное обращение к зрителю в конце римской комедии.

*Сальваторе ди Джакомо*  
1860–1934

Итальянский писатель, новеллист и поэт. Принадлежал к литературному направлению "веризм" (от *vero* – истинный, правдивый). Итальянский веризм был близок по своим принципам французскому натурализму, но отличался от него вниманием к социальным проблемам и более выраженным авторским отношением к описываемому, ярким местным колоритом. Обычно веристы изображали жизнь того города или края, где они родились и выросли. Сальваторе ди Джакомо называли "певцом Неаполя". Он не просто знал свой город, он его изучал и рассказывал о нем в очерках, рассказах, пьесах, стихах. Наиболее значительна и известна его книга – "Неаполитанские новеллы", вышедшая отдельным изданием в 1914 г. Ди Джакомо написал также ряд специальных исследований и книг, посвященных истории Неаполя, быту, театру, неаполитанской народной песне. Некоторые пьесы, переданные из новелл, и стихи он писал на диалекте. Его стихи, развивающие народную неаполитанскую традицию, проникнутые грустным юмором и лиризмом, пользовались большой популярностью, многие из них положены на музыку.

Новелла "Из-за Ринальдо" из сборника "Неаполитанские новеллы" печатается по изданию: Итальянские новеллы. 1860–1914. Л.: Гослитиздат, 1960.

1 *Ринальдо был отважным паладином...* – Ринальдо, Ринальд Монтальванский, персонаж французского героического эпоса, "Песни о Роланде" и многих сказаний, один из двенадцати пэров Франции, самых знатных лиц

государства, преданных сподвижников Карла Великого, которых называли паладинами, один из героев знаменитых поэм итальянских поэтов Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд", Маттео Боярдо "Влюбленный Роланд", Торквато Тассо "Освобожденный Иерусалим" и "Ринальдо", Луиджи Пульчи "Морганте" и "Большой Морганте". Поэма "Ариосто" издавалась только на протяжении XVI в. 185 раз и вызвала большое число "продолжений" и подражаний. Сюжеты о подвигах Ринальдо пользовались в Италии особой популярностью. О нем в итальянской народной литературе существовали многочисленные поэмы в октавах и романы, авторы которых часто были неизвестны.

2 *Кантасторий* – сказитель, уличный чтец. Их были сотни. Многие сочиняли стихи тут же при публике, на улице, в кафе, в театре на любые предложенные темы. Другие, как в данном случае, читали. Это было профессией, за публичные сеансы они брали деньги. Кантастории, которые читали или рассказывали о подвигах Ринальдо и его сподвижников, в Неаполе так и называли – "Ринальдо". Так что заглавие имеет двойное значение.

3 *Каморрист* – бандит, член тайной бандитской организации в южной Италии "Каморра".

4 *Пульчинелла* – персонаж итальянской комедии масок и кукольного театра, ловкий слуга, плут.

5 *Сарацины* – народ, упоминаемый древними историками, живший на севере Аравии. Позже так стали называть кочующие разбойничьи племена. В начале средних веков христианские писатели распространили это название на всех арабов, а позже и на всех мусульман.

*Мигель де Унамуно*  
1864–1936

Испанский писатель, поэт, прозаик, драматург, философ, публицист, общественный деятель, ученый-филолог, педагог. Деятельность его и творчество оставили неизгладимый след в испанской литературе. Творческое наследие Унамуно огромно и разнообразно по жанрам. Он выпустил десять сборников стихов, "написал тысячи страниц прозы. В философских эссе он рассуждал об общественном прогрессе и развитии личности, о могуществе и ограниченности научного мышления, о потребности в вере и невозможности веры для современного человека, о сущности национального характера, о подлинных и ложных национальных традициях. Он создал новые формы философской прозы и драмы. Он выступал на митингах, писал газетные комментарии на злобу дня – его публицистика показывает, каким сложным, но всегда искренним и открытым был его политический путь, кроме того, он преподавал греческую филологию, заведовал кафедрой, а долгое время и всем Саламанкским университетом". (И.Тертерян. Предисл. к кн.: М. де Унамуно. Избранная лирика. М.: Мол. гвардия, 1980).

Эссе "Как следует составлять библиотеку" написано, как видно из текста, в 1910 г., опубликовано в Мадриде в приложении к журналу "Эль Импарсиаль" в августе 1912 г., вошло в сборник "Заботы и размышления". По смыслу и проблематике эссе перекликается с романом Унамуно "Любовь и педагогика" (1902), в котором автор в свойственной ему гротесково-иронической манере выступает против весильной веры в рацию, в науку, против scientизма, абсолютизирующего роль науки в культурной и духовной жизни человека и общества, против представления о том, что знаний, доставляемых наукой, вполне достаточно для развития личности. Этой же проблеме посвящена статья Унамуно "Scientизм", в которой он писал, что болезни scientизма особенно подвержены средние классы, что спутником scientизма является непонимание и отрицание искусства и поэзии, а в эссе "О трагическом чувстве жизни" (1912) он

выступает против "псевдофилософской эрудиции", против "призраков, нагруженных знаниями". И в эссе, и в романе "Любовь и педагогика" сарказм Унамуно вызывает ученый педантизм; стремление все систематизировать, распределить по полочкам. В романе – "Вся наука в конце концов будет сведена человеком к рациональному каталогу, обширному словарю!" В эссе – "Цель науки – каталогизация вселенной". С не меньшей иронией в прологе к роману Унамуно пишет о тех, кто покупает книги, только чтобы составить библиотеку, "...сеньор Унамуно пока что пишет книги для читателей, а не для составителей библиотек..."

На русский язык эссе переводится впервые. Перевод выполнен по изданию: Miguel de Unamuno. *Inquietudes y meditaciones*. Madrid. s. a.

1 *Великий ученый дон Фульхенсио* – центральный персонаж романа "Любовь и педагогика", "гротескный философ, который на каждом шагу отпускает абсурдные афоризмы", как охарактеризовал его сам Унамуно. Его облик, поведение, абсурдные доктрины нелепы, но часто в его рассуждениях содержатся мысли и куски из эссе Унамуно, а многие из его парадоксальных афоризмов предвосхищают темы будущих произведений Унамуно.

2 *Shadworth H. Hodgson* – Шадворт Холвей Ходжсон (1832–1912), английский философ, писал труды по философии истории, науки, психологии, этике, литературе и др. В тексте речь идет, по-видимому, о его книге "Время и пространство. Метафизические эссе" (1865).

3 *Марселино Менендес-и-Пелайо* (1856–1912) – испанский ученый, историк культуры и литературы, автор монументальных трудов "История эстетических идей в Испании", "Происхождение романа" (4 т.), "История испанской поэзии средневековья" и др. В первом томе "Происхождения романа", посвященном испанской прозе средних веков и Возрождения, на указанной Унамуно странице есть сноска к цитатам из пасторального романа "Счастье любви в десяти частях, составленных Антонио де Лопрассо, солдатом, сарацаном, родом из города Алгера..." Роман вышел в Барселоне в 1573 г., пользовался в свое время большим успехом, среди прочих книг был в библиотеке Дон Кихота. Унамуно цитирует точно.

*Луиджи Пиранделло*  
1867–1936

Итальянский писатель, прозаик и драматург, один из самых крупных итальянских писателей эпохи, создатель "Театро д'арте" в Риме (1925), член итальянской Академии, лауреат Нобелевской премии 1934 г. Написал семь романов, наиболее известные из них "Покойный Маттиа Паскаль", "Старые и молодые", "Вертится", "Один, ни одного, сто тысяч", множество пьес, около двухсот пятидесяти новелл, объединив их общим названием "Новеллы на год" (15 т.). В России новеллы и романы Пиранделло переводили с 10-х гг. XX в., в 1932 г. вышел первый сборник его пьес "Обнаженные маски".

Новелла "Бумажный мир" написана в 1909 г., вошла в пятый том "Новелл на год", носящий название "Муха" (1922). В этой новелле воплощена одна из характерных для всего творчества Пиранделло идей – уход героя из реального мира в мир воображаемый, призрачность действительности, одиночество, неумение людей понять друг друга, враждебность окружающего предметного мира. Печатается по изданию: Луиджи Пиранделло. Избранная проза. В 2 т. Т. 2., Л.: Худож. лит., 1983.

1 *Тронхеймский собор* – готический собор, построенный в 1140 – 1320 гг. и перестроенный в XIX–XX вв., в старинном норвежском городе Тронхейм, древней столице Норвежского королевства.

Генрих Манн  
1871–1950

Немецкий писатель и общественный деятель, романист и драматург, публицист и литературный критик. Более полувека он был в первых рядах прогрессивных писателей Германии. С 1933 г. жил в антифашистской эмиграции, книги его в Германии были сожжены. В 1950 г. избран первым президентом Академии искусств ГДР, но смерть помешала ему вернуться на родину. В огромном литературном наследии Г. Манна публицистика занимает важное место, в ней отражена общественная жизнь исторической эпохи. "Статей у меня множество, — писал он в итоговой мемуарно-публицистической книге "Обзор века", опубликованной в 1946 г., — и каждая из них вылилась из самых глубин возмущенной совести". Особое место в публицистике Г. Манна принадлежит проблемам культуры. Он был одним из первых членов секции поэзии Прусской Академии искусств, созданной в 1926 г. В этот период он много выступал с лекциями и докладами на злободневные темы искусства и литературы. Статья "Духовные интересы" — один из таких докладов. Прочитал его Г. Манн в 1931 г., включил в сборник "Общественная жизнь" (1932).

Печатается первая часть статьи по изданию: Генрих Манн. Сочинения. В 8 т. Т. 8., М.: Худож. лит., 1958.

1 *"На Западном фронте без перемен"* — роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898–1970) о буднях первой мировой войны. Вышел в 1929 г., принес автору славу, был переведен на многие иностранные языки и оказал большое влияние на мировую литературу. В фашистской Германии этот роман сжигали.

2 *Будденброки* — первый роман Томаса Манна, брата Генриха. Опубликован в 1901 г. На примере жизни четырех поколений одной семьи от периода расцвета до ее распада Т. Манн воссоздал историю немецкого бюргерства с начала XIX в. Роман основан на личных наблюдениях писателя над жизнью г. Любека, где оба брата родились в патрицианско-бюргерской семье.

3 *Рыночные ворота старого Милета* — имеются в виду ворота в древнегреческом городе Милет. Построены ок. 170 г. Обнаружены во время раскопок, проводимых Немецким археологическим институтом.

4 *Берлинский Ульштейнхауз* — здание издательства Ульштейн, созданного в 1877 г. Лесопольдом Ульштейном (существовали венский и darmstadtский Ульштейнхаузы — филиалы фирмы). Ныне принадлежит концерну Шпрингера.

5 *Шанфлеры* — псевд., наст. имя Жюль Феликс Юссон (1821–1889), французский писатель. Считал основной задачей литературы изображение низших классов общества. Писал очерки, рассказы, эссе, романы. Вокруг него сформировался кружок писателей, творчество которых в то время называли реализмом. В сборнике статей "Реализм" он сформулировал свои принципы — в них сочетаются реалистические требования с положениями, близкими натурализму. До середины 50-х гг. XIX в. творчество его вызывало много литературных споров.

6 *Когда вспыхнула революция...* — имеется в виду ноябрьская революция 1918 г. в Германии, которая свергла монархию Вильгельма II и провозгласила буржуазно-демократическую республику (Веймарскую республику).

Хосе Мария Салаверриа\*  
1873–1940

Испанский писатель. Известен как выдающийся мастер в жанре очерка и эссе, как глубоко мыслящий писатель. Всегда умел привлечь читателя интересными публикациями в многочисленных журналах и газетах.

\* Примечания А. Шлейфер.

Он является автором нескольких романов, путевых заметок, книги для молодежи, эссе по вопросам искусства и литературной критики.

Эссе "Трагедия в библиотеке" впервые опубликовано в сборнике Салаверриа "Литературная близость". Мадрид, 1919. На русский язык переводится впервые. Перевод выполнен по изданию: *El mundo de los libros. Selección por Domingo Buonocore. Santa Fe. 1955.*

*Асорин (псевд., наст. имя Хосе Мартинес Руис) \**  
1873–1967

Испанский писатель, один из основателей известного литературного течения "Поколение 98 года". Асорин считается великолепным стилистом; им написаны тончайшие исследования об испанских классиках, о национальной истории, о природе страны, несколько романов и драматических произведений, а также множество эссе и очерков, публиковавшихся в периодической печати.

Эссе "Как нужно читать" написано в 1944 г., "Чтение" и "Букинистические лавки" в 1946 г. Они вошли в сборник произведений Асорина, названный "Художник и стиль". На русский язык переводятся впервые. Перевод выполнен по изданию: *Azorin. El artista y el estilo. Madrid: Aguilar, 1969.*

1 *Альфред Виктор де Виньи* (1797–1863) – французский писатель; основным мотивом в его поэзии стали страдания выдающейся личности, одиноко возвышающейся над толпой, что ярче всего проявилось в поэме "Смерть волка".

2 *Руайе-Коллар*, Пьер Поль (1763–1845) – французский философ, политический деятель, член Французской академии.

3 *Пиндар* (ок. 518–442 или 438 до н. э.) – древнегреческий поэт, сочинял торжественную хоровую лирику, т. е. песнопения, предназначенные для исполнения на празднествах.

4 *Диего Уртадо де Мендоса* (1503–1575) – испанский писатель-гуманист, в качестве дипломата посетил Англию, Рим, был послом короля Карла V в Венеции.

5 *Эспиноса* (1502–1572) – испанский политик и кардинал, глава испанской инквизиции.

6 *Рибальта*, Франсиско де (1555? – 1628) – испанский художник валенсианской школы.

7 *Йорданс* Якоб (1593–1678) – фламандский художник.

8 *Грасиан-и-Моралес* Бальтасар (1601–1658) – испанский писатель и философ-моралист, автор сочинений "Карманный оракул", "Критикон" и др.

9 *Артур Шопенгауэр* (1788–1860) – немецкий философ-идеалист.

10 ...*посмертного издания книги Жана Расина "Краткая история Пор-Руаяля"* – речь идет об издании 1742 г. Жан Расин (1639–1699) – французский писатель, драматург, крупнейший представитель классицизма.

11 *сендаль* – тончайшая ткань из шелка или льна.

*Томас Манн*  
1875–1950

Немецкий писатель, автор всемирно известных романов, лауреат Нобелевской премии 1929 г. С самого начала своей литературной деятельности наряду с романами и новеллами писал критико-публицистические

\* Примечания А.Шлейфер.

статьи о произведениях своих современников, писателях прошлого, о русской литературе, о роли и значении искусства, о месте художника в обществе, о важнейших общественных событиях своего времени, о фашизме и противостоянии ему, статьи и эссе по проблемам философии и психологии культуры.

Статья "Бильзе и я" написана в 1906 г. Томас Манн назвал ее "маленьким манифестом". В ней он не только излагает свои взгляды на художественное творчество, на цели и назначение искусства, но, можно сказать, он выводит формулу, выражающую связь: Жизнь (действительность) – писатель, ее изображающий, отражающий, претворяющий в литературное произведение, в книгу, – читатель (разный читатель), эту книгу воспринимающий, предъявляющий к книге и автору свои требования, иногда справедливые, иногда необоснованные.

С некоторыми сокращениями печатается по изданию: Томас Манн. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1960.

1 *Бильзе* Фриц Освальд (1870–?) – немецкий писатель. В 1903 г., будучи лейтенантом в пограничном гарнизоне, стоявшем в маленьком городке Форбах, опубликовал роман "В маленьком гарнизоне" (в рус. пер. "Из жизни маленького гарнизона. Военные нравы современной Германии" СПб., 1904). Художественно слабый роман, но имел сенсационный успех. Вызвал раздражение и гнев военных, поскольку сослуживцы Бильзе узнавали себя в персонажах романа. За публикацию романа Бильзе судили в военном суде г. Метца и разжаловали.

2 *...от Мааса до Мемеля...* – здесь – символ западных и восточных границ Германии. В нижнем течении реки *Маас* проходила граница между Германией и Нидерландами. *Мемель* – старое, существовавшее до 1923 г., название г. Клайпеды.

3 *...Тургенев в своем послесловии к "Отцам и детям"* – имеется в виду статья Тургенева «По поводу "Отцов и детей"» (1868–1869).

4 *Вагнер Рихард* (1813–1883) – немецкий композитор и дирижер, новатор, реформатор оперы, создатель музыкальных драм по сюжетам национальной мифологии, произведения которого Томас Манн высоко ценит (статья "Страдания и величие Рихарда Вагнера").

5 *Джон Фальстаф* – персонаж драмы "Генрих IV" и комедии "Виндзорские насмешницы", весельчак, кутила, обжора, хвостун, ставший пародией на рыцарский идеал отваги и чести, и одновременно человек сложного и противоречивого характера.

6 *...Гете... жив в Антонио и одновременно в Тассо* – речь идет о драме Гете "Торквато Тассо" (1790).

*Герман Гессе*  
1877–1962

Немецкий писатель, прозаик, поэт, критик, публицист, искусствовед, лауреат Нобелевской премии 1946 г. Многие годы прожил в Швейцарии, окончательно переселился туда после первой мировой войны и в 1923 г. принял швейцарское подданство. Герман Гессе был убежденным и последовательным пацифистом, антифашистом, знатоком литературы и искусства, философии, религии, эрудитом, человеком широких интересов. В своих романах, повестях, рассказах, эссе он показал сложную картину духовной жизни европейской интеллигенции конца XIX – начала XX в., особое внимание уделяя судьбе художника в современном мире, судьбе культуры. Гессе был тонким филологом и библиофилом. По его словам, он легче ориентировался в мире книг, чем в хаосе жизни, хотя его последовательная нравственная позиция во все времена свидетельствует о том, что в "хаосе жизни" он также ориентировался. В его биографии был период, когда он несколько лет работал учеником и помощником книгопродавца.

Занимался он и издательской деятельностью. Своим "книжным опытом" Гессе делится во многих произведениях, в эссе "Общение с книгами", "Читать и владеть книгами", "О чтении книг", "Магия книг", "Мировой кризис и книги", новеллах "Раритет", "Человек с множеством книг", "Двухтомник Новалиса". "Старомодный человек", от имени которого ведется повествование, не только библиофил, но и увлеченный почитатель романтической поэзии, тонкий знаток Новалиса, каким был и сам Гессе. Новелла написана в 1901–1902 гг., опубликована в 1907 г. в мюнхенском журнале "Мэрц" ("Март"). На русский язык переводится впервые. Перевод выполнен по изданию: Hermann Hesse. Gesammelte Erzählungen. Bd. 1. Aus Kinderzeiten. 1900–1905. Frankfurt am Mein.

1 *Новалис* (псевд., наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772–1801) – немецкий писатель и философ, представитель иенской школы романтиков. Короткая жизнь его была овеяна легендой. Его называли "поэтом голубого цветка", отрешенным от всего земного. В произведениях Новалиса трудно отделить философию от поэзии. Так, его незавершенный роман "Ученики в Саисе" скорее трактат о природе, о взаимоотношениях человека с природой. Философский роман "Генрих фон Офтердинген", также незавершенный, сочетает в себе прозу, поэзию, притчу, сказку. В поэтических циклах "Гимны к Ночи" и "Духовные песни" проявил себя как тонкий лирик. Оставил также прозаические "Фрагменты" – короткие рассуждения на философские и этические темы, афоризмы.

2 *Клаудиус, Жан-Поль, Тик, Гофман* – перечислены немецкие писатели конца XVIII – первой половины XIX в.: Маттиас *Клаудиус* (псевд. – Асмус, Вандсбеккер Боте, 1740–1815) – близкий к движению "Бури и натиска"; *Жан-Поль* – см. с. 230; Людвиг *Тик* – см. с. 235; Эрнст Теодор Амадей *Гофман* (1776–1822) – крупнейший представитель немецкого романтизма, в произведениях которого фантастика переплетается с сатирическим изображением действительности.

3 ... "*Титана*" или "*Вертера*" – имеется в виду философский роман Жан-Поля "Титан" и первый роман Гете "Страдания молодого Вертера" (1774).

4 ... "*Гёца*" и "*Вильгельма Майстера*" – произведения Гете – "Гец фон Берлихинген с железной рукой" (1773), драма; романы "Годы учения Вильгельма Майстера" (1795–1796) и "Годы странствий Вильгельма Майстера" (1821–1829).

5 ...*альдин... набранных... антиквой... и отпечатанных ин-октаво* – *альдины* – книги, изданные венецианскими типографами XV–XVI вв. Альдом Мануцием, его сыном Паоло и внуком Альдом Младшим. Для альдин характерен небольшой формат в 1/8 долю бумажного листа, ин-октаво; издательский переплет – тисненая золотом кожа, издательская марка – дельфин, обвивающий якорь; *антиква* (от лат. "древний") – наборный шрифт латинской алфавитной системы, антипод готической ветви шрифтов, антиквой набирали литературные произведения гуманистов Возрождения.

6 *Мерике, Эйхендорф, Беттина фон Арним* – немецкие писатели-романтики. Эдуард Фридрих *Мерике* (1804–1875), автор романа "Живописец Нольтен", новеллы "Моцарт на пути в Прагу" и лирических стихов; Йозеф фон *Эйхендорф* (1788–1857), прозаик и поэт, его стихи были положены на музыку Ф.Шубертом, Ф.Мендельсоном, Р.Шуманом; *Беттина фон Арним* (1785–1859), автор произведений "Эта книга принадлежит королю", "Беседы с демонами".

7 *Тюбинген* – старинный университетский город на берегу реки Неккар, правого притока Рейна, у подножия горного массива Швабская Юра.

8 ...*клянусь Стиксом* – здесь в шуточной форме, утратившей первоначальное подлинное значение, произнесена клятва, считавшаяся в древности самой страшной. Стикс – в греч. миф. божество одноименной реки в царстве мертвых, где боги во время раздоров должны были по приказу произносить клятву, за нарушение которой они подвергались наказанию.



9 "Гномон" Бенгеля – речь идет о книге комментариев к Новому Завету "Gnomon Novi Testamenti" немецкого протестантского теолога Иоганна Альбрехта Бенгеля (1687–1752).

10 Шлейермахер Фридрих Даниэль (1768–1834) – знаменитый немецкий философ, теолог и проповедник, профессор теологии в ряде немецких университетов. Дружил с Фридрихом Шлегелем, ведущим теоретиком иенских романтиков, был близок к кружку, в который входил и Новалис.

11 Шёнбух – гористая местность на левом берегу реки Неккар.

12 Сказка о Гуацинте и Розенблютхен – входит в роман "Ученики в Саисе".

13 Бебенхаузен – старинный монастырь близ Тюбингена, памятник архитектуры XII в.

14 Сеттиньяно близ Флоренции – небольшой живописный городок, посещаемый туристами, с церковью св. Мартина, в которой есть картины мастеров XV–XVI вв., и памятными местами, например виллой, где жил Микеланджело.

15 ...в Бадиа он снимал... копию с головы св. Бернарда Филиппино Липпи – имеется в виду станковая картина итальянского художника Филиппино Липпи (1457–1504) "Видения св. Бернарда" или "Явление богоматери св. Бернардусу" в церкви Флорентийского аббатства (Бадиа).

16 Софи Меро (1770–1806) – немецкая писательница, романтик, автор романа в письмах "Аманда и Эдуард" и 2-х томов стихотворений. Вместе со своим мужем Клеменсом Брентано перевели и издали в Германии сборник испанских и итальянских новелл.

17 Филипп Отто Рунге (1777–1810) – немецкий художник, живописец и график, теоретик искусства.

**Роберт Музиль\***  
1880–1942

Австрийский писатель, представитель интеллектуальной гуманистической прозы XX в., мастер иронической критики глубинных структур буржуазного общества. В юности был военным инженером; в 1903 г. опубликовал свой первый роман "Смятения воспитанника Терлеса". Получил философское образование; во время первой мировой войны был мобилизован, после войны несколько лет работал в военном министерстве, был библиотечкарем, затем стал профессиональным писателем. Жил в Берлине. В 1933 г. эмигрировал в Австрию, а после фашистского аншлюса в 1938 г. – в Швейцарию, где и скончался.

Музиль является, в сущности, автором одной книги, прославившей его, – романа "Человек без свойств". Все его творчество, начиная с известных советскому читателю новелл "Тонка", "Гридгия", "Черный дрозд", "Португалка", а также рассказов, пьес и многочисленных эссе, было увертюрой к этой книге, выразившей современную нам эпоху с ее проблемами и кризисными явлениями. Характерное для прозы Музиля неприятие традиционной художественной литературы с ее психологизмом и занимательностью, по выражению писателя, лишь скользящей по поверхности явлений, выразилось и в публикуемом нами эссе, написанном в 1926 г. Проблемы писательства и феномен литературы занимали Музиля всю жизнь. Для Музиля, который, как никто, жил в своих произведениях, важно было ответить на один, главный для него вопрос: в каком направлении возможно духовное переустройство общества, какова роль мира книг и чтения. Хорошие книги, хорошая литература для Музиля – воплощение возможности "вернуть утраченное со времен Орфея убеждение, что литература волшебным образом влияет на мир".

\* Примечания А. Науменко.

Перевод выполнен по изданию: Robert Musil. Gesammelte Werke, Bd. 1–9 / hg. von A. Frisé. Hamburg: Rowohlt, 1978, Bd. 8, S. 1160–1170. © Rowohlt Verlag GmbH Reinbeck bei Hamburg.

1 *Вставляют в голову нюрнбергскую воронку* – шуточный образ, вошедший в немецкий обиход из книги представителя нюрнбергской поэтической школы Георга Филиппа Харсдёрфера (1607–1658) "Поэтическая воронка для вливания немецкого стихотворческого и рифмовторческого искусства всего за 6 часов, в 3-х частях, 1647–1653, Нюрнберг".

2 *Марриет* Фредерик (1792–1848) – английский писатель, морской офицер, автор многочисленных приключенческих морских романов.

3 *Бильрот* Теодор (1829–1894) – немецкий хирург, ввел в практику ряд новых операций: резекцию желудка, пищевода, удаление гортани, предстательной железы и др.; разработал статистику с указанием отдаленных результатов операций.

4 *Георге* Стефан (1868–1933) – немецкий поэт, видный представитель немецкого символизма.

5 *Блюер* Ганс (1888–1955) – немецкий писатель-философ, в 20-е гг. влиятельный теоретик юношеского, националистического по сути, т. н. туристического движения, которое должно противостоять "сковывающему влиянию одряхлевшей культуры"; своей задачей считал "утверждение сверхчеловека", воспитание "человека-героя" – антипода "буржуа".

6 *Клагес* Людвиг (1872–1956) – немецкий философ-иррационалист, психолог, поэт, эссеист; оказал влияние на многих немецких поэтов.

7 *Эубиотика* – учение о телесно, духовно и социально здоровой жизни.

8 *...перед войной* – т. е. перед первой мировой войной.

9 *Гамсун* Кнут (1859–1952) – знаменитый норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии 1920 г. В своих психологических романах создал образы людей, противопоставленных обществу и близких к природе; апологет "свободы личности".

10 *Гансхофер* Людвиг (1855–1920) – немецкий писатель, представитель легкого жанра, глашатай сентиментального мелкобуржуазного националистического "отечественного искусства"; издавался миллионными тиражами.

11 *Гebbель* Кристиан Фридрих (1813–1863) – выдающийся немецкий поэт и драматург, для его философской лирики характерны созерцательность и трагическое мироощущение.

12 *Вильденбрух* Эрнст фон (1845–1909) – немецкий драматург – эпигон Шиллера, новеллист и поэт, представитель официальной реакционной литературы шовинистического направления, в свое время очень известный.

13 *...эстетическим тройным правилом* – автор имеет в виду т. н. золотое сечение (золотая пропорция) – математическое правило, в котором величины связаны прямой и обратной зависимостью. С древнейших времен его использовали в архитектуре, живописи и скульптуре.

*Йоахим Рингельнац\**  
(псевд.. наст. имя Ханс Бетгинхер)  
1883–1934

Немецкий поэт и прозаик, художник, мастер гротеска и пародии, создавший мир разнообразных измерений, смешной и трагический одновременно. Сменив в молодости около 30 профессий, главной целью своего творчества он сделал ответ на вопрос: как и при каких обстоя-

\* Примечания А. Науменко.

тельствах люди – прежде всего трудящиеся – могут быть действительно счастливы. Писал с 13 лет, выпустил всего три книги: он был художником преимущественно звучащего слова, вел жизнь гастролирующего артиста, выступая в литературных и политических кабаре, театрах миниатюр и, когда пришла к нему европейская слава, – как независимый артист. Его называли “грохочущим пугалом обывателей”. Печатался Рингельнац преимущественно в журналах, малотиражных библиофильских сборниках, которые он сам и иллюстрировал. В 1933 г. фашисты запретили его произведения, и вместе с другими они горели 10 мая в исполинском костре на берлинской Опернплац.

Все творчество Рингельнаца пронизывает глубочайшее почтение к книжной культуре – почтение человека, не получившего регулярного образования и сформировавшегося в среде звучащего слова. Но отношение к ней носит у Рингельнаца конфликтный характер. Это конфликт известной элитарности и самоцельности книжной культуры с авторским опытом выступлений в больших аудиториях, требующих непосредственного, бытового, звучащего слова и сопереживания. Рингельнац ищет разрешения этого конфликта в гротеске, что мы и видим на примере публикуемого рассказа, идея которого подсказана, видимо, опытом библиокара – одной из профессий Рингельнаца.

На русский язык переводится впервые. Перевод выполнен по изданию: Joahim Ringelnatz. Die wilde Miß vom Ohio und andere ungewöhnliche Geschichten. Mit 42 Handzeichnungen von ihm selbst. /Hg. V.H.Bemmann, Brl. Eulenspiegel Verl. 1977.

<sup>1</sup> ...иллюстрированными сказками Бехштайна – речь идет о “Немецкой книге сказок” или “Немецких сказках и сказаниях”, собранных и обработанных Людвигом Бехштайном (1801–1860), немецким писателем, фольклористом и литературоведом. До начала XX в. они конкурировали с Гриммовскими сказками.

<sup>2</sup> *Карл Май* (1842–1912) – немецкий молодежный писатель, автор юмористических рассказов на сельские темы, сентиментальных бульварных романов, но в первую очередь приключенческих, слабых в художественном отношении (наиболее известна бесконечная серия о Виннету, вожде апачей).

<sup>3</sup> “Симплициссимус” – “Похождения Симплициссимуса” (1669), главное произведение классика немецкой литературы Ганса Якоба Кристофа фон Гриммельсхаузена (ок. 1621–1676), одна из самых выдающихся книг в немецкой литературе.

Альберто Инсуа  
1885–1963

Испанский писатель, прозаик и журналист. Родился на Кубе, с 15 лет жил в Испании. Во время первой мировой войны был французским военным корреспондентом и в 1917 году опубликовал книгу “Страницы войны. За Францию и за свободу”, позже сотрудничал во многих испанских и латиноамериканских газетах. Его занимательные, искрящиеся остроумием статьи и эссе пользовались большим успехом. Опубликовал много остро сюжетных романов и повестей, три тома мемуаров, писал пьесы. Критики отмечали естественность, изящество, глубокий психологизм его произведений. В свое время его романы были очень популярны, переводились на французский, итальянский, португальский языки. На русский язык произведения Инсуа не переводились. Эссе “Прославленный книгопродавец” было опубликовано в аргентинской газете “Ла Пренса” в апреле 1940 г. На русский язык переводится впервые. Перевод выполнен по изданию: El mundo de los libros. Selección por Domingo Buonocore. Santa Fe, Castelli, 1955.

1 *Бенавенте-и-Мартинес Хасинто* (1866–1954) – испанский драматург, лауреат Нобелевской премии 1922 г., написал более 150 пьес разных жанров: бытовых, психологических, морально-философских, сатирических, символических.

2 *Хуан Валера* (1824–1905) – испанский прозаик, теоретик литературы, дипломат, побывавший во многих странах, в том числе и в России. Наиболее известны его романы: "Иллюзии доктора Фаустино" (1875), "Пепита Хименес" (1874), "Хуанита Длинная" (1895); писал статьи по истории испанской и мировой литературы, о новом искусстве, на исторические, философские, религиозные темы. Его "Письма о России" – один из наиболее интересных откликов на русскую литературу XIX в.

3 *Переда* – Хосе Мария де Переда (1833–1906), выдающийся испанский писатель-реалист, автор романов из жизни рыбаков и горцев своей родной провинции Сантандер, критиковал современную действительность с религиозно-консервативных позиций.

4 *Кларин* (псевд., наст. имя Леопольдо Алас-и-Уренья (1852–1901) – испанский прозаик, критик, теоретик литературы. Писал реалистические романы, подвергая критике духовенство и аристократию, в критических статьях был сторонником натурализма Золя.

5 *Перес Гальдос* Бенито (1843–1920) – один из крупнейших писателей-реалистов Испании, общественный деятель, депутат Кортесов, академик. Он написал около 80 романов, большая часть которых (46) вошла в цикл "Национальные эпизоды", отразивший жизнь испанского общества XIX в.: нашествие Наполеона, династические войны, испанская революция 1868–1874 гг., период реставрации Бурбонов и др.; 25 драм, множество повестей, статей, очерков, его романы из современной жизни также пользовались большим успехом.

6 *Пардо Басан* Эмилия (1852–1921) – испанский прозаик, литературовед и общественный деятель, автор романов, в центре которых социальные и моральные проблемы (наиболее известные из них: "Родовая усадьба Ульоа", упомянутый далее, "Женщина-трибун" (в рус. пер. 1893 г. "Дочь народа"), "Химера"), и трехтомного сочинения "Революция и роман в России" (1887).

7 *Октавио Пикон* Хасинто (1852–1924) – испанский прозаик, драматург, критик, общественный деятель. Был членом и постоянным библиотекарем королевской Академии языка, членом Академии изящных искусств.

8 *Эухенио Сельес* (1844–1926) – испанский драматург и прозаик, член Испанской академии, председатель Общества испанских драматургов, редактор ряда журналов. Кроме большого числа пьес и романов, написал книгу "Журналистика в Испании".

9 *Бласко Ибаньес* Висенте (1867–1928) – прозаик с мировым именем, общественный деятель. Перечисленные в тексте романы вышли в начале 1900-х гг. В них автор вскрывал социальное зло в разных его проявлениях и изображал попытку устранить его путем открытой борьбы. *Валенсийский период* – 1890-е гг., когда автор жил в родном городе Валенсия, писал романы, в которых описывал жизнь родного края, уделяя внимание изображению быта и народных нравов ("Рис и тележка", "Майский цветок", "Хутор", "В апельсиновых садах", "Валенсийские рассказы"). *Впереди его ждала жизнь в Париже* – намек на предстоящую ему жизнь после установления диктатуры Примо де Риверы.

10 *Фелипе Триго* (1864–1916) – романист, близкий к натуралистам, его романы несколько эротического характера пользовались успехом у публики.

11 *Автор "Действительности"* – т. е. Бенито Перес Гальдос. Роман "Действительность" вышел в 1889 г.

12 *Паласио Вальдес* Арманто (1853–1938) – один из виднейших прозаиков-реалистов, автор критических статей, вошедших в сборник "Литературные портреты", член Испанской академии.

13 "Атеней" – научно-литературное общество.

14 *Руис Контрерас* Луис (1863–1953) – испанский писатель, прозаик, поэт, драматург, журналист, переводчик, организатор ряда журналов. В его переводах были изданы почти все романы А.Франса, Ги де Мопассана и др.

15 *Эскапада месье Бержере...* – Месье Бержере, герой цикла романов Франса, объединенных названием "Современная история": "Под придорожным вязом" (1897), "Ивовый манекен" (1898), "Аметистовый перстень" (1899), "Господин Бержере в Париже" (1901). Месье Бержере – профессор-филолог, честнейший человек, гуманист, пытающийся уйти от мира мещанской пошлости и беспринципности в книги и рукописи. Окружающим он кажется нелепым чудачком.

*Педро Салинас*

1892–1951

Испанский поэт и литературовед, написал также несколько романов и пьес. В 20-е – начале 30-х гг. принимал активное участие в литературной жизни, в дискуссиях о поэзии. Не принял франкизма, покинул Испанию, преподавал испанский язык и литературу в Сорбонне и Кембридже, позже в университетах США. Умер в Бостоне. Наиболее известны его поэтические сборники: "Предзнаменование" (1923), "Удар судьбы наверняка" (1929), "Словом обязан тебе" (1934), "Основание любви" (1936), "Наблюдение" (1946). Много писал об испанской литературе: "Очерки испанской литературы от "Песни о моем Сиде" до Гарсиа Лорки", "Испанская литература XX в.", "Романтизм и XX в", об испанском поэте XV в. Хорхе Манрике, о никарагуанском поэте Рубене Дарио, "Ответственность писателя" и др. Живя в Америке, проникся мыслью, что миссия писателя – защищать традиционные формы культуры и человеческого общения от разрушающего воздействия цивилизации. Так возникла книга "Защитник". Она вышла в Боготе в 1948 г. в Национальном университете Колумбии, но распродана не была. Почти весь тираж остался в подвалах университетского склада.

"Защита чтения" – вторая глава этой книги. На русский язык впервые переводятся фрагменты главы. Перевод выполнен по изданию: Pedro Salinas. El defensor. Madrid. 1967.

1 ...*Суперальдонсы, Дульсинеи* – Альдонсой зовут в "Дон Кихоте" крестьянку, которую рыцарь Печального Образа превращает в своем воображении в благородную даму и дает ей имя Дульсинея.

2 *Сарсуэла* – драматический спектакль с пением и танцами.

3...*чудовище в Лабиринте* – имеется в виду греческий миф о Минотавре, человекобыке, рожденном женой критского царя Миноса Пасифаей от связи со священным быком бога Посейдона и заключенном Миносом в подземном лабиринте, построенном Дедалом. Для кормления чудовища подвластные Миносу Афины доставляли периодически по семь юношей и девушек.

4 ...*высказывания Эдгара По... из его "Маргиналий"* – Эдгар Аллан По (1809–1848) – американский писатель-романтик; "Маргиналии" – собрание афоризмов, "заметок на полях", посвященных искусству, литературе, жизни, отдельным людям, книгам.

5 ...*фамилию отца и матери* – испанцы носят две фамилии, первой ставят фамилию отца, второй – матери.

6 *Фернан Кабальеро* (псевд., наст. имя Сесилия Бёль де Фабер, 1796–1877) – испанская писательница, автор романов "Чайка", "Клеменсия" и др.; использовала фольклорные сюжеты, писала рассказы из народной жизни, статьи о народной поэзии и на религиозно-этические темы.

7 *Переда* – см. с. 251.

8 *Падре Колома* – так называли Луиса Колому (1851–1915), автора исторических и сатирических романов и рассказов. В зрелые годы стал священником.

9 *Мария дель Пилар Синус* (1835–1893) – автор множества сентиментально-романтических романов и стихов в духе журнала "Ангел домашнего очага", главным редактором которого она была.

10 *Эркман Шатриан* – литературное имя двух французских писателей, работавших совместно: Эмиля Эркмана (1822–1899) и Шарля Луи Александра Шатриана (1826–1890). Под этим именем они писали рассказы о народной жизни Эльзаса и Лотарингии, в основе которых лежали легенды и сказки, стилизованные в духе Гофмана, исторические романы о Франции конца XVII – начала XIX в. и романы, обличающие Вторую империю, рисующие трагические события франко-прусской войны, в которых изображали жизнь и психологию крестьян, ремесленников, солдат.

11 *...так обстояло дело с Гальдосом... романы из серии "Национальные эпизоды"...* о непристойном романе "Фортуната"... о вредных глупостях "Назарина" – имеется в виду Бенито Перес Гальдос – см. с. 251, "Национальные эпизоды" – цикл исторических романов. В 47 книгах отражена жизнь испанского общества XIX в.: нашествие Наполеона, династические войны, испанская революция 1868–1874 гг., период реставрации Бурбонов и пр.; *непристойный роман "Фортуната"* – роман "Фортуната и Хасинта" (1866–1867) создан в период увлечения писателя натурализмом; роман "Назарин" написан в период наибольшего увлечения писателя идеями Толстого и проникнут мыслями о реформе церкви.

12 *...тома "Библиотеки испанских писателей" Риваденейры* – Мануэль Риваденейра (1805–1872), испанский издатель и типограф, основатель одного из крупнейших испанских издательств, выпускал произведения испанских писателей, объединив их в упомянутую серию. Вышло 72 тома.

13 *...выдумки и безрассудства Лопе и Кеведо* – имеются в виду сложные сюжеты пьес Лопе Феликса де Вега Карпью (1562–1635) и плутовской роман "История жизни пройдохи по имени дон Паблос" Франсиско де Кеведо-и-Вильегаса (1580–1645).

14 *...все бесполезные вымыслы Гарсиласо или Гонгоры* – так называет автор произведения выдающихся поэтов Гарсиласо де ла Вега (1501–1536) и Луиса де Гонгоры-и-Арготе (1561–1627). В творчестве Гарсиласо преобладали лирические и любовные мотивы. Писал сонеты, канцоны, элегии, эклоги, латинские стихи, утверждая в испанской литературе формы итальянской поэзии, религиозные стихи. Его именем было названо литературное течение в испанской поэзии 30-х гг., для которого был характерен уход в чистую лирику от общественной актуальной тематики (неогарсиласизм). Гонгора вводил в свою поэзию множество неологизмов, сложных метафор, мифологических образов, затемняющих смысл, усложнял синтаксис. Оказывал влияние на всю испанскую литературу, имел многочисленных последователей.

15 *...невидимая дама* – намек на комедию Педро-Кальдерона де ла Барка (1600–1681) "Дама-невидимка".

*Рамон Гомес де ла Серна*  
1888–1963

Испанский писатель, прозаик, драматург, эссеист, публицист, представитель авангардизма в испанской литературе. С 1936 г. жил в Аргентине. Он прожил 75 лет и выпустил более ста книг. Это романы, повести, романтизированные биографии писателей и художников, не только испанских, книги о современных течениях его времени в искусстве и литературе ("Кубизм и все «измы»", 1920; во втором расширенном издании "Измы", 1931), 2 тома коротких пьес для экспериментального театра, сборник эссе

о Мадриде, автобиография, названная им "Автонекролог". Он создал особые жанры лаконичной сжатой прозы, для которой характерно гротесково-юмористическое изображение и парадоксально-афористическая форма выражения, — грегории и голлерии (гольерии). Грегории сам он определил формулой: юмор + метафора. — "Осенью должны опадать листья всех книг". Голлерии — метафорическое обыгрывание знакомых предметов. Наиболее известные его романы ("Шум", "Необыкновенный доктор", "Киноландия") были переведены на русский язык еще в 1917—1924 гг.

Юмореска "Позы для чтения" из книги "Фокусы" печатается по изданию: Рамон Гомес де ла Серна. Избранное. М.: Худож. лит., 1983.

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя		3
<i>Диего Сааведра Фахардо.</i>	Литературное государство. Фрагменты. Пер. с исп. А.Науменко*	8
<i>Лодовико Антонио Муратори.</i>	О методе, коему я следовал в своем образовании. Письмо к Джованни Артико, графу ди Порчия. Пер. с ит. Г.Муравьевой*	18
<i>Георг Кристоф Лихтенберг.</i>	Афоризмы. Пер. с нем. Г.С.Слободкина	30
<i>Иоганн Вольфганг Гете.</i>	Поэзия и правда. Фрагменты книги "Из моей жизни. Поэзия и правда" и статей о литературе. Ко дню Шекспира. Пер. с нем. Н.Ман; Лоренс Стерн. Пер. с нем. С.Герье; Литературное санкюлотство. Пер. с нем. С.Герье; Новейшая немецкая поэзия. Пер. с нем. К.Богатырева; German romance. Пер. с нем. С.Герье; Дальнейшее о всемирной литературе. Пер. с нем. С.Герье	37
<i>Адольф Книгге.</i>	О взаимоотношениях писателя и читателя. Гл. IX книги "Об обхождении с людьми". Пер. с нем. Г.Бергельсона*	47
<i>Фридрих Максимилиан Клинггер.</i>	Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. Фрагменты. Пер. с нем. А.Лютера; Под ред. О.А.Смолян	52
<i>Жан-Поль.</i>	Доказательство того, что тело следует рассматривать не только как детородителя, но также и как книгородителя и что величайшие духовные ценности порождаются преимущественно правой рукой, выполняющей роль glandulae pinealis. Пер. с нем. А.Науменко*	62
<i>Иоганн Адам Бергк.</i>	Искусство чтения книг. Фрагменты. Пер. с нем. Г.Бергельсона*	78
<i>Людвиг Тик.</i>	Старинная книга и поездка наугад. Фрагменты. Пер. с нем. Г.Бергельсона*	80
<i>Джакомо Леопарди.</i>	Парини, или О славе. Фрагменты. Пер. с ит. С.Ошерова	87



<i>Марьяно Хосе де Ларра.</i>	Письмо Андресу, написанное из Ба-туэжи простодушным болтуном. Пер. с исп. З.И.Плавскина	100
<i>Конрад Фердинанд Мейер.</i>	Плавт в женском монастыре. Пер. с нем. Л.Карсавина	110
<i>Сальваторе ди Джакомо.</i>	Из-за Ринальдо. Пер. с ит. Ю.Ильи-на	129
<i>Мигель де Унамуно.</i>	Как следует составлять библиотеку. Пер. с исп. Н.Снетковой*	136
<i>Луиджи Пиранделло.</i>	Бумажный мир. Пер. с ит. А.Косс	141
<i>Генрих Манн.</i>	Духовные интересы. Фрагмент. Пер. с нем. Е.Кацевой	148
<i>Хосе Мария Салаверриа.</i>	Трагедия в библиотеке. Пер. с исп. А.Шлейфер*	154
<i>Асорин.</i>	Как нужно читать. Пер. с исп. А.Шлей-фер*; Чтение. Пер. с исп. А.Шлей-фер*; Букнистические лавки. Пер. с исп. А.Шлейфер*	157
<i>Томас Манн.</i>	Бильзе и я. Пер. с нем. К.Богаты-рева	164
<i>Герман Гессе.</i>	Двухтомник Новалиса. Из записок старомодного человека. Пер. с нем. Г.Бергельсона*	173
<i>Роберт Музиль.</i>	Книги и литература. Пер. с нем. А.Науменко*	192
<i>Йоахим Рингельнац.</i>	О Забуддафусе. Пер. с нем. А.Нау-менко*	202
<i>Альберто Инсуа.</i>	Прославленный книгопродавец. Пер. с исп. Н.Снетковой*	206
<i>Педро Салинас.</i>	Защита чтения. Пер. с исп. Н.Снет-ковой*	212
<i>Рамон Гомес де ла Серна</i>	Позы для чтения. Пер. с исп. Н.Ван-ханен	218
	Примечания	220

Читать означает "брать в долг",  
а сделать на основе этого открытие—  
значит "уплатить долг"

...Метафоре тело дает писатель,  
а душу — читатель.

*Георг Кристоф Лихтенберг*

